НЁМАН

12/2012
ДЕКАБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

**Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»**

**Заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК**

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 10.12.2012 г. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 18,96. Тираж 3178. Заказ 3661.
Цена номера в розницу 14 300 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

**Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»**



АНАТОЛИЙ СУЛЬЯНОВ

Долгая ночь в Пружанах

Повесть

В последнюю неделю декабря началась такая метель, что ног своих не видно, снег валил валом дни и ночи, снежным саваном устилая все окружающее: дома, дороги, стоянки автомобилей.

По устоявшейся традиции накануне Нового года семейные пары проводили в Лету старый год. Они дружно подняли бокалы за счастье, за успехи в служебных делах. Был повод: о них недавно тепло отозвался главнокомандующий, человек, редко хваливший подчиненные ему войска, тем более руководителей; чаще он жестко и строго, по-жуковски спрашивал за упущения и недоработки.

Ансамбль офицерского клуба в паузах между тостами исполнял веселые одесские музыкальные шутки времен Утесова и Рознера, лирические мелодии, что, естественно, создавало приятное оживление. Люди веселились, радовались тому, что, наконец, собрались вместе, говорили больше о делах семейных и домашних, о детях, задевая в разумных пределах и дела служебные.

Приглушенный звонок телефона дальней связи, стоящего в соседнем зальчике, насторожил сидевшие по соседству семейные пары. Офицер, снявший трубку, настороженно выслушал сообщение, дважды глухо повторил: «Понял! Понял!» Он медленно опустил, казалось, потяжелевшую трубку на аппарат, глубоко и огорченно вздохнул и вполголоса обратился к командующему: «Оперативный дежурный командного пункта доложил о тяжелом ранении прапорщика РВСН[1] солдатом нашей радиолокационной роты в Пружанах. Я переоденусь и сразу выеду».

— Валерий Константинович, с вами поедет полковник Кухта Николай Данилович. Будьте внимательны и осторожны!

— Понял.

Он повернулся к улыбающейся, празднично настроенной жене, тихо шепнул ей:

— Еду домой. Переоденусь и помчимся в сторону Бреста. Там очень большая неприятность.

— Почему опять ты? На день рождения умчался в Вильнюс, теперь в Брест?

— Такая у нас с тобой служба! Извини, и по-симоновски: «Прости, что и этот год ты встретишь без меня».

Дома он надел обычный зимний комплект: меховые сапоги, шинель, теплые перчатки, поглубже надвинул папаху, позвонил о выезде оперативному дежурному, закрыл на замок квартиру, спустился к подъезду и сел в «Волгу».

— В путь, Николай Данилович! Для нас с вами праздник, увы, закончился. Геннадий, скорость восемьдесят-девяносто с соблюдением мер безопасно-

---

[1] РВСН — ракетные войска стратегического назначения.

сти. Дорога тебе знакомая. И как поется в песне, крепко за баранку держись, шофер!

Пока выезжали, офицеры обменялись мнениями о случившемся, о том, что радиолокационная точка расположена в черте города, велик соблазн у солдат пообщаться с девчатами, у командира — забот полон рот: и радиолокаторы, и связь, и люди, и все это на одном человеке — в роте должность замполита не положена по штату…

— В этой роте, Николай Данилович, давно были?

— Больше года, — едва слышно, виновато ответил Кухта. — Десятки радиолокационных рот, батальонов. Главное — боеготовность подразделений локаторов прибалтийского направления. Вы правы: молодые люди наглеют, в армию все чаще и чаще попадают парни, имеющие судимости и неоднократные приводы в милицию. Сказывается и безотцовщина, и рождение детей одинокими мамами…

Разговор постепенно затих; о случившемся каждый думал по-своему, но им обоим и командующему предстояло держать ответ перед главкоматом, а московское начальство в последнее время ожесточилось — стало более нетерпимым. Они, размышлял Старший группы, не представляют, что часто офицеры, находясь в ожидании сокращения штата и перемещения в отдаленные гарнизоны, трудятся не в полную силу. И даже те офицеры, кто раньше работали с огоньком, теперь ослабили взыскательность и строгость. «Сколько подобных сокращений штатов пришлось пережить за всю долгую службу, — вздохнул Старший. — И самое обидное, что авторы перестроек и перетряхиваний не считают потерь. На полных слез глазах летчиков тракторами давили реактивные истребители-бомбардировщики во времена не столь отдаленные. И даже новейшие МиГ-27 по требованию заокеанских «переговорщиков» разобрали на металлолом: двадцать седьмые были объявлены «ударной авиацией». А эти машины могли бы летать до сих пор…» Неужели в Центре не понимают простой истины — каждое нововведение, связанное с сокращением личного состава, требует взвешенного, проверенного на практике человеческого подхода, а всякая новация должна быть предварительно глубоко исследована, апробирована экспериментально, изучена и сопряжена с мнением офицеров-войсковиков, тем более что автором упразднения управленческой структуры противовоздушной обороны был руководитель, прослуживший в сухопутных войсках специалистом по фортификации много лет. Прямо как по Гашеку: «Все шло хорошо, пока не вмешался генштаб». Бывает же такое, когда судьбу ведомства, структуры, организации решает непрофессионал, не знающий сути управления соединениями противовоздушной обороны и военно-воздушными силами. Как можно, мысленно спрашивал себя Старший, принимать решение о ликвидации объединений, не посоветовавшись со специалистами-профессионалами НИИ противовоздушной обороны и военно-воздушных сил? Тем более что в военных округах, куда передавались дивизии и корпуса ПВО, оснащенные автоматикой, современными АСУ, не было систем автоматизированного боевого управления, а все еще оставалась телефонная связь.

После трех с четвертью часов в пути «Волга» остановилась у слабо освещенного входа в казарму. Сержант, сбиваясь от волнения, торопливо и нечетко доложил о случившемся. У дневального шапка сдвинута на затылок, поясной ремень не затянут, неряшливо заправлена гимнастерка, на кроватях в углу спального помещения лежат солдаты — одни в гимнастерках, другие укрыты шинелями. «Все зависит от среды и порядка, — часом назад говорил Николай Кухта. — Среда, окружение или воспитывает, или, наоборот, развращает молодых людей». В этой роте внутреннего порядка, похоже, не было!

Сказанное все более дополнялось увиденным: безразличием и равнодушием части подразделения. Многое здесь делалось, как говорят, спустя рукава. Некому было, похоже, заинтересовать людей, озадачить высокой личной ответственностью по прикрытию страны в воздухе.

Ротный командир сопровождал прибывшего часом раньше корпусного начальника, они оба выехали в сторону автобусного вокзала в надежде задержать сбежавшего вооруженного солдата, тяжело ранившего прапорщика, пытавшегося, как только что выяснилось, обезоружить пьяного караульного. На вопрос, почему караульный не сдал карабин после окончания смены, сержант недоуменно пожал плечами и отмолчался. Оказалось, что дневальный и дежурный по роте увидели вбежавших в казарму двух нетрезвых испуганных сослуживцев, сообщивших о том, что от случайного выстрела во время попытки обезоружить хмельного караульного прапорщик получил ранение и упал на дорогу…

Николай Кухта, как было заранее определено, поочередно опрашивал радиолокаторщиков, осматривал место распития солдатами алкоголя, проверял знание обязанностей караульными, дневальными и дежурными по роте.

Участились телефонные звонки: командиры то радиотехнического батальона, то полка беспокоились, пытались узнать подробности случившегося преступления.

— Вас требует командующий войсками округа! — громко произнес дневальный.

— …янов, слушай внимательно. К тебе я направил из Бреста два бронетранспортера и отдал приказ: при обнаружении сбежавшего вооруженного солдата открывать из БТР огонь на поражение! Понял? Огонь на поражение! В черте города строго соблюдать меры безопасности. Сам садись в БТР и хорошо осмотри отдельно стоящие постройки. Второй БТР в распоряжении командования корпуса. Будь осторожен! Успехов тебе!

В БТР Старший сел впервые; в шинели и меховых сапогах было тесно и неудобно. Экипаж БТР воспринял его появление настороженно и удивленно, а командир БТР — молодой и крепкий офицер, выслушав задание, ответил: «Есть!» и чуть громче обычного скомандовал: «Вперед!» Экипаж обследовал окраины райцентра, побывав везде, где были дороги и перекрестки, но в поле не выехали — мешали сугробы и большие снежные заносы…

Поисковые группы вернулись в казарму к рассвету ни с чем, будто беглец сквозь землю провалился. Солдаты роты, не снимая шинелей, устало повалились на кровати, сержанты устроились возле печки и рядом с дневальным. Настороженная тишина заполнила каждый угол, и лишь в командирской комнате между собой вполголоса вели разговор три начальника, сетуя и на случившееся, и на отсутствие в роте элементарного воинского порядка, и на отсутствие штатного политработника, и на безынициативное исполнение своих обязанностей сержантами роты.

— Ротный командир, — говорил корпусной начальник, — перегружен заботами, нехватками, обязанностями — месяцами работает без выходных дней и нормального отдыха. Неужели там, в высоких штабах и управлениях, не знают об этом? Без замполита роты командир вдвое-втрое перегружен — слишком широк круг его обязанностей.

— А замполит батальона?

— Он бывает здесь, старается помочь ротному, но речь идет о каждодневных обязанностях: воспитание, боевое дежурство, дисциплина.

Неожиданно громче и дольше обычного зазвонил телефон дальней связи.

— Вас требует «Комета»! — удивленный незнакомым позывным сержант подал телефонную трубку Старшему группы.

По громкому басовитому голосу и манере резко и с ходу вздрючивать подчиненных он узнал главнокомандующего войсками противовоздушной обороны и попытался было доложить о случившемся. Но верный своей привычке не выслушивать подчиненных, московский военачальник прервал доклад.

— …янов, чем вы с командующим занимаетесь? Что за порядки в ваших войсках? Пьяный солдат с оружием разогнал жителей районного центра! Есть ли у вас, господа начальники, командиры полков и бригад, и чем они занимаются? Есть ли в войсках такое понятие, как честь и совесть, в конце концов? Новогодний праздник не можете организовать! У людей праздник, а у вас пьянство и убийство! Брандахлысты! Лодыри! Бездельники ваши командиры и политработники! Черт бы вас побрал! Что делают начальник радиотехнических войск и его подчиненные? Где замполит роты, батальона, полка? Чем они занимаются? Что делает замполит корпуса? Мы с вас и с командующего строго спросим!

— Докладываю, товарищ главнокомандующий. В радиотехнической роте кадра замполита по штату нет. В роте…

— А почему вы с командующим спите в шапку? Рота приграничная, несет боевое дежурство! Почему вы не доложили свое предложение о введении в штат роты замполита? Мы с вас и с командующего строго спросим! Что сделано по поиску преступника?

— Полагаю, товарищ главнокомандующий, что преступник с рассветом будет задержан. Командующий войсками округа выслал в помощь два бронетранспортера, приказав вести огонь на поражение. Поисковые группы провели осмотр автовокзала, улиц города, автомобильных дорог. С рассветом группы снова выйдут на поиск.

— Вы там, — голос главнокомандующего поутих, стал снисходительнее, — поаккуратнее с «огнем на поражение» — сам смотри внимательно! Понял? Действуй! Жду доклада о задержании преступника!

Какое-то время потяжелевшая, крепко сжатая трубка находилась в побелевшей от усилия кисти руки, а охватившее нервное волнение и напряжение долго не ослабевали; не успокаивалось и участившееся дыхание — впервые главком отчитывал по телефону, да еще по такому тяжелому происшествию. Тут и фамилию забыть можно, как случилось с одним из войсковых руководителей, когда главком разбираясь с ним в связи с ЧП, спросил полковника: «А как ваша фамилия — вы не забыли?» Тот недолго думая ответил: «Так точно! Забыл!»

Старший осторожно опустил трубку на аппарат, облегченно вздохнул, хотел было подняться и выйти на улицу, но сделать шаг сразу не смог — ноги не слушались… Успокоившись, надел шинель, папаху и вышел на улицу, окинул взглядом чуть-чуть посветлевшее, но все еще мрачное небо. Главком, конечно же, человек государственного мышления, стратег, создавший, по оценке западных специалистов, одну из лучших в мире систем противовоздушной обороны страны, но резкий и жесткий до предела, когда речь шла о надежном прикрытии страны с воздуха, об упущениях в боевом дежурстве или о происшествиях наподобие сегодняшнего.

На улице медленно просыпался рассвет; вокруг стояла глубокая ночная, таинственная тишина, и лишь редкий, приглушенный лай собак нарушал безмятежный покой. Ветви могучих деревьев под тяжестью обильно выпавшего накануне снега круто пригибались к земле большими дугами. Плотной серой мешковиной облачность все еще простиралась к горизонту, и только отражен-

ный от вымороженного снега тонкий свет зари оставлял надежду — постепенно развиднеется, а там, глядишь, и солнышко покажется.

Пока же едва высвечивался только одиноко стоявший сарай, вокруг которого кружились громко каркающие вороны.

Старший, размашисто шагая, продолжал мысленно выстраивать варианты исчезновения солдата с оружием. Туда, к сараю, вряд ли побежал, да и заметных следов на безбрежно раскинувшемся снежном поле не видно, но почему-то его стало тянуть именно к этому сараю. Может, там и скрывается беглец с карабином? Но БТР по такому глубокому снегу, по снежной целине огромного поля вряд ли пройдет. Дважды пытались на БТР проскочить по другому полю, к окраине леса, но прорваться не удалось.

Начнем, пожалуй, штурмовать снежную заволочь, решил он и направился в сторону сарая, увязая то и дело в рыхлом, сыпучем снегу. А если его в сарае нет? Где тогда искать? Обстановка усложнилась до предела: и Москва ждет сообщения о задержании вооруженного солдата, и командующий округом, и командарм с беспокойством и озабоченностью звонил… Поначалу в меховых армейских сапогах идти было удобно, но вскоре шагать стало заметно труднее, все чаще он попадал в засыпанные снегом ямы, проваливаясь по колено.

Вдруг ему послышался чей-то рассерженный голос: «Стой!» Он тут же остановился, настороженно и испуганно осмотрелся, но никого ни рядом, ни вдали не было, и только экипаж БТР, отслеживая его медленное продвижение, неторопливо и угрюмо поворачивал угрожающие оружейные стволы. Остановившись, снова осмотрелся вкруговую, непроизвольно задержав взгляд на сарае, и вновь продолжил тащиться по полю, все сильнее ощущая смутное беспокойство. Волнение усиливалось, и он невольно все чаще и чаще бросал взгляд на единственное строение посреди заснеженного поля. И хотя, казалось, никаких перемен не происходило, его все больше охватывала нарастающая тревога, отчего он, казалось, лишался части сил, что, естественно, замедляло его движение. Шагать становилось не под силу. Сделав еще несколько шагов, он снова услышал тот же тревожный, требовательный голос: «Стой!» Остановился, посмотрел вокруг — никого, кроме шагавшего за ним сержанта в длиннополой шинели, не было видно. «Что за чертовщина?» — молча возмутился Старший, прислушался, но ни одного звука в вымороженном за долгую ночь звонком воздухе не услышал.

Осматривая в очередной раз местность, задержал на мгновение взгляд на бревенчатой стене сарая, откуда, показалось ему, между крупных бревен мелькнул чей-то взгляд. Почудилось, решил он; идти дальше ему почему-то не хотелось, хотя до сарая — рукой подать. Его что-то удерживало посреди заснеженного поля, сказывались, похоже, бессонная ночь, нервотрепка и наступившая усталость.

Знакомо ли вам, дорогой читатель, предчувствие беды? Когда где-то в глубине сознания начинает нарастать беспокойство и все, что было рядом, отдаляется от вас, и вы все больше и больше чувствуете себя беззащитным и одиноким. Более того, начинаете постепенно ощущать нарастающий страх…

Нежелание идти дальше усиливалось, ноги, казалось, не слушались, тело потяжелело. Тревога нарастала, вызывая страх. Да и сердце будто стучало чаще обычного, кровь же, наоборот, застыла под кожей.

Что же делать? Попал как кур в ощип: пошел проверять сарай под прикрытием БТР, а теперь, не дойдя каких-то пятьдесят метров, беспричинно возвратиться не солоно хлебавши? А может, все-таки заглянуть в сарай? Но что заставило его остановиться? И это предостерегающее «Стой!»…

Содрогнувшись, едва не присев на одеревеневшие ноги, он на мгновенье замер. И тут же донесся тревожный крик словно обезумевших каркающих ворон. Идти или не идти?

Нет! Надо все-таки дотащиться до этого проклятого сарая!

Он сделал несколько шагов, но тут же услышал позади себя крик. Обернувшись, увидел бежавшего в его сторону сержанта, кричавшего что-то об очередном телефонном звонке. В то же мгновение боковым зрением неожиданно увидел раздетого, без шапки, с поднятым над головой карабином, увязавшего в снегу солдата. К нему камнем бросился сержант, по-командирски резко и строго приказал:

— Бросай оружие!

Тут же из БТР, поверх людей, оглушительно вырвалась огненная трасса. С испугу солдат бросил карабин, упал в снег, и на него с разбегу рухнул сержант, схватил его за руки. Оба медленно поднялись и, утопая в снегу, двинулись в сторону ротного городка.

В казарму вошел в сопровождении сержанта раздетый, в одной гимнастерке, дрожащий от холода и страха беглец и сразу бросился к печке, приник к ней грудью и распухшими от холода руками, стараясь вжаться в кирпичную кладку. Зубы его громко стучали, обильно слезились покрасневшие глаза, он содрогался, трепетал всем телом, всхлипывая и глухо постанывая. Глядя на дрожащего, замерзшего до крайности паренька, Старший приказал:

— Дайте ему горячего чаю! Накиньте на него одеяло, и пусть он наденет валенки!

В комнате ротного командира Старший взял телефонную трубку, попросил телефонистку:

— Соедините с командующим войсками округа! Срочно!.. Товарищ командующий! Докладываю: только что сдался с оружием солдат радиотехнической роты. Всю ночь и утро он отсиживался в сарае с сеном. Бронетранспортеры отправлены в Брест. Спасибо Вам!

— Делайте выводы. Наводите порядок в отдельных удаленных ротах и батальонах, — строго и сочувствующе посоветовал генерал-полковник…

О задержании солдата с оружием было сообщено командующему армией, доложено на «Комету» оперативному дежурному, генералу центрального командного пункта для доклада главнокомандующему…

* * *

В комнате ротного командира они остались вдвоем; солдат тупо, отрешенно и молча смотрел в пол, не поднимая глаз. Сидел в валенках, с накинутым на плечи одеялом, продолжая ненасытно пить горячий чай, на вопросы Старшего отвечал тягуче и заторможенно, говорил прерывисто, продолжая дрожать — холод медленно покидал замерзшее худое тело.

— …Я после выстрела спужался… сробел от… от страха и… и побег.

— Куда же ты бежал?

— А я… я… не з…з…знаю. Я… был как чум… как чумной. Полоумный, а можа… сдурел совсем. Я ничего не видел, никого не слышал. Бежал от них, кто… кто побег… побег за мной… Он, зараза, хо…хотел отобрать у меня… мой кара…карабин. А я… я не отдавал оружие… И вдруг… выстрел… Человек вскрикнул и упал. И я со страху побег… А другой… другой дядя за мной. Он за шинелю схватился… я… выр…вырвался из шинели и побег… побег без нее.

Дрожь не оставляла сильно перепуганного и вконец замерзшего, озлобленного человека, испытавшего и животный, внутренний страх, и глубокое

охлаждение всего тела. Холод лишил его памяти, и он, чтобы ответить даже на простой вопрос, подолгу напрягался, морщил лоб, уставив взгляд на что-либо или, наоборот, пугливо и часто двигал глазами из стороны в сторону. Молодой солдат не выдерживал обыкновенного человеческого взгляда, прятал глаза, нервничал, ерзал на табуретке, лицо его покрылось испариной, он, похоже, только теперь начал понимать всю тяжесть случившегося и оттого испытывал нарастающий страх.

— …Бежал в темноте, увязал в снегу, падал, пока не… не помню, как оказался в сарае, в сене. Поперву, сквозь дрему, можа, уснул или… сознание потерял — уж и не помню… Очнулся от страха и холода, закопался вглубь сена, замерз. Что делать? Не знал…

И в то же время ему разговор вроде становился лишним, ненужным, солдат слушал кое-как, вполуха, подолгу смотрел в окно испуганными, растревоженными глазами. Он, похоже, находился в мучительном разладе и с самим собой, и с окружающими его людьми. Теперь главное — помочь ему обрести себя, уверенность, опереться на его добрый характер, вселить в душу твердость, укрепить совестливость. Но, тем не менее, временами казалось, что он не хочет быть лучше.

Колючий, угрюмый взгляд его оставался почти неподвижным; на вопросы не отвечал, оставаясь в оцепенении, словно замороженное изваяние. Скуластое, опухшее лицо его оставалось бледным и безжизненным, с оттенком белого мрамора.

Услыхав в который раз вопрос, кто стрелял и что толкнуло его на преступление, солдат неожиданно истошно закричал:

— Не знаю! Не знаю! Ненавижу всех! Не убивал я! Никого не убивал! Они… Они убили! Не стрелял я! Я никого не убивал! Свой карабин я не отдавал, а они вырвали у меня…

Взъерошенный и озлобленный, подобно взрослеющему рычащему щенку, он готов был кинуться на обидчика, бросая негодующие, злые взгляды в его сторону. У него, похоже, не было сомнений в своей правоте и невиновности.

— Они убили! Не стрелял я! Не виноват я! Не могу больше! — крикнул Семен и бросился к полуоткрытой оружейной комнате, схватил стоящий в углу пирамиды свой карабин, рванул рукоятку затвора, но в то же мгновение дежурный по роте кинулся к нему, вырвал из его рук оружие и со всей силой оттолкнул его так, что тот рухнул на пол, ударившись головой о стол. Ему тут же связали руки, ввели в комнату к Старшему. Тот подошел к потерявшему самообладание солдату, вгляделся в лицо и приказал:

— Дайте ему еще чаю!.. Развяжите руки…

Кружку с горячим чаем Семен взял обеими руками, поднес ее к вздрагивающим губам, — Старший услышал биение металла о зубы. Чай глотал жадно и с шумным придыханием. После затянувшегося молчания, отвечая на вопросы, солдат хлюпал носом, торопливо вытирал с лица ладонью пот, все еще находясь в состоянии сильного возбуждения. Взгляда Старшего не выдерживал, опускал голову на грудь, похоже, стыдился, на вопросы начал отвечать лишь после того, как выпил очередную кружку чая и вытер лицо.

— Знаешь ли ты, Семен, что сейчас ты, я и вся рота находимся на обильно политой в войну кровью бойцов Красной Армии Пружанской земле? Слышал ли ты об этом?

— Не-е-а.

— 22—23 июня 1941 года в Пружанах танкисты 141-го и 142-го танковых батальонов 32-й танковой бригады больше суток держали оборону. А на той улице, где сегодня был тяжело ранен из твоего карабина человек,

шел бой с танками Гудериана. Советские танкисты сражались до последнего снаряда, до последней капли бензина. Бой был жестоким. Танки корпуса Гудериана прошли Польшу, Чехословакию, великую Францию, Нидерланды, Бельгию — они завоевали всю Европу! И вдруг в белорусских Пружанах два советских батальона стоят насмерть! Танки Западного фронта БТ-5 и БТ-7 горели как спички — на них стояли бензиновые двигатели, и их экипажи гибли вместе с горящими танками. Танкистам было лет столько, сколько тебе и твоим товарищам, Семен! И ни один не струсил! Танкисты двух батальонов погибли смертью героев на улицах Пружан!

Старший заметил, что у открытой двери собралась вся рота с командиром.

— Сыны наши! Вы охраняете Белорусскую землю. Рядом с вами останки танкистов 141-го и 142-го танковых батальонов Западного фронта. Не забывайте этого! Я склоняю голову перед ними…

Установилась глубокая тишина — люди, казалось, даже не дышали.

Старший на мгновение задержал взгляд на Семене и удивился — лицо, особенно глаза парня, отражали нестерпимые муки, — и спросил себя: «Что сейчас творится в его душе?» Душа, конечно, мается, страдания волнами накатываются и на измученную переживаниями душу, и на мальчишеское, беззащитное лицо, то затеняя его, то высвечивая меркнущую голубизну глаз…

* * *

Семен постепенно обрел дар речи, говорил, уже не заикаясь, но с большими паузами; похоже, память тоже вернулась. Но на вопросы он отвечал по-прежнему боязливо, часто задерживая взгляд на двери, словно ожидая ареста. Старший решил продолжить уточнение случившегося ночью. Семен ответил:

— Думал долго — что делать? В роту иттить боялся — робел, испуг после выстрела глубоко сидел во мне.

— Чего же ты, Семен, ждал?

— Не… не знаю. Но очень боялся… Стал смотреть в щелю, вижу, ходют сержанты наши, потом ротный командир, апосля чужой в большой шапке человек появился. И ротная собачка наша бегает! И так мне хотелось погладить ее! Я очень люблю собачек, козочек! У бабушки были и козочки, и собачки. Я с ними рос, и с бабушкой.

— А где твои родители?

— Папаня ушел от нас, а мамка после этого пить водку начала… А когда бабушка стала болеть, меня отправили в детдом…

Старший слушал, удивленно покачивал головой. Вот сколько довелось парню пережить…

— Потом увидел броневик у входа в роту. И мне стало страшно. Ето, думаю, за мной! Снова спужался от страха — на ём пулеметы, ён, зараза, завезет куда-нибудь, а оттуль не выберешься! И по сараю очередь-другую может дать! Куда теперь иттить? Убьют сразу! Думал-думал, что делать? Куда иттить? В роту — боялся, а чего, не знаю, видать, страх обуял меня. Карабин мой выстрелил, и я… значится, виноватый…

— Видишь, Семен, как плохо началась вся твоя полоса неудач и нарушений — с употребления спиртного, а кончилась стрельбой. Не переломишь себя — тобой будут плохие люди помыкать и править. Береги себя от скверны чужого веления! Нельзя уступать их требованиям! Раз уступишь, другой, и

все — нет у тебя свободы, нет и тебя! Характер свой надо иметь и свое «я». Уметь за себя постоять и других защитить. Главное — слушай свою совесть! От совести, браток, многое зависит!.. И сколько бы ты еще в сарае просидел? Ведь мог и замерзнуть! Ждал, пока за ноги тебя не выволокут? Продрог сильно… И до сих пор не согрелся.

— Можа, и замерз бы. Пакуль в щелю не посмотрел. Гляжу, к сараю идеть офицер в высокой шапке и в шинеле какого-то необычного цвета. Идеть и идеть! Почему-то, наверное, сдуру, загнал патрон в патронник, машинально, на всякий случай. Никого не хотел убивать — мной кто-то командовал, дьявол или черт? А ён, зараза, идеть и идеть. Куда же, думаю, ты идешь? Патрон же в патроннике!

— Одного чуть не убил — мало. Второго мог убить, — резко бросил Старший, насупившись.

— Не хотел никого убивать! Не хотел! А ён, зараза, идеть. Что же мне оставалось делать? Бежать? Куды, когда броневик стоит с пулеметами. Мозги, наверно, заледенели, оттого и дурь лезла в голову. Видать, во мне страх засел — стал всего бояться. Подумалось, офицер идеть за мной. Снова спужался! Не хотел я ни стрелять, ни убивать. Но что мне делать? Сидеть и ждать, пока меня сцапают?

— Но одного же ты убил! Мало?

— Там, в той драке, сам черт не разберет, кто курок-то нажал. Я не убивал! Не мог я убивать — я же с бабушкой Богу в церкви поклялся не убивать. Она говорила, что об этом в Священном Писании прописано. Бог-то наш против убийства.

— Карабин сам, что ли, выстрелил?

— Не нажимал я курок! Не нажимал! Там тады трое за карабин хватались!

Солдат, похоже, и в самом деле не стрелял, кто-то из троих в борьбе случайно нажал на курок. Поди теперь разберись, кто? Следствие разберется? Разумеется, оставшийся из тех двоих, конечно, будет утверждать, что и он не нажимал курка. И Бога вспомнил, бабушка, похоже, учила мальчишку отнюдь не плохому, а хорошему. А как не стало рядом ее, так и некому было наставить парня…

— А офицер идеть и идеть к сараю! Подумалось, за мной! Опять спужался! Не хотел убивать! Но кто-то подталкивал меня. И я стал прицеливаться, хотя руки закоченели, карабин еле держали. За мной, зараза, идеть!

— Кто же тебя подталкивал?

— Не знаю… Черт или дьявол? Не знаю… На офицера смотрел через кольцо и прицельную мушку… Идеть, зараза… Остановился, снова пошел. И тут-то из меня вдруг молча вырвалось: «Стой!» Он остановился. Послушался, поди! Но снова пошел! И мне кто-то прошипел над ухом: «Целься! Он за тобой идеть!» Прицелился плохо — руки от холода не слушались, ствол из стороны в сторону дергался.

— А говорил, что никого убивать не будешь! Так?

— Так-то оно так. Но, наверно, не я ето решаю!

— А кто?

— Бабушка Варвара говорила, что в человеке есть дьявол. Чей-то голос мне командовал: «Целься! Стреляй!» Смотрю, офицер стоит, не идеть, тоже, поди, спужался. Потом пошел сызнова. Я за карабин, опять целиться начал.

— За что ты хотел убить человека? Лишить его жизни? Жизнь-то, Семен, не повторяется!

— Не хотел я убивать! Я сызнова шепчу: «Стой!» Но ета чужая проклятая мысль сверлила голову: «Сделает три шага — стреляй!»

— Человека же убиваешь! Мой трехлетний сынок Юра стоял возле станичной изгороди и кричал вечером пастуху стада: «Не бейте теляток! Не бейте бычков!» Подрос, стал первоклашкой, требовал: «Не убивайте мышек, они маленькие, жить хотят!» Мышей в клетке! И выпускал мышек на улице из клетки. Ему мышонка было жалко! А ты убил человека и теперь целишься, чтобы убить еще одного! За что? А у него сыночек есть. Убить человека — большой грех! Не так ли, Семен? Есть святые заповеди. Одна из них гласит — «Не убий!».

Валерий Константинович поднялся, подошел к Семену, взял его за плечи и хотел было приобнять плачущего солдата — ему было жаль попавшего в беду вчерашнего подростка. Парень-то, видно, неплохой, душа нараспашку. Со слов Семена ему стало известно, что отец оставил бедствующую семью, а мать вскоре ударилась в застолья с участием мужчин, надолго оставляя ребенка голодным и неухоженным. Семена спасла бабушка Наташа — заботливая, внимательная, доверчивая бабуся, она и накормит вовремя, и бельишко постирает. Потом она заболела, а мальчика отправили в детдом…

— Ты посмотри мне, Семен, в лицо, посмотри и запомни глаза человека, которого ты собирался убить! Запомни на всю жизнь!

Семен взглянул в лицо Старшего, но не выдержал, невольно опустил смущенный, беспомощный, рассеянный взгляд в пол.

В комнате стало так тихо, что слышались лишь шорох снега от ветра по подоконнику да редкие, тяжелые вздохи вконец расстроенного Семена. Двое стояли рядом, говорили о самом главном — о человеческой жизни! И чем убедительнее говорил Старший, тем большую ущербность испытывал младший, ощущая, как внутри него происходили какие-то скрытые перемены, менявшие его существо, похоже, совесть медленно вытесняла все ненужное, лишнее, очищая его суть, его душу. В груди все скукожилось, замерло, притихло, душа будто опустела…

Близость Старшего постепенно давала о себе знать — то ли его энергия, то ли невидимый нажим острыми иглами вонзались в его душу, усиливая чувство вины, стыд молодого солдата за все случившееся.

Голова Валерия Константиновича почти касалась головы солдата. Его от слез распухшие губы и покрасневшие веки глаз постепенно принимали нормальный вид. Похоже, что малый все яснее чувствовал свою вину. Но заговорит ли валаамова ослица его совести? Сможет ли одинокий юноша исправить самого себя, тем более, что наказание, разумеется, ему назначат. Много, очень много предстоит ему перевернуть в самом себе. Его авгиевы конюшни так запущены, так занавожены, что их предстоит долго чистить да скоблить. А те двое? Завели молодого солдата в дизельную, соблазнили дармовой выпивкой. Сколько же таких «стариков», их иногда называют «черпаками», глумятся над только что надевшими военную форму и принявшими присягу. У многих армейских воспитателей руки, увы, не доходят, чтобы защитить каждого, а иногда и особого желания нет глубоко окунуться в эту навязшую в зубах армейскую проблему. Многие военнослужащие вроде бы смиренно слушают наказы и поучения, но на самом деле они не научены воспринимать и реагировать на услышанное. Умение слушать — тоже редкость, даже в семье дети не всегда услышанные от родителей советы воспринимают как надобно. Армии, увы, приходится довоспитывать огрехи семейного воспитания, но не каждый офицер способен стать заботливым отцом.

Семен — одинокий, брошенный гулякой-отцом и непорядочной матерью, словно услышал мысли Старшего, не сдержал себя, и накопившиеся у него слезы хлынули разом, проложив на лице маслянистые дорожки, стекая по распухшим щекам. Он вытирал слезы, размазывая рукавом давно не стиранной

гимнастерки, шмыгал носом, шумно втягивал в себя воздух, ниже и ниже опускал голову. В наступившей тишине слышались лишь его тяжелые вздохи да частое хлюпанье носом. Но в глаза человеку, которого он час назад мог убить, Семен не смотрел.

* * *

Проблема эта созрела давно, и не только в армии, а и в государстве. Сколько детишек «растет» с помощью ремня, избиений и издевательств пьянствующих родителей, потерявших облик добрых, заботливых, сердечных воспитателей…

Боль в груди Семена искала выхода, она рвалась наружу, будоражила каждую клеточку. Теперь Семен знал только одно: он совершил огромный, неискупаемый грех, и вина беспрерывно давила на него, гроздьями собираясь в груди, в горле, мешала дышать.

Бабушка часто в семье говорила о грехах, старалась удержать взрослых от греха, но он тогда не задумывался о своих проступках и только теперь, в эти страшные минуты осознал всю тяжесть своего греха. Кто лишил жизни невинного человека? И потому отчаяние охватило все его тело, душу, и он, глотая подступившие горячие слезы, не заметил, как стон постепенно сменился рыданиями, поначалу тихими.

Слезы лились градом по бледному исхудавшему лицу, скатывались на гимнастерку, падали на все еще холодные, распухшие руки, и он как мог сдерживал рыдания.

— Человек, в которого ты целился, как был одет?

— В шинель светло-серого цвета.

— Посмотри на вешалку позади тебя.

Солдат обернулся, задержал взгляд на висевшей стального цвета шинели, испуганно вскочил.

— Вот в такой же шинели был офицер! Можа, ета она и есть! — Он бросил взгляд на сидевшего перед ним человека и… замер. Лицо Семена от испуга сжалось, широко открытые глаза потускнели, и весь он, опустив плечи, растерянно блуждая взглядом, сник, снова замкнувшись в себе.

Семен долго находился в состоянии оцепенения; съежился, словно ожидая ударов, едва выговаривая слова, тихо обронил:

— Так это… Это вы… тама шли. Вы, точно… Я… вас держал в прицеле… Вы шли пря… прямо на меня… Зачем же вы шли к сараю? Я, можа, тады и выстрелил…

— И убил бы ты меня, Семен! За что? Что я тебе плохого сделал?.. А? Человек, которому врачи сейчас пытаются спасти жизнь, ни перед кем из вас не виноват! Он пытался уберечь вас, пьяных, с оружием, от других преступлений! Чем я перед тобой провинился: обидел тебя, издевался над тобой? Я исполнял свой воинский долг, присягу, искал, как мне доложили, убийцу прапорщика…

— Звиняйте меня! Виноват я… Простите… Сдурел я тады. Я же выпимши был… Не помню ничего…

— Бутылка виновата? Твоих собутыльников тоже накажут. Вас будет судить военный суд! Трибунал! Понимаешь ли ты?

— Простите меня… — чуть слышно произнес Семен, всхлипывая и содрогаясь всем телом. — Не хотел же я с ними иттить в дизельную… Это они, «старики» меня затащили туды…

Он снова залился слезами, хлюпал носом, вздрагивал, вытирал мокрое лицо рукавом гимнастерки. Неожиданно снова заговорил:

— Я тады устал: тренировка у локаторов всю ночь, дежуришь над экраном по готовности. Потом цели пошли. Я все цели обнаружил и даже две цели в сильных помехах. Чуть не ослеп — уж очень больно глазам, а помехи такие, что слезы текут. А после ночной тренировки приказали провести регламентные работы на локаторах.

— И как часто у вас такие нагрузки?

— Часто — мы же возле границы! Поспал часа два-три, поел, и моя смена дежурить по охране роты. Так хотелось хотя бы присесть! А надо ходить по окружности всех наших служебных помещений. Усталость после дежурства такая, что ноги еле держат.

— Кинофильмы вам показывают в выходные дни?

— Нет. Клуба у нас нет. По телеку кое-что смотрим. Я так лучше посплю. Не высыпаюсь ведь. Двухсменку еле-еле выдерживаем: на боевом дежурстве четыре часа у экрана локатора, потом то учебные, то политические занятия, то баня, поел и снова к экрану на четыре часа. Отдых бывает редко, спим урывками.

Валерий Константинович слушал откровения локаторщика, внимательно вглядывался в его лицо и думал о своем, наболевшем. Действительно, наши и солдаты, и сержанты, и офицеры перегружены, несут служебные обязанности без отдыха, без нормального сна, выполняя ответственнейшие задания боевых дежурств и у экранов радиолокаторов по охране неба страны, и в стартовых расчетах зенитных ракетных дивизионов, и в дежурных звеньях истребительной авиации. В них накапливается усталость, та самая «отрицательная энергия», которую можно изгнать из организма лишь спортом, активным отдыхом. Она ищет выхода, а отсюда и пьянки, и драки, и то, что произошло новогодней ночью в Пружанах.

Угрызения совести охватили его растревоженную душу. Эти и другие армейские неполадки лежат и на совести тех, кто отвечает там, наверху, в самом министерстве или в генеральном штабе, там, где должны решаться человеческие проблемы.

Он поднялся, ощутив нарастающую головную боль, долго массировал затылок, но боль не отступала. Ему впервые за всю долгую ночь стало жалко Семена; захотелось подбодрить, сказать что-то теплое и доброе, как сыну, но сразу нужных слов он не нашел. В самый последний момент остановил себя, что-то удержало его, и он тяжело опустился на стул…

Много раз командиры и штабы войск противовоздушной обороны с беспокойством докладывали по команде наверх о необходимости трехсменного дежурства, но генштаб или отмалчивался, или ссылался на отсутствие возможности увеличить штатную численность вооруженных сил. Трехсменка давно назрела: четыре часа у экрана, отдых, занятие — и к экрану локатора через восемь часов! Люди у нас золотые! Все терпят: не только большие нагрузки, а учения, контрольные цели для проверки боеготовности, бригадные и полковые тренировки. Несть им числа!

Разговор между ними о трудностях службы в войсках противовоздушной обороны при несении круглосуточного боевого дежурства, когда время сжато и измеряется секундами и минутами, постепенно затих, но Старший вновь вернулся к поступку Семена, стараясь как можно больше и глубже тронуть его потускневшую совесть.

В открытую дверь удивленно заглядывали солдаты, вернувшиеся из поисковых групп, невыспавшиеся дневальные. Все, кто был в казарме, услышали

вскрик и стук падающего тела: Семен стоял на коленях и что-то невнятно говорил, обращаясь к Старшему.

— Встань, Семен, — повысил голос Старший. — Встань! Мы еще не все сказали друг другу! Товарищи видят твое позднее раскаяние, Семен. Поднимись, пожалуйста!

— Я… не могу. Сил… нету…

— Помогите ему подняться! — Валерий Константинович сунул руку под мышку солдата, сержанты поддержали сослуживца с другой стороны; общими усилиями его подняли и усадили на армейский табурет.

— Придет для тебя, Семен, как говорят военачальники, «время Ч» — время испытаний. Ты сам выбрал свою судьбу! Нет у тебя, Семен, характера настоящего! Нет! Армия помогла бы тебе приобрести и характер, и волю, и мужество, и твердость духа, и, разумеется, житейскую мудрость. Да и совести тебе надо бы добавить! Слушай свою совесть, она, браток, самое светлое, что есть в человеке, она удержит тебя от дурных поступков. «Забыли радость и печали, а совесть отогнали прочь», — стихи эти принадлежат Пушкину. И ты тоже совесть свою отогнал! Но помни, что неудачи закаляют сильных!

* * *

Семен постепенно затих, перестал всхлипывать. Он впервые в жизни слушал толковые, нужные наставления с таким обостренным и пристальным вниманием. Слова и мысли Старшего находили свое место в его помутневшем сознании, он чувствовал, как советы и пожелания доброго человека становились его достоянием, проникали в дальние уголки души. И как бы хорошо было, думал Семен, подольше побыть рядом с таким человеком, чувствовать его поддержку в таком сложном положении, когда ему придется оказаться перед следствием военного суда.

И только от одной этой мысли Семену вновь стало страшно, и сердце снова похолодало, словно кто-то сжал душу холодной ручищей, и ему вновь стало жалко себя. Угроза одиночества снова связала его по рукам и ногам, от волнения на мгновение захолонуло сердце. Он тяжело вздохнул, опустил плечи и устало прикрыл изнуренные холодом и слезами глаза. Уедет этот человек, размышлял Семен, кому буду нужен: рассерженному ротному командиру, на которого теперь все шишки повалятся? А кому еще?..

Хорошо бы повстречаться с таким человеком в школе или, в крайнем случае, в первые армейские недели, когда домашний уклад жизни круто ломался, а на смену ему пришла казарма с ее жестким распорядком дня, уставными требованиями сержантов и офицеров. Семен вспомнил, как ему трудно давалась команда «Подъем!», когда едва отрываешь голову от теплой подушки, когда весь день занятия, когда приказы и распоряжения лишали возможности на минуту-другую присесть на дубовый армейский табурет, а после вечерней прогулки засыпаешь сразу, как только ухо коснется подушки.

Чем дольше Старший слушал Семена, тем больше укреплялась его уверенность в невиновности солдата — не он был зачинщиком, не он, похоже, в борьбе за карабин нажал на курок. А это означало, что человек попал в беду и ему надо помочь. Следователи прокуратуры — ребята молодые, строптивые, крутые в принятии решений, чьих-то советов не очень-то слушают. Как говорится, сами с усами. Придется иметь дело с прокурором округа — седым, воевавшим на фронте с гитлеровцами, малоразговорчивым и сердитым чело-

веком. Сталкиваться с ним — себе во вред, значит, надо найти подход. А может, упредить следователей и позвонить прямо отсюда в прокуратуру и высказать свое видение случившегося в этом сложном криминальном деле?

Звонок телефона прервал их затянувшуюся беседу. Дневальный подошел к Старшему, протянул трубку, четко доложил:

— Вас, товарищ генерал!

Семен от неожиданности подскочил и, ошалело крутнув головой, впервые увидел, что перед ним сидит человек, имеющий высшее офицерское звание, отчего едва устоял, ухватившись за угол стола. Неужели все утро перед ним военачальник такого высокого звания? Неужели… «Я… же видел его спину и голову сквозь прицельное кольцо карабина! Еще бы шаг-другой и… Нет, нет, тогда, на рассвете, шел кто-то другой… — пронеслась в сознании молодого солдата спасительная мысль. — Не может такого быть! Неужели со мной произошло все это? — Он спрашивал себя, все еще не веря в случившееся с ним там, в сарае, когда он несколько раз прицеливался в человека в шинели стального, голубоватого цвета. — Да, да, вот она висит! Ослеп, что ли? Или сошел с ума в тот рассветный час, и только сейчас сознание вернулось ко мне?»

Он сопоставил все услышанное и увиденное, и ему стало так боязно, как никогда ранее; охватило глубокое внутреннее волнение, которое окатило холодом все его существо. Пока продолжался телефонный разговор, Семен с трудом, едва справляясь с самим собой, почему-то поднялся и принял строевую стойку.

— Нет, нет, товарищ генерал-полковник! Вот он передо мной, пришел в себя. Да, отвечает и даже задает вопросы. Он вполне вменяем. Согласен с вами — пусть отвечает за свои ошибки. Да, да, принимаем все неотложные меры…

В наступившей тишине слышен был лишь стук настенных часов. Рота, кроме командира, находившегося на позиции радиолокаторов, дежурного по роте и двоих беседующих, спала.

— Разрешите, т… т… товарищ генерал, вопрос?

— Садись, Семен.

— Не могу — я впервые в жизни вижу живого генерала.

— Садись, приказываю! Вот так. Что за вопрос?

— Вы сказали об ошибках. А у вас, звиняйте, были в службе и жизни ошибки?

— Вопрос интересный. Были, Семен, были. Я отнюдь не скрываю их…

На лицо Семена легла хитрая, сдерживаемая улыбка.

— Были ошибки, но они были отнюдь не во вред людям — только себе создавал дополнительные трудности. Иногда слишком доверял людям, верил их обещаниям. Ты тоже можешь сказать: «Я ошибся!» Есть такое дьявольское наваждение — зависть. Завистливые люди досадуют на чужую удачу, на успехи в работе, кого-то хвалят, а их не замечают, так им кажется. Хвалят обычно за большой и полезный труд, за успехи в службе. А тех, кто трудится не с полной отдачей сил, лентяев, тех, как им кажется, не замечают. Рождается у таких людей обида, гордыня и даже озлобление, а отсюда и оскорбления, и даже клевета, и возведение напраслины. Сколько довелось из-за этого, Семен, «пустяка» пережить, испытать, терпеть. Я не хочу тешить свое тщеславие, но хочу напомнить о своей воспитательной работе в истребительном авиационном полку после окончания академии. Первые полтора года я не имел ни одного полного выходного дня — полеты днем и ночью, вхождение в полный объем обязанностей воспитателя: занятия, беседы, лекции, семи-

нары, читательские конференции по произведениям выдающихся писателей, вечера отдыха (тогда Бог миловал — не было телевидения!), зимой лыжные соревнования (я любил лыжи) с участием летчиков, техников, механиков, жен и детей офицеров, художественная самодеятельность — работы прорва! Свободного времени оставалось — только час на чтение книг и шесть-семь часов на сон…

Ошибки бывают разные: в строй опоздал, из увольнения прибыл не вовремя, непотребно или грубо выразился. Ты совершил опасный проступок — с оружием в руках употребил спиртное, с оружием ушел из расположения роты. Есть поговорка: «Наступил на зубья — грабли в лоб». Из твоего карабина тяжело ранен человек. Это тягчайшее преступление! И тебе предстоит нести ответственность. Тебя ждут суровые испытания! Особенно, если человек оказывается в заключении.

— Там бьют? — тихо и подавленно спросил присмиревший солдат.

— Бьют, Семен! Во время службы на Севере довелось побывать в лагере у осужденного солдата нашей части.

— А как он туда попал?

— Солдат второго года службы ушел в самовольную отлучку и в поселке изнасиловал шестнадцатилетнюю девушку. Она росла без родителей, жила и воспитывалась у заботливой и любящей бабушки.

— Да как же он посмел, негодяй? Она же сирота! — искренне возмутился Семен. — Она и так несчастная без отца и матери! Он же негодяй! Сволочь! — скуластое лицо Семена покрылось бурыми пятнами, а серо-голубые глаза наполнились ненавистью.

Старший дал возможность выговориться Семену; ему хотелось узнать, внял ли он его размышлениям и советам, глубоко ли он осознал свой проступок и бессмысленное поведение в новогоднюю ночь.

— Во время расследования разгневанные жители гарнизона требовали самого строгого наказания насильнику вплоть до расстрела. Я с помощником немедленно вылетел на место тяжелого преступления. Военный суд приговорил насильника к двенадцати годам.

— Так много! Двенадцать лет! — ахнул Семен.

— В то время за насилие суды выносили очень строгие наказания, закон такой ввел еще Сталин в начале пятидесятых.

Через полгода начальник лагеря прислал письмо-просьбу нашего бывшего солдата — возьмите на поруки. В те годы с подачи Хрущева существовало такое положение в законодательстве. Около месяца собирали подписи сержантов и солдат. Желающих поддержать просьбу осужденного оказалось мало.

Командир дивизии полковник Анатолий Хюпенен поручил мне представить армейскую общественность при рассмотрении просьбы насильника. Мы с начальником лагеря ходили по рядам, и я лопатками, кожей ощущал тяжелые, завистливые взгляды сотен осужденных, а это, Семен, не хухры-мухры. Начальник не скрывал, что в заключении не изжиты насилие, поборы, драки, власть паханов. «Неужели нельзя укротить власть паханов, поборы, избиения?» — спросил я. «Укрощаем, товарищ полковник, повторно судим. Боремся! Но за каждым паханом уследить очень трудно, а иногда и невозможно. Особенно опасна статья об изнасиловании, она вызывает самую жестокую расправу — почти у каждого осужденного дома остались жена, дочь, сестра, и такие мстят, как правило, жестоким убийством. Мы стараемся таких заключенных почаще переводить из отряда в другой отряд. Но не всегда нам удается спасти осужденного за насилие. Не всегда! А если кому-то из потерпевших осужденных удается пожаловаться нашим сотрудникам, то каким-то

неизвестным нам путем шайка узнает и жестоко расправляется во время работы на лесоповале — многолетняя сосна падает именно на жалобщика. Не уследишь! — начальник лагеря удрученно развел руками. — Лес вокруг!»

Повидаться с нашим бывшим солдатом-насильником мне удалось. С трудом узнал его: худой, с осунувшимся лицом и потухшим, страдальческим взглядом; его, похоже, уже «опетушили» зеки. Тихий, простуженный, хриплый голос, почерневшие от холода и топорищ руки дрожали. С трудом он рассказал о страданиях и о пережитом: «Существую, а не живу, нахожусь под постоянным страхом смерти. Мой дембельный год, — с большими паузами выдавливал из себя каждое слово бывший солдат, — наверно, будет последним годом в моей такой нескладной, изломанной жизни. Я часто вспоминаю и тот проклятый вечер, и ту окаянную самоволку, и свое позорное поведение. Эх, если бы знать!.. Бедная мама — она, страдалица, теперь совсем одна, несчастная». Он тяжело вздохнул.

Из той памятной встречи в лагере я и мои помощники-однополчане взяли очень много. Чужая горькая судьба сблизила нас, наших ротных, батальонных и полковых воспитателей. Мы по-иному стали относиться к нашей профессии. Мы, естественно, не сразу, но старались быть ближе к каждому солдату и сержанту, настойчиво и предметно наставлять и внушать молодым людям более ответственно исполнять все до единого требования дисциплины. Мы терпеливо убеждали каждого военнослужащего чаще задумываться о своей судьбе, всегда руководствоваться древним правилом: «Прежде чем войти, подумай, как выйти».

И что, Семен, интересно: в том году в нашей большой по численности и огромной по территории краснознаменной 23-й дивизии противовоздушной обороны страны, расположенной в болотистой местности, в тундре, на побережье Баренцева и Карского морей, не было ни самовольных отлучек, ни потерь личного состава. Трагическая судьба одного человека повлияла на десятки коллективов — мы настойчиво рассказывали людям о случившемся так, как все произошло, стараясь, чтобы каждый солдат и сержант знали судьбу того несчастного человека.

Через несколько месяцев позвонил начальник лагеря и сообщил о гибели бывшего нашего солдата, заключенного: на него «случайно» упали два огромных дерева.

Видишь, Семен, как иногда бывает: не пойди солдат в самовольную отлучку, не случилось бы и тяжелого насилия, не было бы военного суда и лагеря. И единственный сын у одинокой матери был бы жив и помогал бы своей маме дожить в покое и радости до седых волос.

Семен сидел молча, ссутулившись, вслушиваясь в каждое слово. Иногда он согласно кивал головой, а в конце истории о трагической судьбе молодого человека у Семена по щекам начали скатываться скупые слезы…

Старший заметил, выждал какое-то время, тихо произнес:

— Поплачь, Семен, поплачь. Твои слезы от чистого сердца.

* * *

Вскоре снова о себе дал знать ротный телефон:

— Москва интересуется вашим возвращением, — сообщил заместитель. — Требует срочного письменного доклада шифротелеграммой о ходе расследования случившегося.

— Слышишь, Семен, какое внимание уделяется твоей персоне? Натворил, браток! Мы с тобой говорили о многом важном и для жизни, и для нас. Старай-

ся не делать дурного — тебе еще жить да жить! Молодые люди часто не думают о своем будущем, живут одним днем в мираже развлечений. Ты, наверно, не знаешь, что гибель античной культуры была вызвана безнравственностью, распутством. Этого-то и опасаемся мы — мальчишки военных лет, выросшие в тяжелом труде, голоде и холоде, потерявшие на фронте отцов.

* * *

Чем дольше Старший слушал ободренного и немного успокоившегося Семена, тем больше верил в сравнительно малую виновность молодого солдата, и значит, он должен помочь человеку, попавшему в беду. Необходимо все еще раз обдумать, ибо его позиция вряд ли будет принята военной прокуратурой — там ребята отнюдь не простые и ни в чьих советах, как однажды ему было сказано, не нуждаются. Значит, дело придется иметь с главным прокурором округа Анатолием Корнеевичем. Другого, похоже, не дано. Надо во что бы то ни стало помочь парню…

Разумеется, придется с просьбой идти к командующему войсками округа, а это отнюдь не простое решение, тем более что скоро на заседании военного совета округа будет рассматриваться твоя, Валерий, кандидатура на сравнительно высокую должность в округе. Да, обстановочка, небо может с овчинку показаться… Но главное — помочь парню. Пока на лыжах бегаешь, в теннис играешь — можно еще и нужно потрудиться на поприще воспитания молодой поросли офицеров и солдат. Не случайно нынешняя должность утверждалась самим генсеком…

Нет-нет, выбор, похоже, сделан — надо помочь несмышленышу, это и долг, и отцовская забота, и вопрос личной совести. Надо почаще бывать в ротах. И добиться должности замполита отдельной роты. Сознание того, что надо изо всех сил делать добро, чаще радовать людей, — это, как определил граф Лев Толстой, — великая цель. Она взбодрила Валерия Константиновича, что, естественно, сказалось на его душевном состоянии, помогло бороться и с усталостью — на ногах и без сна больше суток.

Глубоко скрытое недовольство, досада и раздражение нет-нет да и проявлялись. Глядя на роту, на зачуханных, усталых от бессонницы, издерганных солдат и сержантов, на измученного, изнуренного множеством забот ротного командира, глядя на давно не ремонтированную казарму с печным отоплением и остальными удобствами на улице, Старший размышлял и спрашивал: а почему у нас так бедно и неустроенно? Побывал у немцев в Восточной Германии, увидел: кирпичные казармы постройки тридцатых годов, разрушенные войной сороковых, но в них все ладно и ухожено: полы обновлены, внутренний туалет новехонький с блестящими трубами и писсуарами, оружейная комната покрашена, оригинальные потолочные люстры, кровати одноярусные, городской телефон рядом с дневальным, комната отдыха — чистенькая, с полумягкими стульями, шахматами, библиотекой и настольными лампами, почти домашняя обстановка. Почему у немцев нет ни одного поломанного стула, ни одного покореженного крана в умывальнике? Люди с детства приучены относиться ко всему окружающему — имуществу, деревьям, садовым скамьям — бережно и заботливо, как к своему личному и домашнему…

Почему? Мы же в первую очередь (так по плану сверху) строили железобетонные ракетные позиции и насыпали высоченные, до неба, горки для антенн радиолокаторов, технические хранилища для ракет с постоянной температу-

рой, а если головка ракеты С-75 с ядерным зарядом, то там и относительная влажность постоянная. Казармы же — сборно-щитовые, неуютные, холодные осенью и зимой, без туалета и умывальных комнат. Уместнее, разумеется, было бы обратить свои предложения одному из заместителей министра обороны, к руководству Генерального штаба, но там не восприняли должным образом обращения, посчитали их не столь острыми, нужными и несвоевременными, все уже спланировано на пятилетку вперед. Обратился к одному из начальников главкомата, так тот вскипел: «Не по-государственному мыслишь! Безопасность страны — в первую очередь!»

Вспомнилось и строительство на Севере, под Рикасихой, недалеко от Северодвинска, по бездорожью, в болотистой местности. Дивизия сама готовила боевые позиции под новейшие в ту пору ракеты С-200 (они и до настоящего времени еще служат!) для надежного прикрытия завода по производству атомных подводных лодок. Командир дивизии полковник Анатолий Хюпенен в плащ-накидке, под дождем, осенью, в резиновых сапогах, по приказу главнокомандующего неделями «выкладывался» до предела, организуя, по сути, весь процесс создания огневых позиций, подгоняя строителей личным примером, неделями не покидая стройку. Майор Михаил Бакуменко месяцами оставался на площадке, удерживая замерзающих солдат, сержантов, младших офицеров от употребления «для сугреву» спиртного, неизвестно как и откуда попадавшего на стройку, предупреждая падение уровня воинской дисциплины. Майор Леша Семенов с взводом солдат круглосуточно укладывал горячий асфальт на аэродромную посадочную полосу. Капитан Толя Толстой активно помогал молодым командирам и политработникам заполярных отдельных радиолокационных рот и батальонов осваивать сложнейшие обязанности и по постоянному боевому дежурству, и по воспитанию у недавно призванного личного состава выдержки, мужества, стойкости при исполнении служебных обязанностей часто в почти непосильной климатической и боевой обстановке.

Да, так было, и надо называть вещи своими именами: чуть ли не вся служба в тех условиях на пределе сил и нервов.

— И таких военнослужащих нашего поколения большинство, Семен. Теперешние трудности даже в таких непростых условиях, как ваши, не идут ни в какое сравнение с той северной обстановкой. Люди служили на пределе, по максимуму, не глядя на часы, несмотря на предельную усталость.

Почему мы такие, спросишь? Потому что еще мальчишками старались в учебе, трудились на школьном и колхозном полях, на приусадебных участках. И мы мечтали! Кто стать летчиками, как мой друг Павлик Рогожин, кто — моряками, как Коля Воронин. Многие девочки нашего 7 «А» класса стали учителями, глядя и восхищаясь нашей первой учительницей, милой и обаятельной Верой Васильевной Разумовской.

Не могу, Семен, не рассказать о своей судьбе. После окончания семилетки поступил в Первую московскую спецшколу Военно-Воздушных Сил, эвакуированную в 1941 году, когда немцы подошли к Москве, в Сибирь, станция Заводоуковск. Вот там мы в 1943—1944 годах хватили лиха! В красноармейских гимнастерках и ношенных нашими предшественниками шинельках, армейских ботинках, мы в глубинке всю осень и зиму по два дня в неделю грузили тяжеленные бревна для войск Белорусского фронта, толстенные доски «сороковки» для блиндажей, землянок и окопов.

— Холодно было, зима, а вы в ботинках. Болели, чай, много?

— Поразительно! За осень и зиму никто ни разу не простудился! Никто! Сами потом удивлялись! А почему так было? Потому что все мы, шестнадцати-

летние мальчишки в гимнастерках, мечтали стать летчиками! Мечта помогала одолевать болезни! Упредила простуду! Укрепила защитную силу организма!

— И никто не лежал в больнице?

— Лежали, многие, но по другой причине: поднимали тяжелые бревна, и это приводило к паховым грыжам. Когда мы стали курсантами Армавирского училища летчиков в 711-м учебном авиационном полку (станица Кореновская под Краснодаром), мы помогали в колхозах убирать обильные кубанские урожаи — грузили и увозили с полей пшеницу на элеватор или в склады. Нас посылали на разгрузочные работы даже в праздничные дни. 7—8 ноября — день Октябрьской революции. После торжественного собрания наша эскадрилья всю ночь и весь день под проливным дождем разгружала уголь и дрова для отопления учебных классов, столовой, казармы и санитарной части. И с нами все это время был рядом комэск Александр Фурса! Мы его еще больше зауважали…

И подобных трудностей в службе нашего поколения было много. И почему, спросишь? Ради чего? Отвечу: ради спокойствия и мирного труда нашего терпеливого, умного и многострадального народа, ради детей и внуков наших, ради тебя, вашего и будущих поколений…

Жил, Семен, композитор Бетховен — очень талантливый, создал девять симфоний и несколько сонат. Но так случилось, что из-за неразделенной любви остался одиноким. Сначала умерла его любимая мама, а пьяница-отец заставлял маленького Людвига играть на скрипочке для уличных прохожих, чтобы изъять у сына заработанные деньги и приобрести еще бутылку-другую вина. Сначала Людвиг обручился с Терезой Брунсвик, которая любила его, была достойна его. И он посвятил ей, «бессмертной возлюбленной», великолепную Аппассионату, но то ли болезни композитора, то ли его тяжелый характер, то ли загадочные причины помешали счастью двух любящих людей. Предметом страсти Людвига была и Джульетта Гвичарди, которую он обессмертил, посвятив ей «Лунную сонату». Джульетта была кокетка, она причинила композитору много страданий и… вышла замуж за графа. Влюбчивость Бетховена привела к горьким мукам. Отметим еще один удар судьбы — медленное наступление глухоты. «Я влачу жалкое существование, — писал Бетховен одному из знакомых. Больше нет у меня друзей, и я в мире один». Болезни Бетховена усиливались, к заболеваниям легких прибавились заболевания желудка и кишечника, он испытывал ужасные страдания, мучительные приступы боли. Преодолевая терзания и удары судьбы, Бетховен продолжал сочинять музыкальные произведения. Он приносил людям радость. Радость через страдания! Представляешь, Семен, глыба таланта и музыкальный дар божий воодушевляет море людское, озаряет миллионы людей счастьем и радостью, а сам творец несчастлив и одинок! Какая сила воли! Пример для всего человечества — страдая, делать добро другим…

Разве можно сравнить наши с тобой страдания с муками великого композитора? Великолепный пример для подражания — стараться изо всех сил делать добро людям…

* * *

Пока Валерий Константинович размышлял и вслух, и для себя, Семен слушал его, затаив дыхание, не шевелясь, стараясь запомнить каждое слово Старшего, удивляясь и его простоте, и его доступности, радуясь своему впервые в жизни короткому счастью быть рядом с таким интересным и умным человеком.

— А вам много пришлось страдать?

— Много. Потеря любимого, доброго отца в 1942 году. Страдал и от бедности, и недоедания в годы войны, и от несправедливого отношения начальников, и…

— И вас обижали?

— Еще как! Например, запрещали летать, а мне очень хотелось подниматься в небо вместе с другими летчиками.

— Почему?

— Командующий северной армией ПВО генерал Г. не стал даже слушать. «Пока в дивизии не будет крепкой дисциплины, будешь на земле наводить в войсках порядок!»

— А кто нарушал дисциплину?

— Такие, как ты, солдаты, сержанты: то уйдут в самовольную отлучку в поселок, выпьют и подерутся с деревенскими парнями, то между собой не поладят, то из сельского ларька украдут конфеты и пиво, то офицеру дежурному не подчинился подвыпивший солдат-рабочий по кухне, он применил оружие и ранил нарушителя. Кто-то из дивизионных начальников должен нести ответственность за грубые нарушения воинской дисциплины… Мне было обидно и горько. Я, разумеется, мучился от обиды, страдал. Я — летчик и должен летать! А мне запрещали! Больно было, Семен, обидно.

— Вы бы пожаловались, — сочувственно посоветовал молодой солдат.

— На требования начальника жаловаться в армии не принято. То, что натворили вы, — преступление. Вас, естественно, накажут! Но и ваших командиров могут наказать.

— За что? — удивился Семен.

— За чрезвычайное происшествие — применение оружия.

— Но наш командир роты не применял оружия!

— В армии за проступки подчиненных ответственность несут их начальники. Будет наказан и ваш командир роты.

— Но это несправедливо! Он не виноват.

— Он несет ответственность за все, что происходит в роте. А ты и твои «дружки» грубо нарушили воинскую дисциплину, совершили преступление, поставили его в тяжелое положение. А у него семья! Вы подвели своего командира. Вы потеряли совесть! Священнослужители утверждают: «Совесть — глас Божий». А если твоя мать узнает о твоем проступке? Что ты ей скажешь?..

Семен мысленно повторил слова «Совесть — глас Божий», и слова неожиданно по-особому зазвучали в ушах, как трубы оркестра в день принятия присяги при исполнении старинного марша. Та пронизывающая сердце музыка запомнилась ему на всю жизнь. Позже он узнал, что тот старинный марш назывался «Прощание славянки».

* * *

И снова подал голос ротный телефон. Старший в это время смотрел в окно и радовался незаметно наступившему солнечному дню. Солнце, наконец, прогнало облака, раскрыло чистую небесную голубизну. Он взял трубку и услышал знакомый бархатный, вкрадчивый голос:

— Докладывает начальник медслужбы полковник Хоровец. Вторая операция закончилась успешно. Опасность ранения уменьшилась после извлече-

ния пули. Появилась надежда на выздоровление. Улучшение началось после введения в вену тяжелораненого плазмы крови молодой женщины.

— Генрих Маркович, спасибо вам огромное и за участие в операции, и за добрую новость! Как говорил командир эскадрильи капитан Титаренко из фильма «В бой идут одни старики»: «Будем жить!»

Закончив разговор, Старший с сияющей, первой за сутки, улыбкой осторожно положил на рычаг трубку, кивнул на аппарат:

— Слышал радостное сообщение? Будем надеяться на лучшее, хотя тебе предстоят допросы, следствие, очные ставки. Главное — человек будет жить! Мудрый Экклезиаст отмечал: «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как трудиться и делать доброе в жизни своей… Нет ничего лучшего, как наслаждаться делами своими, которые сделали руки мои… А все остальное — суета сует и томление духа, и нет от них пользы под солнцем… И еще познал я, что для других нет ничего лучшего, как веселиться…»

Семен все глубже входил в широкое половодье размышлений своего наставника, радуясь медленно наступавшему внутреннему успокоению. «Слава Богу — раненый жить будет!»

— Спасибо вам. Вы перевернули мою жизнь, открыли глаза — я теперь по-другому вижу людей, и хороших, и плохих. Я только сегодня почувствовал настоящую человеческую доброту. Мне стыдно смотреть вам в глаза… И еще… Я обязательно отыщу свою маму и буду ей помогать…

Валерий почувствовал, как в душе раскрылось горячее чувство родственной, почти отцовской близости к этому невзрачному, несчастному пареньку, не видавшему в своей жизни ни материнской ласки, ни отцовской заботы, не ощутившему теплоты семейных отношений, но уже испытавшему черствость, грубость, унижение. Бедняга не испытал сладость конфеты из руки матери, не пережил детской и юношеской радости от теплых отцовских рук. Несчастный мальчишка! На Валерия нахлынуло горячее чувство сострадания, глаза начали наполняться слезами жалости и сочувствия, а душа переполнилась мгновенно вспыхнувшей сердечной близостью. На этот раз он не удержался, шагнул к Семену, обхватил руками неразвитые еще мальчишечьи плечи, крепко прижал его к груди, небритой щекой прильнул к его лицу и тут же ощутил ответную силу юношеских рук.

И ощутил горячие слезы на своем лице…

В усталых, печальных мальчишеских глазах читалось и ожидание радости, и глубоко спрятанная тревога, теплилась надежда на преодоление трудностей на пути так нескладно начавшейся молодой жизни.





АНАТОЛИЙ АВРУТИН

Завтра солнце взойдет

* * *

То ль душа солгала,
то ль мятежное сердце озябло,
То ль забытое чувство
пробилось опять между строк,
Но в холодной ночи
Захотелось мороженых яблок…
Все, что впрок запасалось,
опять оказалось не впрок.

Снова ветви гудят,
будто струны гудят вековые,
Снова рушится небо
в немую озерную гладь.
Снова годы летят —
По-самойловски «со-роковые», —
И не в силах Всевышний
иную судьбу ниспослать.

Что-то ухнет вдали…
Бабий голос истошно завоет.
И почти расколов
бесполезную тушу Земли,
Роком посланный рок
принесет нам свое, роковое,
И, обрушив столетья,
лениво исчезнет вдали.

Больно сдавит в груди…
Слабо пискнет испуганный зяблик.
Вспомнишь очи любимой,
что молвила тихо: «Не люб…»
И останется привкус
морозных антоновских яблок
На обугленной коже
холодных, запекшихся губ…

* * *

Не брести, а скакать
по холмам помертвелой Отчизны,
На мгновенье споткнуться, ругнуть поржавелую гать,
Закричать: «Ого-го-о…»,
зарыдать о растраченной жизни…
Подхватиться и снова куда-то скакать и скакать.

Только стайка ворон
да вожак ее странно-хохлатый
Будут видеть, как мчишься, как воздух колеблет вихры…
Да забытый ветряк,
будто воин, закованный в латы,
Тихо скрипнет крылом… И опять замолчит до поры.

Только черная рожь
да какая-то женщина в белом,
Что остались одни одиноко под небом стоять,
Могут встретить коня
вот с таким седоком неумелым —
Он кричит против ветра, но мчится опять и опять.

Завтра солнце взойдет,
из-за тучи восторженно брызнет.
И никто не припомнит, ловя озорные лучи,
Как нелепый седок
среди ночи скакал по Отчизне,
И рыдал…
И метался…
И сгинул в беззвездной ночи.

* * *

Еще не стемнело…
И можно немного пройтись
Вдоль влажной лощины
по серо-зеленому полю.
Недоля струится отсюда
в небесную высь,
А высь переходит
В безбрежную эту недолю.

И чтоб надышаться,
здесь нужно дышать и дышать,
Стараясь запомнить,
как стонут забытые травы.
И чуять — струится
в безмерную даль благодать,
А в той благодати —
Безмерная доля отравы.

Есть только мгновенье…
А суток и вечности нет…
Мгновенье к мгновению —
вот и дорога к прозренью.
О свет мой вечерний,
туманный бледнеющий свет,
Для белого света ты тоже
Подобен мгновенью.

Ведь скоро над полем
неярко засветит звезда.
Пора возвращаться…
Невидною стала дорога.
Пусть что-то осталось…
Но что-то ушло навсегда…
И так же далеко
До истины…
Сути…
И Бога…

* * *

Спи, ненаглядная…
Тихо стекает с пера
Слово горючее,
слово совсем не парадное.
Птицы в отлете…
И мне собираться пора…
Но до отлета
поспи же, моя ненаглядная.

Я не жалею…
И ты ни о чем не жалей.
Слышишь?— Листва устилает
дорогу шершавую.
Тихо струится
ночная листва с тополей…
Я не жалею,
Что жил
не обласканным славою.

Спи, ненаглядная…
В робком дрожании век,
Тихо трепещущих,
будто бы чуя неладное,
Бьется ответное:
«Помнишь тот утренний снег?..»
Как же не помнить?
Поспи же, моя ненаглядная…

А просветленной
Подхватишься ранней порой,

Встретишь звезду,
Что скатилась
    меж черными ветлами.
Строчку припомни…
    И двери плотнее закрой…
Тихо присядь…
Да подумай про что-нибудь светлое…

* * *

Так сладко, что даже больно,
Так больно, что даже сладко.
Ты волю свою невольно
Зажмешь в кулаке украдкой.

Зачем-то цветок уронишь
На серое одеяльце,
Зачем-то на стенке тронешь
Следы от холодных пальцев.

И взгляд отведя остылый
От света, что бьет сквозь щелку,
Подумаешь: что там было
Так сладостно?.. Так недолго?..





ОЛЕГ БУРКИН

Заяц жареный по-берлински

Киноповесть

Начало июня 1941 года в Москве выдалось жарким. Единственное окно в комнате Ломовых было распахнуто настежь почти круглые сутки.

У окна, за обеденным столом, сидел сын Петра Егоровича Ломова Ваня, которому месяц назад исполнилось двадцать лет. Ваня неторопливо заваривал чай и ждал к завтраку отца, умывавшегося в общей ванной коммунальной квартиры.

Дверь открылась, и в комнату вошел Петр Егорович, полностью облысевший к своим сорока девяти годам толстяк среднего роста, в брюках и майке, с полотенцем, перекинутым через плечо.

Ваня повернул голову в его сторону.

— Давай завтракать, бать! Я чай уже заварил.

Повесив полотенце на спинку кровати, Ломов тоже уселся за стол. Взгляд Ломова уперся в фотографию покойной жены, стоящую на краю стола. Петр Егорович вздохнул. Взглянул на Ваню. Кивнул на фотографию.

— В субботу будет год по матери. В церковь надо сходить.

— Я не смогу. У нас на заводе субботник.

— Ну не до ночи же?

— Часов до пяти.

— Вот на вечернюю и сходим.

Помявшись, Ваня посмотрел на отца почти с мольбой.

— Бать, может, ты сам, а? Я заявление подал, в институт, на заочное. По направлению от завода. На следующей неделе будут рассматривать. Если меня кто из наших увидит в церкви…

Ломов сердито засопел.

— Не увидят. Все твои ее за версту обходят, — уверенно произнес Ломов. — А свечи за упокой души поставить надо. И молебен заказать.

Ваня нехотя, но послушно кивнул головой.

* * *

В подсобке для поваров ресторана «Метрополь» у одежных шкафчиков стояли, переодеваясь, два закадычных друга — Ломов и его ровесник Синдяшкин, маленький и тощий. Уже надев белоснежную униформу, оба натягивали на головы поварские колпаки.

Ломов повернулся к Синдяшкину.

— На футбол в воскресенье пойдем? «Спартак» с ЦДКА!

— Пойдем, — Синдяшкин хмыкнул. — Если пообещаешь…

— Что?

— Что, когда забьет «Спартак», не будешь орать как бешеный. У тебя же не глотка, а… После прошлого матча я неделю на левое ухо не слышал.

Ломов улыбнулся.

— Ладно.

Закончив переодеваться, оба направились к выходу из подсобки.

* * *

В просторной кухне ресторана, за стойкой для выдачи блюд официантам, склонился над кастрюлей у большой плиты Ломов. У соседней плиты колдовал над шкворчащей сковородой Синдяшкин.

Из обеденного зала в коридор перед стойкой вошел метрдотель в черном фраке и белой рубашке с галстуком-бабочкой. Метрдотель помахал Ломову рукой.

— Егорыч!

Ломов поднял голову от плиты и посмотрел на Метрдотеля.

Тот кивнул головой в сторону обеденного зала.

— К директору!

Ломов и Синдяшкин переглянулись. Ломов удивленно пожал плечами.

* * *

Директор ресторана «Метрополь» Феофанов, в сапогах и кителе военного покроя, сидел за своим рабочим столом, нетерпеливо постукивая по столешнице костяшками пальцев.

В кабинет вошел Ломов. Следом за ним переступил порог метрдотель. Оба приблизились к столу. Ломов улыбнулся.

— Вызывали?

Улыбаться в ответ Феофанов явно был не настроен. Он пристально посмотрел на повара и кивнул на большой телефонный аппарат на краю стола.

— Знаешь, откуда мне только что звонили? Из наркомата иностранных дел.

Феофанов поднял вверх указательный палец.

— Посол Германии у нас будет ужинать! Сегодня.

Ломов невозмутимо хмыкнул.

— Ха, удивили! Да в Москве этих послов — как собак нерезаных.

Метрдотель за спиной Ломова прыснул со смеху. Феофанов сердито нахмурил брови. Потряс в воздухе пальцем, уже грозя им повару.

— Ты, Ломов, того… Брось шутить.

Феофанов поднялся из-за стола.

— Дело — крайней политической важности. Граф Шуленбург хочет посетить наш «Метрополь». Отметить день рождения супруги. Нельзя ударить в грязь лицом перед послом дружественной страны. Понимаешь?

Ломов вздохнул.

— Понимаю… Лучше бы они в наркомате узнали, что он любит. Что заказывать будет?

Заулыбавшись, Феофанов радостно махнул рукой.

— Да узнали уже! Есть у него одно любимое блюдо…

Директор ресторана торопливо схватил со стола лист бумаги и впился в него глазами.

— Заяц жареный по-берлински.

Оторвавшись от листа, он вопросительно посмотрел на Ломова.

— Ну? Умеешь?

— Чего там уметь? Берем да жарим — с морковкой и луком. Главное, про красную смородину не забыть. Ее всегда добавляют.

Феофанов довольно потер ладони.

— Молодец! Знал, что не подведешь. Правду говорят: другого такого, как ты, во всей Москве не сыщешь.

Ломов самодовольно ухмыльнулся.

— Лет двадцать его уже не готовил. Но помню. При НЭПе в Москву инженеров немецких понаехало… Они и заказывали. Помню, заяц этот тогда у нас даже был в меню.

Спохватившись, Феофанов перевел взгляд на метрдотеля.

— Ты тоже зайца в меню впиши. Срочно!

Метрдотель удивленно вскинул брови.

— Что, во все экземпляры?

— Не надо во все. Только в те, что послу понесешь. Так, чтоб было на видном месте. Крупными буквами!

Метрдотель послушно кивнул. Директор ресторана снова довольно потер ладони, радуясь как ребенок.

— Посол меню раскроет — а там вот оно. Его любимое.

— Ну, а зайчатина? — поинтересовался Ломов. — Сами зайцы-то где? Из чего готовить?

— Будут тебе зайцы. Я с охотохозяйством уже связался. Заказал у них полдюжины. Чтоб с запасом, — Феофанов бросил взгляд на настенные часы, которые показывали около трех. — Поехали стрелять. К шести обещали доставить. А мне сказали, раньше восьми он ужинать не прибудет… Так что успеем.

Ломов удовлетворенно хмыкнул.

* * *

На кухне у плиты склонился над кастрюлей, помешивая что-то, Ломов. Недалеко от него маячил, тоже занимаясь своим делом, Синдяшкин. Настенные часы показывали около шести.

Из обеденного зала в коридор перед стойкой для выдачи блюд, гремя сапогами, залетел Феофанов. В обеих руках он держал за уши тушки зайцев — маленьких и ужасно тощих.

Услышав гром сапог Феофанова, Ломов поднял голову и посмотрел на директора. Феофанов, победно размахивая тушками в воздухе, улыбнулся.

— Вот! Доставили!

Ломов степенно и неторопливо подошел к стойке. Посмотрел на зайцев. Лицо его сердито вытянулось.

— Вы что? Издеваетесь?

Улыбка слетела с губ Феофанова.

— Мясо, мясо-то где? — спросил Ломов. — У этих же — только кожа да кости.

Ломов выхватил одну тушку из руки Феофанова и, скривившись, брезгливо поднес ее к глазам. Повернулся к стоящему за его спиной Синдяшкину и продемонстрировал заячью тушку ему. Синдяшкин тоже скривился. Ломов снова повернулся к Феофанову.

— Я, конечно, *это* приготовить могу. Но если такое подать на стол послу… Осрамимся, товарищ директор. На всю Европу.

Феофанов побледнел.

В коридор перед стойкой забежал метрдотель. Он подскочил к Феофанову и кивнул в сторону зала.

— Иван Игнатьич, прибыли!

— Кто? — отстраненно произнес директор.

— Посол. Граф Шуленбург! С гостями.

Феофанов протяжно застонал и покосился на настенные часы. Он был близок к обмороку.

— Как прибыли? — слабым голосом протянул Феофанов. — Почему? Они же должны были к восьми…

Метрдотель растерянно пожал плечами.

— Ну, не знаю… Проголодались, наверное. Я их в отдельный кабинет провел. Как вы и сказали. И заказ уже принял.

— К-какой заказ?

Метрдотель кивнул на тушки зайцев в руках у директора.

— Зайца жареного по-берлински. Посол как увидел его в меню, так весь от радости и засветился. Ждет!

Феофанов обреченно опустил голову.

— Все… Конец…

Метрдотель, еще не понимая, что происходит, удивленно вращал глазами. Феофанов поднял голову и с мольбой посмотрел на Ломова.

— Ломов, что делать?

Ломов напряженно морщил лоб. Встрепенувшись, Феофанов придвинулся к Ломову вплотную.

— Слушай… Кто-то мне говорил, что у кошек мясо того… От заячьего не отличишь, — директор понизил голос. — Тут у нас в ресторане котов полно. Жирные! Может, мы их послу… Вместо зайцев?

Ломов, отшатнувшись в сторону, посмотрел на Феофанова, как на сумасшедшего.

— Ну, вы даете! — Ломов возмущенно потряс головой. — Чтобы посол да не отличил? Да ежели он поймет, что ему принесли не зайца… Тогда не просто осрамимся. Скандал получится. Международный.

Едва не плача, Феофанов в отчаяньи всплеснул руками.

— Что же делать-то? Что?

В глазах Синдяшкина мелькнуло созревшее решение. Он подскочил к стойке и решительно облокотился на нее.

— В зоопарк надо ехать. Вот что.

— В какой зоопарк?

— В Московский. Тут недалеко. На машине смотаетесь мигом. Уж там-то зайцы должны быть откормленные!

— Точно! Надо в зоопарк, — сказал Ломов.

— А дадут они зайцев? — засомневался Феофанов.

— Ха! Куда они денутся! Вы же сами сказали: дело крайней политической важности.

Феофанов со злостью швырнул тощие заячьи тушки прямо на пол, повернулся к метрдотелю и решительно махнул рукой:

— Поехали!

* * *

По вольеру зоопарка, обнесенному решеткой, бегало несколько жирных зайцев. У клетки стоял, заслонив своим телом дверь в вольер и широко раскинув в стороны руки, убеленный сединой профессор Самарский в очках, съехавших на самый кончик носа. Прижавшись к двери спиной, он с

ненавистью смотрел на молодого директора зоопарка Валуева, Феофанова и метрдотеля, которые полукругом замерли напротив профессора. Повернувшись к Феофанову и метрдотелю, директор зоопарка сердито кивнул на Самарского:

— Ну и зам по науке мне достался! До чего ж непонятливый! До чего упрямый!

Валуев снова повернулся к Самарскому.

— Аристарх Венедиктович, прекратите ломать комедию! Отойдите от клетки! Я же при вас звонил в горком партии. Спросил — дать в «Метрополь» зайцев? Сказали — дать! Дело крайней политической важности. Сами слышали!

Самарский прижался к двери вольера еще сильнее.

— Слышал! Но не отойду! Так скоро весь зоопарк сожрут! И медведей — если медвежатинки захочется… И лосей! И черепах на черепаший суп пустят!

Директор поморщился.

— Ну, не надо преувеличивать!

Теряя терпение, Феофанов крикнул Валуеву:

— Да кто здесь, в конце концов, директор — вы или он?!

— Я, я, — устало сказал Валуев и простер руки к Самарскому: — Отойдите, профессор! Добром прошу! Все равно заберем.

Вцепившись пальцами в прутья клетки, Самарский выставил вперед впалую грудь.

— Только через мой труп!

Директор зоопарка тяжело вздохнул.

— Через труп не будем. Но силу применить придется. Уж не обессудьте…

Он обернулся к двум здоровенным подсобным рабочим в спецовках, стоявшим у него за спиной. Молча махнул головой в сторону Самарского. Рабочие, засучив рукава и выставив перед собой руки с широко расставленными пальцами, обошли с двух сторон директора зоопарка, Феофанова и метрдотеля, а затем начали грозно надвигаться на Самарского. Самарский, вцепившись в прутья клетки еще сильнее, с ужасом наблюдал за их приближением. Когда рабочие подошли к нему вплотную, Самарский истошно завопил:

— Варвары!!!

* * *

В отдельном кабинете ресторана «Метрополь» за празднично накрытым столом восседали граф Вернер фон Шуленбург, его супруга, а также около десятка их гостей.

Дверь кабинета распахнулась. Вошел метрдотель. Хорошо поставленным голосом он произнес по-немецки:

— Гебратене хазэ ауф берлин! (Заяц жареный по-берлински.)

Шуленбург, его супруга и гости оживились.

Метрдотель отступил в сторону. В кабинет вплыл, как большой корабль, Ломов с подносом в высоко поднятой руке. Следом за ним вошел Синдяшкин с еще одним подносом. На подносах красовалось заказанное послом блюдо — заяц жареный по-берлински.

Шуленбург и гости восторженно захлопали в ладоши.

* * *

Недалеко от кинотеатра, утонувшего в вечерних сумерках, стоял Ваня. Озираясь вокруг и немного нервничая, он поглядывал на наручные часы. Увидев кого-то вдалеке, Ваня облегченно вздохнул и заулыбался.

К нему, тоже улыбаясь, подошла Варя — стройная, светловолосая ровесница Вани.

— Привет! — бросила Варя.

— Привет!

Оба смотрели друг на друга влюбленными глазами. Ваня потянулся губами к ее щеке, чтобы поцеловать, но Варя, отстранившись, стрельнула глазами по сторонам.

— Перестань. Люди же…

Ваня с сожалением вздохнул. Кивнул на здание кинотеатра.

— Ну что, пойдем?

Варя тряхнула челкой.

— Пошли!

Взявшись за руки, они направились к кинотеатру.

— На какой ряд билеты? — спросила Варя.

Ваня хитро улыбнулся.

— Будто не знаешь… Как всегда — на последний!

* * *

В полупустой пивной, за окнами которой уже было темно, устроились за круглым столиком усталые Ломов и Синдяшкин. Перед ними возвышались две кружки пива, а на аккуратно расстеленной газетке серебрилась чешуей сушеная вобла.

Синдяшкин взял кружку, поднес ее к губам и сделал большой глоток.

— Егорыч, может, пора о наших детках поговорить? Серьезно?

Ломов пожал плечами.

— Давай. У нас с тобой все серьезные разговоры — под пиво.

Синдяшкин поставил кружку на стол.

— Варя медучилище заканчивает, Ваня твой тоже на ногах стоит крепко. Встречаются третий год… Раз любят друг друга — давай их поженим! Он давно мылится. И она не против.

Ломов удивленно крякнул.

— Ванька, что, ей уже предложение сделал?

— Да сделает! Оба только и ждут, когда им отцы отмашку дадут.

— Да, у обоих только отцы. Твоя бывшая, небось, уже и забыла, что у нее дочка есть. Как укатила со своим геологом… Семь лет назад… — Ломов грустно улыбнулся. — Так больше носу и не казала. Даже не написала ни разу.

— Да бог с ней! Не о ней сейчас разговор, — Синдяшкин пристально посмотрел на друга. — Ну, так что? Насчет Вани и Вари?

Ломов решительно махнул рукой.

— Ладно, раз такое дело… Осенью сыграем свадьбу!

* * *

Ломов с черпаком в руке и Синдяшкин замерли у плиты. За спинами поваров сгрудились еще несколько поваров. Перед стойкой для выдачи блюд столпилось около десяти официантов во главе с метрдотелем. Все мрачно и

напряженно слушали голос наркома иностранных дел Молотова из радиоприемника на стене:

— Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковав нашу границу во многих местах и подвергнув бомбежке со своих самолетов наши города… Это неслыханное нападение на нашу страну, несмотря на наличие договора о ненападении между СССР и Германией, является беспримерным в истории цивилизованных народов… Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал заявление мне, как народному комиссару иностранных дел, от имени своего правительства…

Глаза Ломова налились кровью. Он с ненавистью сжал в кулаке черпак, словно готовясь им кого-то ударить.

Голос Молотова звучал из приемника все жестче и жестче:

— В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной… Советским правительством дан приказ нашим войскам отбить нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

После выступления Молотова в воздухе на несколько секунд повисла тишина.

Ломов растерянно покачал головой. Обвел поваров и официантов злыми глазами.

— А мы его на прошлой неделе кормили, — протянул он. — Вот тебе и дружественная страна. Вот и договор о ненападении… — Ломов сорвался на крик: — Да если б я знал — засунул бы ему того зайца!..

Взмахнув черпаком, Ломов со злостью швырнул его в большую кастрюлю без крышки, стоявшую сбоку. Черпак шмякнулся в варево, брызги которого полетели прямо в голову стоявшего перед кастрюлей Синдяшкина. Жалобно скривив лицо, заляпанное густой, липкой массой, Синдяшкин возмущенно всплеснул руками:

— Ты что, Егорыч?!

* * *

Ноябрьским утром около тридцати солдат разного возраста в новеньких шинелях и с винтовками за плечами курили, переминаясь с ноги на ногу, у здания военкомата. Рядом с ними стояли их матери, отцы, братья, сестры, друзья…

Коротко стриженный Ваня, в солдатской шинели и зимней шапке-ушанке, замер в стороне от них в обнимку с Варей, положившей голову ему на грудь. Ваня гладил по голове Варю, глаза которой были грустными и влажными. Недалеко от них понуро топтались Ломов и Синдяшкин.

Синдяшкин тяжело вздохнул.

— Так и не сыграли мы свадьбу…

На крыльцо военкомата вышел старший лейтенант. Окинул солдат начальственным взором и громко скомандовал:

— Становись!

Солдаты начали торопливо прощаться с родными и близкими, становиться в строй.

Оторвавшись от Вари, Ваня сделал шаг к отцу. Обнялся с Ломовым. Ломов похлопал его по плечу.

— Ну, давай, сынок.

Отстранившись от отца, Ваня крепко пожал руку Синдяшкину. Тот, грустно улыбаясь, тоже похлопал его по плечу.

Он снова вернулся к невесте, по щекам которой уже градом катились слезы. Они обнялись и поцеловались.

Старший лейтенант стоял перед строем, в котором не было только Вани. Офицер сердито повернул голову в его сторону:

— А ну в строй! Живо!

Ваня и Варя через силу оторвались друг от друга. Ваня сорвался с места и побежал к своему взводу. Встал вместе со всеми в строй.

Старший лейтенант скомандовал:

— Напра-во!

Солдаты выполнили его команду.

— Прямо — шагом марш!

Строй двинулся с места.

Родные и близкие солдат махали им на прощанье руками. Ломов, Синдяшкин и Варя — тоже. Ваня, обернувшись в строю и найдя их глазами, вскинул высоко вверх руку.

* * *

По улице, грустно опустив головы, брели Ломов и Синдяшкин.

Ломов вздохнул.

— Остался я один…

— Да я теперь тоже один, — отозвался Синдяшкин. — Почти… Неделями Варю не вижу. У нее в госпитале дежурства — чуть не каждую ночь.

— Немец к Москве рвется. А у нас в ресторане… — Ломов поморщился. — Будто и нет войны. Каждый день народу полно. Пьют, гуляют…

— Особенно которые вчера… Англичане. Гужевали до часу ночи. Все шампанское заказывали — самое дорогое.

— Ну, кому война, а кому… — грустно протянул Ломов.

— Да уж…

— Посмотрел я сегодня на Ваню… И так захотелось мне тоже — надеть шинель, винтовку взять на плечо… — Ломов повернул голову к другу. — Мужики мы еще — крепкие. Воевали б не хуже других.

— Так-то оно так. Только ведь «Метрополь», Егорыч, — первый ресторан Москвы. Не оставишь без него столицу. Потому нас от фронта и освободили, — Синдяшкин поднял вверх указательный палец. — Бронь — ее просто так не дают.

— Да умом-то я все понимаю, — Ломов приложил руку к груди. — А здесь… Когда другие в окопах… Противно смотреть на сытые и пьяные рожи.

Синдяшкин хохотнул.

— А ты из кухни пореже заглядывай в зал! И не будет!

Ломов кисло ухмыльнулся. Вспомнив о чем-то, снова повернул голову к Синдяшкину.

— Утром видел нашего управдома. Говорит мне: записывайся в добровольный отряд содействия противовоздушной обороне.

— Что им, школьников мало? С июля — как немец начал бомбить Москву — пацаны и девчонки торчат на всех крышах.

— На ночные дежурства ходить некому. Школьники спят.

Синдяшкин понимающе хмыкнул.

— Где дежурить?

— В нашем доме — на чердаке.

— Ладно. Давай. Я тоже с тобой, за компанию… — Синдяшкин вскинул голову. — А делать что, если бомба?

— На занятии скажут!

Друзья ударили по рукам.

* * *

В учебном классе за столами — около двадцати человек разного возраста. Среди них — Ломов и Синдяшкин. У доски замер пожилой майор с указкой в руке. На столе рядом с ним большие стальные щипцы. На полу — небольшая бочка с водой. Рядом с ней — лист железа, на котором тускло поблескивала небольшая учебная зажигательная бомба.

Все внимательно слушают монотонный голос майора.

— Авиационные зажигательные бомбы предназначены для вызывания пожаров и разрушения оборудования воздействием высоких температур. При их изготовлении используют термитную смесь и трифторид хлора…

Майор подошел к учебной бомбе на полу. Поднес к ней кончик указки.

— Зажигательные бомбы небольших калибров — такие, как эта, — используются, как правило, в кассетах. Они снаряжаются термитом. Термит — общее название смесей… — Осекшись, майор улыбнулся и махнул рукой: — А! Что я вам рассказываю эту х...?

Сидящие за столами тоже заулыбались.

— Главное, знать вот что, — майор рубанул ладонью воздух. — Если бомба упадет рядом с вами, не пугайтесь. Воспламеняется она не сразу, а секунд через двадцать-тридцать… Поэтому… — он обвел аудиторию взглядом, — просто берите ее и тушите. Большим количеством воды.

Майор подошел к своему столу, взял с него щипцы и снова вернулся к бомбе. Достал из кармана зажигалку. Чиркнул зажигалкой, наклонился над учебной бомбой и поднес к ней язычок пламени. Бомба зашипела, плюясь огнем. Все сидящие за столами открыли рты и вытянули шеи. Майор распрямился.

— Хватаем ее щипцами и опускаем в бочку!

Майор ловко схватил шипящую бомбу щипцами. Поднял ее, поднес к бочке и опустил бомбу в воду. Зашипев от соприкосновения с водой еще громче, бомба с бульканьем погрузилась на дно бочки. Майор повернулся к аудитории и развел руками.

— Вот так.

Сидящие за столами облегченно вздохнули. Переглянувшись, Ломов и Синдяшкин улыбнулись. Ломов протянул:

— Тю-ю-ю. И всего-то делов?

* * *

Ночью на чердаке было слышно только, как в дальних углах бегают мыши. Ломов и Синдяшкин сидят на двух перевернутых фанерных ящиках недалеко от выхода на крышу.

Рядом с поварами на полу лежат щипцы. Посреди чердака — небольшая бочка с водой.

Ломов встал, подошел к двери на крышу, открыл ее, задрав голову, посмотрел в ночное небо и протянул:

— Небо чистое. Ни облачка…

Синдяшкин повернул голову в его сторону.

— Плохо, что чистое. Лучше бы тучи. А еще лучше снег… Тогда бы сегодня точно не бомбили.

Ломов нахмурился.

— Не каркай!

— Ха! От меня это, что ли, зависит? Я на немецкого министра авиации не похож.

Синдяшкин тоже встал, подошел к Ломову и, улыбнувшись, легонько похлопал его по животу.

— Это ты у нас смахиваешь на Геринга! Такой же упитанный.

Ломов недовольно сбросил руку Синдяшкина.

— Почем те знать? Ты что, его видел?

— Живьем не видел. А как в газетах рисуют… — Синдяшкин очертил руками в воздухе огромный живот. — Объемы у вас одинаковые!

Синдяшкин засмеялся. Ломов сердито засопел.

Вдалеке раздался гул самолетов. Ломов и Синдяшкин тревожно переглянулись. Прищурив глаза, подняли головы и посмотрели в ту сторону, откуда раздается гул. Гул становился все громче. Ломов со злостью плюнул на пол.

— Ну вот. Накаркал!

Синдяшкин обиженно посмотрел на Ломова.

— Да я-то тут при чем?

…Со всех сторон гремели взрывы бомб. Ломов и Синдяшкин лежали на полу посреди чердака, прикрыв руками головы.

С грохотом пробив крышу, недалеко от них упала зажигательная бомба. Бомба громко и угрожающе зашипела, плюясь огнем. Оба они быстро вскочили, схватили щипцы и понеслись к бомбе.

Ломов подоспел к ней первым. Ловко ухватив бомбу щипцами, оторвал ее от земли и побежал вместе с ней к бочке с водой, которая чернела шагах в двадцати. Синдяшкин, подстраховывая друга, вприпрыжку засеменил за ним.

Уже у самой бочки Ломов неожиданно споткнулся и упал прямо на нее. Бочка опрокинулась. Ломов повалился на землю рядом, выпустив из рук и щипцы, и бомбу, которая откатилась далеко в сторону. Вода в несколько секунд вылилась из бочки в противоположную от бомбы сторону, растекаясь по крыше большой лужей и впитываясь в дощатый пол.

Ломов со злостью выругался:

— …твою мать!!!

Синдяшкин подскочил к шипящей бомбе и замер рядом с ней, испуганно и растерянно хлопая глазами. Он с отчаяньем вскинул голову.

— Егорыч, как же ее теперь тушить?

Ломов вскочил на ноги и тоже подбежал к бомбе. Застыл на месте, напряженно морща лоб. Через мгновенье в его глазах мелькнул ответ на вопрос Синдяшкина. Ломов решительно отшвырнул щипцы в сторону.

— Как, как… Вот так!

Ломов начал быстро расстегивать ширинку брюк.

Ухмыльнувшись, Синдяшкин тоже швырнул щипцы на землю и последовал его примеру.

Расстегнув ширинки, друзья посмотрели друг на друга.

— Только давай по моей команде, — торопливо произнес Ломов. — Вместе! Чтобы, как учили на занятии, большим количеством воды!

Синдяшкин кивнул.

— Понял!

— Раз, два, три! — скомандовал Ломов.

На счет «три» повара начали дружно мочиться на шипящую бомбу. Пошипев еще чуток, она «замолкла». Ломов и Синдяшкин облегченно вздохнули.

— Потушили… — Ломов застегнул ширинку и вытер ладонью взмокший от напряжения лоб. Синдяшкин — тоже.

Переглянувшись, друзья улыбнулись. А потом начали хохотать. Все громче и громче…

* * *

Усталый после рабочего дня, Ломов поднялся по лестнице и остановился у двери своей коммунальной квартиры.

Рядом с дверью висели почтовые ящики. Ломов шагнул к своему почтовому ящику и увидел сквозь дырочки в нем конверт. Довольно улыбнулся. Торопливо полез в карман за ключиком от ящика, открыл ящик и извлек конверт. Поднес его к глазам. Перестав улыбаться, Ломов недоуменно хмыкнул. Не двигаясь с места, разорвал конверт, достал из него сложенный вдвое лист бумаги, развернул его и, шевеля губами, стал читать. Изменившись в лице, Петр Егорович побледнел. Руки Ломова начали трястись. Лист бумаги выпал из его рук, опустился на пол и, гонимый сквозняком, порхая, полетел над ступеньками лестницы вниз.

Издав глухой стон, Ломов обхватил руками лицо.

— Ваня… Сын…

Прислонившись к стене, Ломов медленно сполз по ней спиной и сел на пол. Его плечи затряслись от беззвучных рыданий.

* * *

Настенные часы в комнате Ломова показывали второй час ночи. Петр Егорович и Синдяшкин сидели за столом. Оба старались не смотреть друг другу в глаза.

На столе стояли початая бутылка водки и граненые стаканы, лежала нехитрая снедь.

В сторону был отставлен стакан, наполненный до краев и накрытый кусочком ржаного хлеба. Подперев руками голову, Ломов тяжело вздохнул.

— Ты Варе пока не говори… Я ей сам, потом…

Синдяшкин послушно кивнул головой.

— Ладно.

— Месяца не прошло, как проводили… Эх, побывать бы хоть на его могилке.

— В братской, наверно, похоронили.

— Хоть на братской.

Ломов налил в стаканы водку. Не чокаясь, молча выпили. Синдяшкин поставил стакан на стол. Потянулся к закуске. Ломов тоже поставил стакан, но продолжал сжимать его в своих крепких пальцах. Зажмурив глаза, он начал мотать головой из стороны в сторону. Его пальцы сжимали стакан все сильнее и сильнее. Стакан со звоном лопнул.

Ломов открыл глаза и равнодушно посмотрел на правую руку, сжимающую в кулаке осколки стекла. Из кулака на стол стекала кровь.

Синдяшкин с испугом кивнул на струйку крови.

— Егорыч, порезался!

Ломов, словно не слыша его, поднял голову и посмотрел куда-то мимо Синдяшкина.

— Все! Пока не убью хоть одного немца… — Ломов ударил кулаком по столу. — Я спать не смогу! Жить не смогу!

Глаза Ломова загорелись ненавистью.

* * *

На стенах просторной комнаты, расположенной на первом этаже военкомата, висят плакаты военной поры. В углу комнаты высился стальной сейф. Посреди комнаты стоял стол, за которым сидел молодой капитан с эмблемами танкиста в петлицах. В глаза сразу бросались орден Красной Звезды и нашивка за тяжелое ранение на гимнастерке офицера, а также недавно заживший рубец на его щеке.

Перед столом стояли в очереди трое — высокий худой мужчина, красивая девушка лет двадцати с беспокойными глазами и Ломов.

Мужчина протянул капитану бумагу. Тот взял ее и быстро пробежал глазами. Не поднимая глаз, произнес:

— Тебе в эшелон резервного полка. Иди на станцию. Там спросишь у коменданта.

Капитан вернул мужчине бумагу. Тот молча развернулся и вышел из комнаты.

К столу придвинулась девушка. Капитан поднял на нее глаза и раздраженно вздохнул.

— Гусева, ну что ты ходишь сюда каждый день? Я же тебе русским языком сказал: набор на курсы телефонисток закончен. А когда будет следующий — не знаю, — капитан хлопнул себя ладонями по коленям. — Заявление твое у нас лежит, адрес знаем. Понадобишься — вызовем. Свободна!

Обиженно шмыгнув носом, девушка тоже покинула комнату.

К столу приблизился Ломов. Он заметно волновался.

— Прошу направить меня на фронт. Добровольцем.

Капитан смерил Ломова оценивающим взглядом.

— Возраст призывной?

— Конечно. Пятьдесят будет только весной.

Капитан удовлетворенно хмыкнул и кивнул на стул.

— Присаживайся, отец.

Ломов сел.

— Москвич?

— Коренной.

— Работаешь кем?

— Поваром.

— Где?

— В «Метрополе».

Брови капитана удивленно взлетели вверх.

— В том самом?

— Ну да. Другого в Москве, вроде, нет.

Капитан откинулся на спинку стула и хитро прищурился.

— А бронь тебе случайно не положена?

Ломов вздохнул и опустил глаза.

— Дали.

— Тогда — задний ход, машина! Не могу я тебя на фронт.

Капитан придвинулся к Ломову. Несильно ударил себя ребром ладони по шее.

— Знаешь, как меня потом за это?

Ломов тоже придвинулся к офицеру.

— У меня сына убили. Под Волоколамском…

Капитан с сочувствием вздохнул.

— Понимаю… Все равно не могу. Не имею права. — Грустно улыбнулся. — Да и на кой оно тебе? За сына и без тебя отомстят. А ты… В пятьдесят-то лет… — капитан с жалостью поглядел на Ломова. — Пожилой человек. С полной выкладкой — по полям-дорогам… Замудохаешься! — Насмешливо улыбаясь, офицер махнул рукой. — Помрешь еще ненароком на марше. Не дойдя до передовой.

Глаза Ломова налились кровью.

— Чего?!!

Он поднялся со стула, сердито сопя.

— Это кто помрет? Я?!.

Ломов окинул комнату торопливым, ищущим взглядом. Заметив массивный сейф в ее углу, Петр Егорович кивнул на него.

— Сколько в нем весу?

Капитан тоже посмотрел на него.

— В сейфе-то? — он наморщил лоб. — Пудов десять.

Ломов кивнул сначала на сейф, а потом — на окно.

— А если сейчас я сейф твой… выброшу из окна?

Капитан прыснул со смеху.

— Не смеши! Его сюда четверо бойцов волокли. А ты… И от пола не оторвешь.

Ломов оперся на стол капитана руками.

— Ну, а если? — он хитро прищурился. — Оформишь тогда на фронт?

Капитан еще раз оценивающе посмотрел на неподъемный сейф, затем перевел взгляд на окно и ехидно ухмыльнулся.

— Из окна, говоришь?

— Из окна!

Глаза офицера загорелись азартным блеском.

— Хрен с тобой! Давай!

Ломов и капитан ударили по рукам.

Ломов быстро подошел к окну и распахнул его. Капитан закинул ногу на ногу и скрестил на груди руки, наблюдая за происходящим, как за цирковым представлением, и жмурясь от предвкушаемого удовольствия.

Ломов решительно направился к сейфу. Остановился рядом с ним и несколько секунд осматривал стальной ящик, примеряясь. Затем Петр Егорович присел и обхватил сейф руками. Покраснев от натуги, Ломов закричал:

— А-а-а-а-а!

С этим криком он резко встал, оторвав сейф от пола.

Изумленный капитан с округлившимися глазами поднялся из-за стола.

Побагровев от натуги и громко кряхтя, Ломов на подгибающихся ногах делал шаг за шагом к окну.

У офицера отвалилась челюсть.

Оказавшись у окна, Ломов забросил сейф на затрещавший под тяжестью стального ящика подоконник. Еще секунда — и сейф полетел бы в окно. Но капитан подскочил к Ломову и заорал:

— Стой!

В последнее мгновение Ломов успел удержать уже почти перевалившийся через подоконник сейф руками. Капитан, глядя на Ломова восторженными глазами, восхищенно всплеснул руками.

— Ну, отец, ты даешь. Зря я записал тебя в пожилые…

Ломов ухмыльнулся.

— Проспорил ты, капитан!

Капитан утвердительно кивнул.

— Проспорил.

Дверь кабинета распахнулась. В комнату вошел Синдяшкин. Увидев Ломова с сейфом и капитана у подоконника, он замер у порога. Еще больше удивленный появлением друга, Ломов хохотнул.

— О! А ты чего здесь?

— Того. Немец у Москвы. А я пьяным англичанам бифштексы жарю, — Синдяшкин рубанул ладонью воздух. — Хватит! Вместе пойдем воевать.

Ломов расплылся в улыбке.

— Пойдем, Иваныч!

Капитан повернулся к Синдяшкину.

— Тоже из «Метрополя»?

— Ага.

— И тоже с бронью?

— Тоже.

Капитан закатил глаза к потолку и тихонько застонал.

— Ой, отцы… Подведете вы меня под монастырь…

Поколебавшись, он решительно махнул рукой.

— А-ай! Ладно. Мне и самому тут осталось… Я ведь в военкомате временно. После ранения. Через неделю — опять на передовую. А там… Там меня здешнее начальство уже не достанет!

Капитан весело тряхнул головой.

— Давайте свои документы!

Ломов снял руки с сейфа и, бурно выражая благодарность, потряс ими капитана за плечи.

— Спасибо, капитан!

Сейф, качнувшись, потерял равновесие, сполз с подоконника, вывалился из окна и полетел вниз. С грохотом упал на землю.

Ломов и капитан подскочили к подоконнику и увидели сейф, зарывшийся в снег.

Капитан почесал затылок.

— Сейф бы желательно вернуть. На место.

— Не бойся! Щас занесем, — Ломов кивнул на Синдяшкина. — Вон, с Иванычем.

Синдяшкин подошел к окну, тоже посмотрел на лежащий под окном сейф, одарил Ломова злым взглядом и тоскливо вздохнул.

* * *

По заснеженной проселочной дороге маршировала колонна пехотинцев — в шинелях и зимних шапках-ушанках, с винтовками за плечами. Среди них шагали в строю Ломов и Синдяшкин…

…Рота пехотинцев расположилась на привале у опушки леса, недалеко от дороги. Солдаты, рассевшись небольшими кружками, перекусывали, курили, точили лясы.

В одном кругу сидели солдат с гармонью в руках, Ломов, Синдяшкин и еще несколько бойцов. Гармонист наяривал на двухрядке. Ломов весело и громко пел:

Били наши батальоны
Самого Наполеона, —
Ничего нет хитрого,
Что побьем и Гитлера!

Солдаты засмеялись, одобрительно кивая головами.

По дороге ехала, приближаясь к отдыхающим бойцам, полуторка, в кузове которой сидели раненые в сопровождении высокой, стройной, симпатичной медсестры лет тридцати пяти.

Ломов затянул следующую частушку:

Веселей играй, двухрядка,
Заливайся соловьем.
Мы фашисту для порядка
Череп пулею пробьем!

Пока Ломов пел, машина с ранеными поравнялась с отдыхающими бойцами.

Медсестра с любопытством прислушалась к частушке. С интересом посмотрела на Ломова, мастерски выводящего куплет. Улыбнулась. Ломов тоже заметил ее.

Их взгляды встретились.

Ломов закончил петь куплет. Бойцы заржали. Баянист продолжал играть, но Ломов не торопился заводить новый куплет. Вытянув шею, он смотрел на Валентину. Все бойцы следом за Ломовым повернули головы в сторону машины. Заметив медсестру, заулыбались. Баянист прекратил играть.

Машина с ранеными унеслась по дороге вдаль.

Синдяшкин, заметив, *как* Ломов смотрел на медсестру, повернулся к другу и подмигнул ему.

— Что, Егорыч, понравилась?

Ломов, слегка покраснев, смущенно крякнул и отвел взгляд от дороги.

— Красивая…

Синдяшкин вздохнул.

— Хороша Маша, да не наша.

Все бойцы тоже грустно вздохнули. Один из бойцов повернулся к Ломову.

— А ну, Егорыч, спой-ка нам про любовь!

Ломов усмехнулся.

— Про любовь? Это можно.

Гармонист снова заиграл на двухрядке, а Ломов, приосанившись, запел:

Самоходку танк любил,
В лес гулять ее водил.
От такого рОмана
Вся роща переломана!

Бойцы громко засмеялись.

Пока Ломов пел, у обочины дороги остановилась эмка, из которой вылез командир полка подполковник Трошкин. Увидев Трошкина, к нему тут же направился командир остановившейся на привал пехотной роты старший лейтенант Провозин.

Один из бойцов, поморщившись, махнул Ломову рукой.

— Да не про танк с самоходкой! Знаешь, про какую любовь…

Ломов утвердительно кивнул — мол, сейчас. И тут же затянул следующую частушку:

Положила в трусики
Два кольца и бусики.
Хоть бы кто-то подошел,
Поскорее их нашел!

Провозин подлетел к Трошкину. Вытянувшись в струнку, козырнул.

— Товарищ подполковник…

Трошкин махнул рукой.

— Вольно!

Опустив руку, Провозин расслабился. Трошкин кивнул на поющего Ломова:

— Веселый мужик!

Провозин повернулся в сторону Ломова.

— А-а-а… Ломов. Он и частушки поет, и байки любит травить. Да все из жизни. Про один только «Метрополь» уже столько порассказал…

— Про какой «Метрополь»?

— Ресторан, московский. Он работал там, поваром.

Лицо Трошкина радостно расцвело.

— Что ж ты не доложил, что у тебя есть повар? Да еще и из «Метрополя»? Он же нужен нам. Позарез! — Трошкин вздохнул. — Утром упала бомба. Рядом с полковой кухней. Двоих поваров — наповал…

— А у меня их как раз двое, товарищ подполковник! — полуобернувшись, Провозин кивнул на Синдяшкина. — Вон тот, щупленький, — тоже.

— Немедленно отправить обоих в распоряжение моего заместителя по тылу! — приказал Трошкин.

Провозин козырнул.

— Есть!

Трошкин развернулся и направился к своей машине. Эмка тронулась с места. Провозин сделал несколько шагов в сторону бойцов. Остановился и посмотрел на Ломова с Синдяшкиным.

— Ломов!

Ломов оборвал песню на полуслове. Гармонист прекратил играть. Петр Егорович нехотя поднялся.

— Я!

— Синдяшкин!

Синдяшкин тоже встал.

— Я!

Провозин махнул рукой.

— Ко мне!

Ломов и Синдяшкин, переглянувшись, пожали плечами и направились к командиру роты.

* * *

Метрах в десяти от палатки хозчасти стояла передвижная кухня — повозка с огромным баком для пищи. Сразу за передвижной кухней находился разделочный стол, а еще дальше горел костер. Пламя костра лизало висящий над ним большой котел.

Над разделочным столом склонился Синдяшкин. Сбоку от него на земле — коробка с банками тушенки. Синдяшкин открывал банки, Ломов помешивал в котле черпаком. На обоих поварах поверх солдатских шинелей белели фартуки. Синдяшкин ухмыльнулся себе под нос.

— Вот мы и повоевали! Шли на передовую… А попали в тыловой обоз. Видно, такая у нас судьба — всю жизнь торчать на кухне. Даже на войне.

Ломов пожал плечами.

— Ну, судьба так судьба.

Он подошел к столу, взял в руку чайник, пододвинул к себе жестяную солдатскую кружку, налил чаю.

Метрах в двадцати от Ломова, из-за палатки хозчасти, выпорхнули Валентина и медсестра Татьяна, лет на пять моложе Валентины. Обе шли мимо кухни, весело о чем-то болтая. Ломов заметил Валентину, а она увидела Петра Егоровича. Ломов улыбнулся — Валентина тоже.

Синдяшкин наклонился к коробке с тушенкой, лежавшей на земле у ног Ломова, начал ее распаковывать.

Девушки продолжали движение, а Ломов, не отрывая от Валентины глаз, повернулся всем корпусом следом за ними. Струя воды из носика чайника в руке Ломова полилась сначала мимо кружки на стол, а затем прямо на голову склонившегося над коробкой Синдяшкина. Отпрянув в сторону, Синдяшкин распрямился.

Видевшая это Валентина прыснула со смеху. Татьяна удивленно посмотрела на нее, а потом тоже перевела взгляд на поваров.

Синдяшкин, обтирая руками мокрую голову, возмущенно уставился на Ломова.

— Ты что?!

Спохватившись, Ломов поставил чайник на стол.

— Извини.

Синдяшкин обернулся и увидел медсестер. Те, уже не глядя на поваров, уходили от кухни все дальше. Синдяшкин сразу все понял и расплылся в улыбке.

— А-а-а… Это не та, что в машине была? С ранеными?

Ломов молча кивнул. Он продолжал зачарованно смотреть Валентине вслед.

Синдяшкин подошел к Ломову и толкнул его в бок.

— Э! А ты часом не втрескался?

Тот бросил на друга сердитый взгляд.

— Отстань!

Ломов двинулся обратно к костру. Синдяшкин громко рассмеялся…

…Валентина и Татьяна шагали, удаляясь от кухни. Татьяна кивнула в сторону Ломова.

— Знаешь его?

— Видела как-то…

— Мужичок ничего. Только старый он для тебя.

— Ну, какой он старый?

Заулыбавшись, Татьяна приобняла Валентину за талию.

— Что, понравился?

Валентина покраснела.

— Да ну тебя!

…К Ломову, склонившемуся над котлом, подошел Трошкин. Прервав работу, Ломов вытянулся в струнку. Синдяшкин, увидевший командира полка, — тоже. Трошкин махнул рукой.

— Вольно, вольно!

Ломов и Синдяшкин расслабились. Трошкин улыбнулся.

— Слышал, оба работали в «Метрополе»?

— Так точно, — ответил Ломов.

Трошкин восхищенно причмокнул губами.

— Первый ресторан Москвы. Знаменитый. А уж сколько туда захаживало знаменитостей… Многих видели?

— Приходилось.

— Последний раз — кого?

Ломов замялся.

— Графа Шуленбурга. Немецкого посла.

Брови Трошкина удивленно взлетели вверх.

— Во как!

— Кормили за неделю до войны. Чтоб ему…

— Чем кормили-то?

— Его любимым блюдом — зайцем жареным по-берлински.

— Вкусное?

— Хотите, и вам приготовим? — Ломов кивнул в сторону. — Лесок — рядом… Зайцев там полно. Если разрешите — сходим на охоту.

Ломов почесал затылок.

— Днем на охоту времени нет. А ночью…

Трошкин облизнулся.

— Валяйте! Больно уж хочется попробовать!

* * *

Ломов и Синдяшкин с автоматами в руках лежали в кустах на краю большой поляны. Поляна была покрыта ровным слоем снега, залитого лунным светом.

Ломов прошептал:

— Сейчас появятся ушастые… Они тут будут как на ладони.

Большой куст на противоположном краю поляны шевельнулся, и из-за него донесся еле слышный хруст снега. Ломов и Синдяшкин радостно переглянулись. Их глаза загорелись охотничьим блеском. Ломов улыбнулся.

— Вот и первый заяц.

Оба быстро взяли автоматы на изготовку. Из-за куста на поляну вышел… немецкий солдат в белом маскхалате со «шмайсером» в руках.

— Ну, ни хрена себе заяц! — произнес Синдяшкин. — Это ж немец! Смотри — со «шмайсером»!

Следом за первым немецким солдатом на поляну вышел второй, затем — третий, четвертый, пятый… Ломов и Синдяшкин с ужасом переглянулись.

— Откуда они в тылу?! — удивленно протянул Ломов.

На поляну продолжали выходить немецкие солдаты — еще и еще… Когда их оказалось там около двадцати, Ломов, тряхнув головой, вышел из оцепенения и повернулся к Синдяшкину.

— Я останусь здесь. Черт его знает, куда они двинут. Надо проследить… А ты… — Ломов махнул рукой назад. — Быстро лети к нашим. Поднимай по тревоге!

Синдяшкин согласно кивнул головой и начал осторожно отползать назад. Оказавшись метрах в двух от Ломова, Синдяшкин случайно задел ногой сухую ветку. Ветка сломалась с громким треском. Синдяшкин испуганно

замер, вжав голову в плечи. Услышав треск, немцы все как один упали в снег. Они смотрели в ту сторону, где затаились Ломов с Синдяшкиным.

Их старший, обер-лейтенант, махнул двум солдатам, залегшим рядом с ним, рукой вперед: посмотрите, что там. Солдаты поднялись и, пригнувшись, побежали прямо на Ломова.

Ломов понял, что скрывать свое присутствие бессмысленно. Прицелившись, он пустил в сторону немцев длинную очередь. Пули срезали обоих фрицев: они упали в снег.

Остальные немецкие солдаты тут же дали дружный залп по обнаружившему себя Ломову.

Пули крошили кусты, в которых он укрылся, вздымая вокруг повара снег. Ломов всем телом вжался в землю. Развернувшись, Синдяшкин пополз обратно к Ломову. Ломов сердито повернул голову к другу, вновь оказавшемуся рядом.

— Почему вернулся?

— Что наши, глухие? Пальба стоит на всю округу! Сейчас подтянутся!

Оба вели ответный огонь по фрицам — короткими очередями…

* * *

Дверь землянки командира полка распахнулась.

Из нее выскочил на снег полуодетый Трошкин.

К нему подбежал лейтенант Могилевец с повязкой дежурного по штабу на рукаве.

Лейтенант козырнул и махнул рукой в сторону леса, откуда гремели автоматные очереди.

— Товарищ подполковник! Стреляют в лесу, километрах в двух!

— Поднимай комендантский взвод! — крикнул Трошкин.

Лейтенант развернулся и побежал в противоположном направлении.

* * *

Залегшие на противоположном краю поляны немцы, уже разобравшись, что ведут бой всего с двумя солдатами, начали короткими перебежками продвигаться вперед.

Пересекая поляну, они шаг за шагом приближаются к Ломову и Синдяшкину…

…Откатившись в сторону, Ломов дал короткую очередь. Немец, совершавший перебежку, упал. В ответ в сторону Ломова полетел сразу град пуль. Ломов снова откатился в сторону, меняя огневую позицию. Опять послал в сторону немцев очередь. Несколько пуль вспороли снег вокруг него. Одна задела руку. Ломов негромко застонал и схватился за предплечье. Сквозь пальцы сочилась кровь.

Синдяшкин увидел, что Ломов ранен.

— Давай перевяжу!

— Потом! — Ломов кивнул в сторону немцев. — Глянь, как лезут!

Оба вели огонь по фрицам, которые подступали к ним все ближе и ближе.

Упал в снег еще один убитый немецкий солдат. И еще…

…Когда фрицы оказались уже в нескольких метрах от поваров, сзади к Ломову и Синдяшкину подбежали, раскинувшись цепью, около тридцати сол-

дат комендантского взвода во главе с лейтенантом Могилевцом. Обернувшись и увидев их, Ломов и Синдяшкин облегченно вздохнули.

— Наши! — радостно воскликнул Синдяшкин.

Пришедшие на помощь поварам бойцы дали дружный залп по немцам. Дрогнув, те начали отступать. Сраженные выстрелами, фрицы один за другим падали в снег…

…Наши преследовали немецких солдат, рассыпавшихся по лесу и пытавшихся спастись бегством.

— Живьем! Живьем брать фрицев! — крикнул Могилевец.

…Синдяшкин бежал за здоровенным ефрейтором, который был выше повара на две головы. Тот затравленно оглянулся на бегу и… со всего маху налетел на дерево. Ударившись об его ствол, упал на землю.

— О, майн готт! — простонал ефрейтор, роняя в снег автомат и хватаясь за ушибленное лицо.

Синдяшкин подбежал к ефрейтору, лежащему на боку, и со злостью пнул его сапогом по заднице.

— Чего разлегся? Тут те не пляж! Вставай, сволочь!

…Ломов преследовал обер-лейтенанта, несущегося среди деревьев. Обер-лейтенант, обернувшись, вскинул «шмайсер» и нажал на спусковой крючок. Вместо выстрела он услышал лишь предательское клацанье металла. Выругавшись, немецкий офицер со злостью швырнул автомат на землю и побежал дальше. Раскрасневшийся от быстрого бега Ломов начал отставать от немца. Расстояние между ним и обер-лейтенантом увеличивалось с каждым шагом…

Размахнувшись, Ломов что есть силы швырнул в немца свой автомат. ППШ со свистом разрезал воздух и ударил обер-лейтенанта по затылку. Охнув, тот рухнул в снег. Ломов подбежал к нему. Пошатываясь, обер-лейтенант поднялся на ноги. Глядя мутными глазами на Ломова, застывшего напротив него в боксерской стойке, обер-лейтенант тоже встал в боксерскую стойку. Сделав неуверенный шаг навстречу Ломову, немецкий офицер попытался ударить его кулаком в голову. Ломов ловко увернулся, и кулак немца пролетел мимо. Крякнув, Ломов нанес ответный удар и впечатал свой кулак в лицо обер-лейтенанта. Немец дернул головой и, закатив глаза, упал на землю.

Потерявший сознание обер-лейтенант лежал на спине, широко раскинув руки. Ломов стоял над ним, победно улыбаясь.

* * *

Допрос проходил в штабном блиндаже командира полка.

Трошкин сидел за столом, на котором лежали стопка бумаги и несколько ручек.

Перед Трошкиным, метрах в двух от стола, устроился на табурете, опустив голову, взятый в плен обер-лейтенант. Сбоку от Трошкина замер переводчик — совсем молоденький младший лейтенант. Могилевец с автоматом в руках стоял за спиной обер-лейтенанта.

Вскинув голову, Трошкин посмотрел на немца в упор.

— Имя, фамилия, должность!

— Ире наме, форнаме унд беруф! — бросил переводчик обер-лейтенанту.

Обер-лейтенант поднял голову. С трудом шевеля разбитыми губами, произнес что-то нечленораздельное. Переводчик растерянно захлопал глазами и наморщил лоб.

— Товарищ подполковник, я не разобрал…

Трошкин повернулся к переводчику.

— Как это — не разобрал? Ты что, языка не знаешь?

Переводчик обиженно шмыгнул носом.

— Почему не знаю? У меня два курса иняза. Он так говорит… Будто у него нет зубов.

Могилевец прыснул со смеху.

— Товарищ подполковник, у него их и правда нет! Ему Ломов все передние зубы выбил. В лесу.

Брови Трошкина удивленно взлетели вверх. Он с любопытством уставился на немца.

— А ну улыбнись!

— Лахэн зи биттэ! — перевел младший лейтенант.

Обер-лейтенант тоже удивленно вскинул брови. Недоуменно посмотрел на переводчика.

Переводчик настойчиво повторил:

— Лахэн зи биттэ!

Обер-лейтенант глупо улыбнулся, не размыкая губ.

— Рот пусть откроет! — выпалил Трошкин.

— Лахэн унд офнэн зи мунд! — бросил переводчик немцу.

Сообразив, наконец, зачем командиру полка нужна его улыбка, обер-лейтенант улыбнулся, широко раскрыв рот, в котором начисто отсутствовали все передние зубы.

Трошкин засмеялся.

— Вот блин! Че ж сразу-то не сказал? — спросил он у Могилевца.

Могилевец пожал плечами.

— Виноват. Забыл.

Трошкин, продолжая тихонько смеяться, пододвинул к обер-лейтенанту лист бумаги и положил на лист ручку.

— Ладно… Пусть садится к столу. Будет отвечать на мои вопросы в письменном виде!

* * *

В палатке медсанроты Ломов сидит на табурете в брюках и майке.

Устроившись рядом с ним на другом табурете, Валентина накладывает повязку на его задетую пулей левую руку.

С нежностью глядя на медсестру, Ломов блаженно улыбается. Время от времени переводя взгляд с повязки на повара, Валентина тоже не может удержаться от улыбки:

— Повезло: пуля прошла навылет. Кость не задета.

Ломов махнул здоровой рукой.

— Заживет! Как на собаке.

Закончив накладывать повязку, Валентина удовлетворенно хмыкнула.

— Вот и все.

Ломов не торопится уходить.

— Хорошо, что левую… Правой — я и одной работать смогу, — он потряс в воздухе здоровой рукой. — Она у меня — ого-го! Помню, как-то поспорил с сыном… — осекшись на полуслове, Ломов помрачнел и тяжело вздохнул.

— Сын, наверное, уже взрослый? — спросила Валентина

Помрачнев еще больше, Ломов опустил голову.

— Двадцать лет ему было.

— Было?

— Погиб… Под Волоколамском.

Валентина сочувственно посмотрела на Ломова.

— Один я остался. Как перст, — продолжал Ломов. — Жену тоже похоронил. В сороковом. Сердце…

Он снова вздохнул. Валентина грустно покачала головой.

— А у меня мужа убили под Смоленском. В августе сорок первого… Вместе с похоронкой письмо пришло — от друга. Друг все видел, своими глазами… Так что и я теперь одна.

Ломов тоже посмотрел на Валентину с сочувствием.

— Вот как… А детки? Деток у вас разве не было?

— Не успели. Мы прожили всего три года.

Ломов грустно покачал головой.

— Значит, мы оба…

Валентина согласно кивнула. Тряхнув головой, словно отгоняя грустные воспоминания, Валентина снова улыбнулась.

— Вы до войны… Тоже работали поваром?

— Да. В «Метрополе».

Брови Валентины изумленно взлетели вверх.

— Знаменитый ресторан.

— Бывали в нем?

Валентина отрицательно помотала головой.

— Я и в Москве-то была всего раз — перед самой отправкой на фронт, на формировании… Я из Иркутска.

— Да… Далековато от Москвы.

— Зато места у нас красивые. Байкал…

В палатку вошел, неслышно ступая по полу валенками, командир медсанроты капитан Орехов. Он остановился недалеко от порога. Ломов и Валентина не заметили его появления.

— Байкал — это да, — восхищенно произнес Ломов. — Я уху варил — из байкальского омуля.

Валентина согласно кивнула. В ее глазах появилась грусть.

— Вкусная. И из омуля, и из окуня… Я любую уху люблю, — медсестра вздохнула. — Только уже и не помню, когда ее ела.

Ломов радостно встрепенулся.

— Хотите, сварю?

Орехов, который все это время внимательно слушал их разговор, нахмурился и ревниво сверкнул глазами. Громко кашлянул. Ломов и Валентина, вздрогнув, повернули головы в его сторону.

— Хватит лясы точить, солдат! — сердито бросил Орехов Ломову. — Знаешь, сколько у нее еще дел? — капитан кивнул на руку повара. — Ранение — легкое. В лазарет с таким не кладем. Так что давай одевайся — и марш в свою роту!

Ломов встал с табурета, улыбнулся.

— Мне не в роту, товарищ капитан. Я повар.

— Ну, значит, на кухню!

…Ломов шагал в сторону кухни. Вдали гремела артиллерийская канонада...

…Валентина сидела за столом, заполняя медицинскую карту. Орехов стоял сбоку от Валентины, опершись на стол, улыбаясь и с нежностью глядя на нее.

— С ранеными разговариваешь… А со мной?

Валентина подняла голову.

— О чем будем разговаривать, товарищ капитан? — с иронией произнесла медсестра.

— Неужели не найдем? — сказал Орехов, становясь серьезным. — Ты, наверное, думаешь, что и мне… надо только то, что другим… Которые вокруг тебя вьются.

Волнуясь, Орехов приблизил свое лицо к лицу Валентины. Его глаза горели.

— Я же тебя люблю!

Он попытался погладить Валентину по волосам, но она отдернула голову в сторону, недобро сузив глаза.

— Не надо, товарищ капитан.

Орехов помрачнел и тяжело вздохнул.

* * *

Трошкин стоял посреди своего штабного блиндажа. Напротив него замерли, вытянувшись в струнку, Ломов и Синдяшкин. Глядя на поваров, Трошкин восхищенно улыбнулся.

— Ну, мужики… — Трошкин похлопал обоих поваров по плечам. — Молодцы! Сорвали наступление немцев!

Ломов и Синдяшкин удивленно слушали его.

— Вы обнаружили в лесу группу десантников, заброшенных в наш тыл с задачей уничтожить штаб полка. Перед наступлением, которое фрицы планировали на рассвете… Понятно?

Синдяшкин и Ломов кивнули.

— Командир диверсионной группы… — Трошкин посмотрел на Ломова, — которому ты выбил зубы… сказал на допросе, когда оно начинается. И артиллеристы нанесли по немецким позициям упреждающий огневой удар.

Трошкин довольно засмеялся.

— Не решились фрицы после этого наступать. Дырку они получили от бублика! В общем, я… Представил вас обоих к орденам Славы. Каждый бы раз вы так охотились!

Ломов и Синдяшкин довольно переглянулись. Ломов продолжил:

— Да, пошли за косыми, а нарвались… — спохватившись, он торопливо добавил: — А за зайцами мы еще сходим, товарищ подполковник. Я же вам обещал…

— Да хрен с ними, с зайцами! — Трошкин кивнул на раненую руку Ломова. — Какая тебе сейчас охота! Поправляйся. Вот дойдем до Берлина — там и приготовишь мне зайца по-берлински. Договорились?

Широко улыбаясь, Ломов утвердительно кивнул.

— Договорились.

* * *

В пятом часу утра Синдяшкин проснулся. Он разлепил глаза и удивленно уставился на пустой топчан, находившийся напротив него. Перевел взгляд на подпорку крыши солдатской землянки. На подпорке висели на вбитых гвоздях несколько солдатских шинелей.

— Хм… И шинели Егорыча нет, — протянул он себе под нос.

Синдяшкин достал из-под подушки старые карманные часы и посмотрел на циферблат.

— Куда он поперся в такую рань?

Пожав плечами, Синдяшкин зевнул и снова улегся спать.

* * *

Посреди покрытой льдом речки, у небольшой лунки, сидел на перевернутом фанерном ящике Ломов с самодельной удочкой в руках. В ведерке, стоящем рядом с ним, плескалось несколько рыбешек.

Не выспавшийся, он поклевывал носом, глаза закрывались, руки опустились на колени, наконец голова упала на грудь и Ломов тихонько захрапел. Он медленно повалился на бок и рухнул на лед, опрокинув ведерко с уловом. Рыбешки вместе с выплеснувшейся из ведра водой оказались на льду недалеко от лунки. Они вот-вот могли оказаться опять в реке…

Ломов проснулся, охнул, упал на колени и начал собирать рыбешек. Одну за другой он водворял их в ведро…

Последняя рыбешка трепыхалась у самой лунки.

— Куда ж ты, зараза? — закричал Ломов, героически шлепнулся на живот и, вытянув руку, умудрился схватить ее.

Радуясь, как ребенок, он поднес зажатую в кулаке рыбешку к самому носу. Посмотрел ей в глазки и ухмыльнулся:

— Не отпущу! Ты мне для ухи нужна.

* * *

Заспанный Синдяшкин разжигал костер, над которым висел котел.

К полковой кухне подошел Ломов с удочкой и ведерком в руках.

Заслышав шаги друга, Синдяшкин обернулся, увидел Ломова и удивленно хмыкнул.

— На рыбалку ходил?

— Ага, — Ломов потряс ведерком. — Наловил немного. На уху.

Он подошел к разделочному столу, поставил ведерко. Сидяшкин снова хмыкнул.

— Ты ж ее сроду не ел. Сколько тебя помню…

Ломов, не реагируя на его слова, занимался своим делом. В глазах Синдяшкина мелькнула догадка.

— Знаю, кого ты решил попотчевать…

* * *

Синдяшкин стоял у палатки хозчасти с надорванным конвертом в одной руке и письмом в другой. Шевеля губами, читал его. Улыбался.

Ломов нетерпеливо переминался с ноги на ногу рядом с другом и ждал, когда Синдяшкин расскажет ему о содержании письма.

Синдяшкин вздохнул. Глаза его были грустными.

— Варя уже не в Москве… Попросилась на фронт. Сразу за нами… Направили сестрой, в медсанбат.

Ломов тоже изменился в лице.

— Вот, значит, как…

— Ночами теперь спать не буду, — сказал Синдяшкин и опустил голову.

Ломов, подбадривая друга, потрепал его по плечу.

— Да ладно, Иваныч. Медсанбат — не передовая.

* * *

Распахнув шкафчик с медикаментами, Валентина перебирала их в поисках нужного.

В палатку медсанроты зашел Ломов, под шинелью у него топорщилось что-то очень объемистое. Ломов придерживал это «что-то» рукой. Заслышав его шаги, Валентина повернулась к Ломову и радостно улыбнулась.

— Здравствуйте! На перевязку?

Ломов отрицательно помотал головой.

— На перевязку мне завтра.

Он полез за пазуху и осторожно извлек завернутый в тряпицу солдатский котелок с крышкой. Валентина удивленно наблюдала за ним.

— Вот, завернул, чтобы не остыла.

— Что это? — спросила Валентина.

— Уха!

Валентина всплеснула руками.

— Правда?

— Ну, вы же сказали, что любите… Я и сварил.

Ломов подошел к столу, аккуратно поставил на стол котелок и снял крышку.

Валентина тоже подошла к столу. Она с восторгом смотрела на янтарную уху в котелке, от которой шел парок. Наклонившись, вдыхала ее полузабытый запах. Ломов достал завернутые в чистые салфетки ложку и несколько кусочков хлеба. Развернув, положил на стол.

— Можете кушать.

— Ой, здесь нельзя. Хотя… — Валентина махнула рукой. — Когда много работы, нам разрешают.

Валентина уселась за стол и взглянула на Ломова, который нерешительно топтался рядом.

— А вы? Давайте тоже!

— Не, я пойду.

— Давайте, давайте! — Валентина кивнула на вешалку: — Снимайте шинель!

…К палатке медсанроты приближался Орехов. Отряхнув валенки от снега, он зашел внутрь…

…Ломов и Валентина сидели за столом друг против друга. Ломов — спиной к выходу из палатки. Весело переговариваясь, они ели уху из одного котелка.

На пороге вырос Орехов. Увидев Ломова, он ревниво и возмущенно передернул плечами.

— Опять этот повар!

Валентина подняла голову и посмотрела на Орехова с досадой, как на непрошеного гостя.

Орехов подошел к столу. Ломов положил ложку рядом с котелком и неторопливо поднялся. Повернулся к Орехову лицом.

На гимнастерке Ломова Орехов увидел орден Славы 3-й степени. Капитан изумленно вскинул брови.

— С каких это пор на кухне стали давать ордена?

Ломов, едва сдерживая улыбку, пожал плечами.

— Случается, товарищ капитан.

Орехов перевел взгляд на стол.

— А это что?

— Уха. Валентина любит. Вот я и решил…

— Понятно… — Орехов смерил Ломова высокомерным взглядом. — Ты уху *принес*?

— Принес.

— Ну так вали обратно — на кухню!

— Есть!

Ломов направился к вешалке за своей шинелью. Валентина с сочувствием посмотрела на него, потом — на Орехова, но уже с холодным укором…

…Удаляясь от палатки медсанроты, Ломов шагал в сторону кухни…

…Валентина сидела за столом и молча доедала уху. Орехов расположился на табурете напротив — там, где раньше сидел Ломов. Капитан с нежностью смотрел на Валентину, но она старательно отводила глаза.

— Дурак этот повар, — Орехов кивнул на уху. — Разве путь к сердцу женщины лежит через *это*?

Валентина вскинула голову и посмотрела на Орехова с обидой.

— Да откуда вам знать, через что он лежит?

Опустив глаза, Орехов грустно вздохнул.

* * *

Ломов и Синдяшкин стояли у костра, готовясь снимать висящий над ним котел. Совсем близко гремела артиллерийская канонада.

Из-за палатки хозчасти вынырнул лейтенант Могилевец. Он быстро шагал к поварам. Приближаясь к ним, Могилевец крикнул на ходу.

— Фрицы накрыли кухню второго батальона!

Повара повернулись к лейтенанту. Могилевец остановился рядом с костром и со злостью махнул рукой.

— Только повара собрались раздать по ротам обед, а тут — артобстрел… И самих поубивало, и бойцов, которых прислали за пищей.

Ломов и Синдяшкин сочувственно покачали головами.

— Зампотыл приказал доставить обед на передний край из нашей кухни, — оправдываясь, Могилевец развел руками. — У меня людей нет… Так что придется вам самим, мужики.

Ломов и Синдяшкин переглянулись. Ломов решительно рубанул ладонью воздух.

— Самим так самим. Голодными бойцов не оставим!

* * *

Немецкие снаряды рвались совсем рядом с нашими окопами — то перед ними, то позади.

На командном пункте, накрытом маскировочной сетью, находились командир роты капитан Реутов и старшина роты старший сержант Панин. Оба вели огонь по наступающим немцам. От командного пункта роты в разные стороны тянулись окопы взводов. Бойцы в окопах тоже стреляли по фрицам, которые находились в 100—150 метрах от наших позиций. Наступающие немецкие пехотинцы жались к танкам, которые время от времени гулко стреляли из башенных орудий.

По «тиграм» била советская артиллерия.

Вот снаряд разорвался рядом с одним немецким танком, сорвав с него гусеницу. Вот загорелся другой «тигр»…

…Ломов и Синдяшкин в белых маскхалатах ползли к командному пункту роты с тыла, волоча за собой баки с пищей. Оба были без оружия. На боку у каждого повара болталась объемистая фляжка…

…Ломов и Синдяшкин подобрались к окопу командного пункта и запрыгнули в него вместе с баками. Панин обернулся, увидел поваров и радостно заулыбался.

— О! Вот и обед! Спасибо, кормильцы!

Реутов тоже обернулся и улыбнулся.

— Хорошо! А то у бойцов уже животы подтянуло, — он кивнул вперед. — Отобьем атаку — и сразу заправимся.

— Наркомовские сто грамм не забыли? — спросил Панин.

Ломов хлопнул по фляжке на боку.

— Водка кончилась. Но спиртяга есть!

Панин весело махнул рукой.

— Пойдет и спиртяга! За милую душу!

Реутов и Панин снова повернулись в сторону наступающих фрицев. Начали стрелять по ним из автоматов — короткими очередями, экономя патроны.

…К нашим окопам приближался единственный не подбитый артиллеристами «тигр», к которому жались пятеро немецких пехотинцев. Реутов и Панин дали по ним несколько очередей. Убитые немцы упали в снег, но танк продолжал угрожающе надвигаться на командный пункт роты. «Тигр» находился уже метрах в 60—80 от него.

Реутов повернулся к Панину.

— Черт! У нас же ни одной гранаты!

— Да… — растерянно протянул Панин. — Если не помогут артиллеристы… Плохо дело.

…«Тигр» надвигался на командный пункт. До него было не больше полусотни метров. Реутов, Панин, Ломов и Синдяшкин смотрели на стальную махину с бессильной злобой.

Глаза Ломова загорелись. Он повернулся к Синдяшкину. Наклонившись к самому уху друга, махнул в сторону танка рукой и что-то зашептал. Выслушав Ломова, Синдяшкин согласно кивнул головой.

Два безоружных повара ловко выпрыгнули из окопа и, вжимаясь в снег, поползли навстречу немецкому «тигру». Увидевший это командир роты на несколько секунд опешил, а когда пришел в себя, сердито закричал:

— Куда?! С голыми руками на танк? Сдурели, что ли?

Реутов и Панин, вытянув шеи, смотрели на поваров как на сумасшедших.

…Ломов и Синдяшкин быстро ползли навстречу стальной махине, обходя ее сбоку…

…Вот они поравнялись с танком, который двигался всего в нескольких метрах от них.

Вот оказались уже за «тигром»…

…Ломов и Синдяшкин сорвали с себя фляжки, быстро открутили их колпачки, вскочили и, пригнувшись, подбежали к танку сзади. Оба засеменили трусцой следом за «тигром», дружно поливая из фляжек спиртом его моторный отсек…

…Уже сообразив, что делают повара, Реутов повернулся к Панину. Восторженно улыбаясь, махнул в сторону Ломова и Синдяшкина рукой:

— Глянь! Глянь, что творят!

…Когда они вылили в моторный отсек «тигра» весь спирт из фляжек, Ломов чиркнул спичкой. Моторный отсек танка вспыхнул. Ломов и Синдяшкин отпрыгнули в сторону, упали в снег и отползли подальше…

…Проехав еще немного, горящий танк остановился в нескольких метрах от наших окопов. Башенный люк «тигра» распахнулся, из него, спасаясь, начали выпрыгивать немецкие танкисты. Наши уничтожали их меткими выстрелами одного за другим, и вскоре все члены экипажа «тигра», раскинув руки, валялись на снегу…

…Ломов и Синдяшкин лежали недалеко от пылающего «тигра», глядя на него и торжествующе улыбаясь…

…Реутов вскинул руку вверх.

— В атаку! Вперед!

Реутов и Панин первыми выпрыгнули из окопа командного пункта. Следом за ними из своих окопов начали выпрыгивать бойцы. С громким «ура!» они бежали по заснеженному полю цепью, стреляя из автоматов…

…Когда цепь атакующих приблизилась к Ломову и Синдяшкину, повара тоже вскочили с земли, подбежали к убитым немецким пехотинцам, подхватили лежащие рядом с фрицами «шмайсеры» и влились в цепь бойцов. Вместе с ними повара неслись по заснеженному полю к немецким окопам, стреляя на ходу…

* * *

Посреди блиндажа командира полка стояли Ломов с перевязанной головой и Синдяшкин с ссадиной на скуле. Подполковник Трошкин смотрел на поваров с гордостью и восхищением.

— Первый раз у меня повара ходят в атаку, — смеялся он. — А уж как спалили немецкий «тигр»… — Это ж надо! — подполковник опрокинул в воздухе воображаемую фляжку. — Спиртом! Из фляжек! Теперь я знаю: вы не только зайцев умеете жарить. Но и «тигров»!

Ломов и Синдяшкин улыбнулись его шутке.

— Спасибо, мужики. Нам эта контратака, — командир полка провел ладонью по горлу, — во как была нужна. Полк сегодня продвинулся еще на пять километров.

Трошкин обвел поваров взглядом.

— Буду представлять обоих к орденам Славы. Второй степени, — он кивнул на их гимнастерки. — Третья-то у вас уже есть.

Повара довольно улыбались.

* * *

Ломов и Синдяшкин сидели на перевернутых ящиках недалеко от разделочного стола, чистили картошку. Синдяшкин первым увидел Валентину, которая, вынырнув из-за палатки хозчасти, направилась к поварам. Кивнув в сторону медсестры, Синдяшкин ухмыльнулся и вполголоса протянул:

— Твоя!

Ломов поднял голову, увидел Валентину, заулыбался и торопливо вскочил. Валентина подошла к поварам.

— Здравствуйте, — она тоже улыбнулась.

— Здравствуйте! — почти хором ответили повара.

Валентина посмотрела на Ломова и притворно нахмурила брови.

— Петр Егорыч, почему не пришли вчера на перевязку?

Ломов виновато вздохнул.

— Приходил я… Но как увидел у палатки капитана Орехова… сразу дал задний ход. Не хочу лишний раз с ним встречаться. Больно уж он у вас сердитый.

При упоминании Орехова Валентина вздохнула.

— У вас — ранение. Перевязывать необходимо, а вы… Из-за этого Орехова… — не договорив, она раздраженно махнула рукой.

— Может, вам еще чего приготовить? Вкусненького? — ласково протянул Ломов.

— Не нужно. Приходите на перевязку и просто… — Валентина заглянула в глаза Ломову с надеждой. — Сегодня придете?

Глаза Ломова загорелись радостным блеском.

— Обязательно!

* * *

Из-за двери штабного блиндажа доносился орудийный гром.

Облокотившись на стол, Трошкин прижимал к уху трубку полевого телефона. Лицо подполковника было перекошено от досады и злости.

— Что? Отступать? Аж за Павловку?! — Трошкин тяжело вздохнул. — Есть.

Он гневно швырнул трубку на аппарат.

* * *

Ломов и Синдяшкин возились у костра.

Недалеко от передвижной кухни с огромным баком для пищи стояла привязанная к дереву лошадь. В воздухе — совсем близко — гремела артиллерийская канонада.

К поварам подбежал запыхавшийся лейтенант Могилевец, на котором не было лица.

— Немцы прорвали фронт! Сразу в двух местах… Чтобы полк не попал в окружение, приказано отступать, — Могилевец махнул рукой. — Быстро собирайте манатки!

Лейтенант убежал.

Ломов бросился к передвижной кухне, Синдяшкин — к лошади. Ломов торопливо укладывал на бак какие-то мешки. Синдяшкин отвязывал лошадь от дерева, путаясь в узлах веревки.

— Шевелись, Иваныч! — бросил Ломов Синдяшкину.

Синдяшкин выхватил из кармана нож и обрезал веревку.

* * *

По лесной дороге тянулся тыловой обоз. Его замыкала передвижная кухня, на облучке которой сидели Ломов и Синдяшкин с автоматами за спинами.

Ломов держал в руках вожжи, погоняя лошадь, тянувшую передвижную кухню.

В воздухе со всех сторон гремели орудийные выстрелы и взрывы бомб…

…На очередном ухабе у передвижной кухни отвалилось и покатилось в сторону колесо. Кухня резко накренилась, а Ломов и Синдяшкин кувырком полетели на землю. Ломов упал прямо на Синдяшкина, грузно навалившись на него своим огромным телом. Синдяшкин жалобно и протяжно застонал.

— Егорыч, слезай! Раздавишь же!

— Да что твоим костям будет! — бросил, поднимаясь, Ломов.

Синдяшкин тоже встал, кряхтя и почесывая бока. Ломов побежал к колесу, закатившемуся в кусты. Синдяшкин заковылял к кухне…

…Тыловой обоз полка исчез за деревьями…

…Ломов и Синдяшкин закончили прилаживать колесо и встали.

Оба посмотрели туда, где дорога терялась среди деревьев: хвоста обоза не было видно.

Ломов махнул рукой.

— Поехали! Быстро!

Повара вскочили на облучок кухни.

— Отстали мы… — невесело протянул Синдяшкин.

— Ничего, догоним! — Ломов натянул вожжи. — Н-но!

Лошадь тронулась с места…

Орудийные выстрелы и разрывы бомб гремели где-то далеко впереди. Синдяшкин кивнул головой вперед.

— Далеко уже наши. Ох, попадем мы с тобой в окружение…

— Да не каркай ты!

…Вскоре лес начал редеть. Услышав сбоку рев мотоциклов, Ломов и Синдяшкин посмотрели в ту сторону, откуда он раздался. Тревожно переглянулись.

Ломов остановил лошадь. Повара соскочили на землю.

— Пошли поглядим!

Пригнувшись и сжимая в руках автоматы, повара пробирались среди деревьев. Рев мотоциклов становился все громче и громче. Повара приближались к опушке леса…

Вскоре они увидели, как по грунтовой дороге, идущей вдоль опушки, мчались мотоциклы с немецкими солдатами. Ломов и Синдяшкин, не сговариваясь, упали на землю. Ломов повернул к Синдяшкину голову.

— Накаркал!

— Да я-то тут при чем?

Ломов почесал затылок.

— Будем пробиваться к своим, — он оглянулся назад. — Двигаться к линии фронта по той же дороге.

— Может, кухню бросить? — предложил Синдяшкин. — Пехом сподручнее. А с ней — засекут нас фрицы, как пить дать.

Ломов сердито посмотрел на Синдяшкина.

— Я те брошу! Имущество надо сберечь.

* * *

Передвижная кухня двигалась по той же проселочной лесной дороге.

Ломов и Синдяшкин услышали впереди шум мотоциклов.

— Прятаться надо! — испуганно прошептал Синдяшкин.

Ломов направил лошадь в лес. Передвижная кухня съехала с дороги. Но углубиться в лес повара не успели.

На дороге появились два мотоцикла с четырьмя немцами. У троих были автоматы, а у солдата на втором мотоцикле — пулемет. В люльке переднего мотоцикла сидел уже немолодой фельдфебель. Фельдфебель и Ломов с Синдяшкиным заметили друг друга одновременно. Фельдфебель крикнул что-то солдату за рулем, толкнул его в бок и, вскинув автомат, навел его на поваров. Ломов и Синдяшкин спрыгнули на землю. Фельдфебель дал по поварам очередь с мотоцикла, который начал тормозить, но еще не успел остановиться. Ломов и Синдяшкин ответили дружным залпом. Пуля попала в голову солдата за рулем переднего мотоцикла, и убитый немец уронил ее на руль: мотоцикл съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Придавленный мотоциклом фельдфебель, автомат которого улетел далеко в сторону, истошно закричал от боли. Немцы на втором мотоцикле тоже начали стрелять по Ломову и Синдяшкину.

Повара дали по ним несколько очередей, убив обоих. Второй мотоцикл, проехав еще немного, также съехал с дороги, уперся в дерево и заглох.

В наступившей тишине были слышны лишь жалобные стоны и причитания придавленного мотоциклом фельдфебеля.

Ломов и Синдяшкин стали осторожно приближаться к дороге. Фельдфебель перестал стонать и ругаться. Он с ужасом смотрел на приближающихся поваров.

Ломов и Синдяшкин подошли к нему. Синдяшкин, кивая на немца, навел на него автомат.

— Ну че, добьем?

Фельдфебель, понявший его намерения, был близок к обмороку.

— Зачем? — возразил Ломов. — Доставим к нашим. Им «язык» не помешает.

— Самим бы пробиться… — вздохнул Синдяшкин. — А с этим… Обуза!

Ломов хитро усмехнулся.

— Не будет он нам обузой!

Ломов окинул взглядом валявшихся на дороге фрицев, шинели которых были пробиты пулями.

— Шинелишки мы, конечно, продырявили… Но ничего! Сойдут.

…Передвижная кухня двигалась по лесной дороге дальше. Ломов и Синдяшкин сидели на облучке, одетые в немецкие шинели, с касками на головах. Толстому Ломову шинель была очень мала и, когда он ее надевал, порвалась под мышками. Рядом с поварами лежал захваченный у немцев пулемет. Фельдфебеля с поварами не было.

Неожиданно впереди прогремел пистолетный выстрел. Пуля чиркнула по баку для пищи в нескольких сантиметрах от Ломова. Ломов и Синдяшкин спрыгнули на землю и залегли.

Лошадь остановилась.

Прогремел еще один выстрел — и пуля вспорола снег рядом с Ломовым. Ломов заметил стрелявшего в него человека, который прятался за деревом недалеко от дороги. Петр Егорович повернулся к Синдяшкину, который уже вскинул автомат и собрался стрелять в ответ. Сделал другу знак рукой: погоди.

— Чё ждать-то? — прошептал Синдяшкин. — Пока он нас грохнет?

— Да не немец это, раз по немцам стрелял. Наверное, наш. Тоже попал в окружение…

Ломов повернул голову в сторону стрелявшего.

— Эй, за деревом! Слышь! Мы не фрицы!

— А кто? — донеслось оттуда.

— Из сорок второго полка.

— Сорок второго?

Глаза Ломова оживились.

— Где-то я уже этот голос слышал. Неужели?..

Ломов приподнялся.

— Товарищ капитан, это вы? Орехов?

— Ну, Орехов, — ответил голос уже спокойно и даже радостно. — А вы кто?

— Повара, из полковой кухни! Вы меня должны помнить — Ломов моя фамилия!

Ломов осторожно поднялся, стягивая с себя каску. Из-за дерева — не менее осторожно — выглянул Орехов. Увидев Орехова, Ломов широко заулыбался. На лице Орехова тоже расцвела улыбка…

…Орехов лежал на баке передвижной кухни. Одна нога капитана была перебинтована.

Перевернувшись на бок, он жадно ел тушенку прямо из банки. Ломов и Синдяшкин стояли рядом с ним, глядя на Орехова с жалостью. Утолив первый голод, Орехов вскинул голову и посмотрел на поваров глазами, полными благодарности.

— Слава богу, что встретил вас. Думал, уже все! Хана! С простреленной-то ногой… Машина моя от колонны отстала. Заглох движок, — Орехов махнул рукой. — А тут — немецкие танки. Мы с водителем — в лес. Он добежать не успел… А меня подстрелили уже среди первых деревьев. Дальше — полз… Преследовать фрицы не стали — видно, торопились. Подумали — сдохну сам.

Капитан горько усмехнулся.

По лицу Ломова было видно, что он волнуется.

— А остальные? Больше из ваших никто не мог… в окружение?

Капитан посмотрел на Ломова.

— Не должны, — Орехов понимающе улыбнулся. — За Валентину не беспокойся. Мы ее с ранеными отправили в тыл раньше всех — первой машиной.

Ломов облегченно вздохнул. Он подошел к облучку передвижной кухни, взял еще одну немецкую шинель, вернулся и протянул ее Орехову.

— Вам бы тоже переодеться. Если не возражаете. Мало ли…

Орехов пожал плечами.

— Чего возражать? На войне как на войне.

* * *

Из-за деревьев на опушку леса выскользнули Ломов и Синдяшкин. Залегли.

Артиллерийская канонада грохотала совсем рядом.

Повара, приподнявшись, смотрели вперед — туда, откуда доносился орудийный гром. Ломов махнул рукой: пошли дальше! Повара встали и начали короткими перебежками продвигаться вперед.

* * *

Передвижная кухня стояла в лесу. На баке кухни лежал с пулеметом в руках Орехов.

Он смотрел на Ломова и Синдяшкина, которые появились вдалеке. Пробираясь среди деревьев, повара возвращались к кухне…

…Ломов и Синдяшкин подошли к Орехову.

— Вы, товарищ капитан, здесь старший по званию. Поэтому как скажете, так и будет. Но у нас предложение такое… — Ломов махнул рукой в ту сторону, откуда пришли повара. — Передний край фрицев — недалеко. И место, где можно его проскочить, мы нашли — проход на стыке немецких окопов.

— Пока будем добираться до переднего края, немцы к нам цепляться не должны, — вступил в разговор Синдяшкин. — Кухни у фрицев похожи на наши. И форма на нас немецкая.

— Ну, а когда доберемся до передовой… — Ломов стегнул рукой воображаемую лошадь, — поскачем во весь опор — через поле, к нашим окопам. Пока фрицы очухаются… До наших будет рукой подать.

Синдяшкин улыбнулся.

— Прорвемся, товарищ капитан!

Орехов тоже улыбнулся.

— Что ж… План хороший.

* * *

Передвижная кухня выехала из балки у самого переднего края немецкой обороны и двинулась к проходу на стыке немецких окопов, которые тянулись слева и справа. До окопов было не больше тридцати шагов. За ними начиналось поле, на противоположном краю которого — метрах в трехстах — уже виднелись советские окопы.

Ломов и Синдяшкин, спрятав автоматы под тряпьем в ногах, сидели на облучке. Орехов лежал на баке для пищи, накрыв пулемет своим телом.

Немцы в окопах заметили поваров. Решив, что они привезли обед, начали громко приветствовать их — скалить зубы и кричать, зазывая к себе. Фрицы громко стучали ложками по пустым котелкам. Ломов, Синдяшкин и Орехов махали немецким солдатам руками и улыбались.

Ломов стегнул лошадь. Она ускорила ход. Перешла на бег. Передвижная кухня, миновав передний край немцев, выехала в поле и помчалась к советским окопам.

Немцы, среди которых был долговязый сержант, смотрели на поваров как на сумасшедших, крутили пальцами у висков. Сержант крикнул:

— Вохин гейн зи? Дорт зинд руссише! (Куда вы? Там же русские!)

Лошадь, которую стегал Ломов, мчалась во весь опор. Передвижная кухня, подпрыгивая на ухабах, летела к нашим окопам.

Когда она преодолела почти половину расстояния до них, немцы, наконец, сообразили, что повара направляются к русским преднамеренно. Сержант злобно выругался, повернулся к своим солдатам и махнул рукой:

— Фойер! (Огонь!)

…Пули свистели над головами поваров и Орехова, со звоном ударяясь о бак для пищи.

Орехов схватил пулемет. Дал из него длинную очередь.

Сержант с простреленной головой повалился на дно окопа. Рядом с ним упали еще несколько убитых немецких солдат.

Орехов продолжал строчить из пулемета — ну, прямо как с тачанки. Синдяшкин выхватил из-под ног автомат и, обернувшись, тоже начал отстрели-

ваться. Ломов, привстав на облучке, погонял лошадь. До окопов оставалось не больше ста метров…

…В окопе стоял старший лейтенант Романов. Прижав к глазам бинокль, он удивленно наблюдал за странной повозкой с тремя фрицами, мчащимися к нашим окопам и стреляющими по своим. Рядом с Романовым топтался сержант Шилович. Взяв на изготовку автомат, он тоже изумленно наблюдал за происходящим. Чуть дальше замерли готовые ко всему бойцы.

— Что за ерунда? — недоуменно протянул Романов. — Фрицы… Летят на нас. А стреляют по своим.

— Может, к нам решили переметнуться? — предположил Шилович.

Старший лейтенант пожал плечами.

— Если к нам, — продолжал он, — давайте их прикроем. Поддержим огнем!

— Погоди. Дай разобраться…

…Передвижная кухня мчалась по полю к нашим окопам. Когда осталось не более ста метров, пуля попала в лошадь. Захрипев, она повалилась на бок. Кухня замерла на месте.

Орехов обернулся к поварам и вопросительно посмотрел на них.

— Егорыч, что делать? — крикнул Синдяшкин.

Ломов решительно махнул рукой.

— Дотянем сами!

Он повернулся к Орехову.

— Товарищ капитан, чего не стреляете?

Он спрыгнул на землю и бросился к убитой лошади, Синдяшкин — за ним. Под градом немецких пуль повара выпрягли из повозки убитую лошадь, впряглись в оглобли сами и, поднатужившись, сдвинули кухню с места. Шаг за шагом друзья шли все быстрее и быстрее и наконец перешли на бег. Передвижная кухня катилась, приближаясь к советским окопам. Ломов вскинул голову и крикнул:

— Братцы! Мы свои!

Услышав крик Ломова, старший лейтенант Романов и сержант Шилович переглянулись.

Повернувшись к бойцам, Романов махнул рукой:

— По немецким окопам — огонь!

Бойцы дали дружный залп…

* * *

Передвижная кухня стояла в леске за окопами нашего передового края.

Рядом с кухней сидели на земле, тяжело дыша, потные, измученные Ломов и Синдяшкин в немецких шинелях.

Двое санитаров сняли с бака для пищи Орехова, уже скинувшего с себя немецкую форму, бережно уложили его на носилки и унесли.

Кухню обступили улыбающиеся бойцы во главе со старшим лейтенантом Романовым.

— Что ж вы кухню не бросили, когда подстрелили лошадь? — спросил у поваров Романов. — Быстрее бы добежали!

Ломов отрицательно помотал головой.

— Нельзя нам бросать кухню, товарищ старший лейтенант. Для повара она… — Ломов почесал затылок. — Как для танкиста танк.

Обступившие поваров солдаты засмеялись. Ломов кивнул на огромный бак для пищи.

— Да и груз у нас ценный.

Романов удивленно вскинул брови.

— Какой?

Ломом и Синдяшкин усмехнулись. Ломов встал, подошел к кухне, забрался на бак и открыл его круглую крышку. Заглянув внутрь бака, постучал по его обшивке.

— Вылазь!

Из люка бака показалась голова немецкого фельдфебеля. Щурясь на ярком свете, он со страхом озирался вокруг. Высунувшись по пояс и разглядев советских бойцов, фельдфебель поднял руки вверх.

— Гитлер капут!

Бойцы, обступившие кухню, громко заржали.

Ломов повернулся к Романову.

— Нарвались в лесу на немецкий патруль… Троих положили. А этого — взяли с собой. Так что принимайте.

Старший лейтенант восхищенно цокнул языком.

— Ну, вы даете!

Ломов спрыгнул на землю и начал расстегивать пуговицы немецкой шинели.

— Хватит ходить во фрицевской форме, Иваныч! — бросил он Синдяшкину.

Ломов и Синдяшкин сняли и брезгливо швырнули немецкие шинели на землю.

Романов и бойцы увидели на груди каждого повара два ордена Славы. Уважительно переглянулись.

* * *

У палатки медсанроты Валентина разговаривала со своей подругой Татьяной.

Татьяна увидела, как издалека к ним приближается Ломов. Ойкнув, она прижала руки к лицу.

— Смотри!

Валентина увидела повара и, радостно вскрикнув, бросилась к нему. Широко заулыбавшись, Ломов ускорил шаг. Валентина подлетела к Петру Егоровичу и, замерев в шаге от него, несколько секунд смотрела на повара так, словно все еще не верила своим глазам.

— Егорыч! Миленький…

Валентина обняла Ломова за шею и начала торопливо покрывать поцелуями его лоб, губы, щеки… Ошарашенный Ломов стоял, не смея шелохнуться. В его влюбленных глазах было неземное блаженство.

Татьяна смотрела на Ломова с Валентиной с легкой завистью.

Отстранившись от Ломова, Валентина вытерла ладонью влажные глаза.

— Мне сказали, ты отстал от полка. Пропал без вести… Господи, чего я только не думала!

— Жив я, жив, — он ласково провел рукой по щеке Валентины. — Не время помирать, когда у нас с тобой… только все началось.

Ломов счастливо улыбался. Валентина — тоже.

К палатке медсанроты подбежал раскрасневшийся Синдяшкин. Кивком головы он поздоровался с Татьяной и Валентиной и выдохнул:

— Егорыч! Нас — к командиру полка!

— Во как… — недовольно протянул Ломов. — И поговорить не дадут.

* * *

Ломов и Синдяшкин стояли напротив Трошкина в окопе командно-наблюдательного пункта полка. Подполковник смотрел на них с гордостью и восхищением.

— Про все ваши подвиги знаю. И про встречу в лесу с немецким патрулем, и про пленного фрица. Ну, а как летели на кухне к нашим окопам, как на тачанке… — Трошкин засмеялся и изобразил руками стрельбу из пулемета, — знает уже даже командующий фронтом. И ему доложили…

Командир полка похлопал поваров по плечам.

— Пора вам становиться полными кавалерами ордена Славы. Заслужили, мужики!

* * *

Солнечным апрельским утром 1945 года Валентина и Ломов, на гимнастерке которого сияли три ордена Славы, негромко переговариваясь, вышли из палатки медсанроты и тут же — лицом к лицу — столкнулись с капитаном Ореховым. Увидев Орехова, Ломов вытянулся в струнку.

— Здравия желаю, товарищ капитан.

Орехов приветливо улыбнулся.

— Здорово!

Стараясь не глядеть на Валентину, Орехов пожал повару руку.

Ломов и Валентина отошли в сторону и остановились недалеко от палатки, продолжая прерванный разговор. Орехов бросил на влюбленных грустный взгляд, вздохнул, махнул рукой — а, что тут уже поделаешь, — и исчез внутри палатки.

Ломов обнял Валентину за талию.

— Придешь к нам на кухню обедать? — он подмигнул Валентине. — Я ушицу сварю.

— Правда? Снова ходил на рыбалку?

— А то. С утра пораньше… Так придешь?

— На уху — обязательно.

К Ломову и Валентине подошел Трошкин — уже в полковничьих погонах. Ломов и Валентина повернулись к нему и застыли по стойке «смирно». Трошкин махнул рукой:

— Вольно, вольно.

Ломов и Валентина расслабились.

— Вот, Егорыч, мы и у Берлина. В полсотне километров, — Трошкин улыбнулся Ломову. — Скоро возьмем!

Командир полка хлопнул повара по плечу.

— Помнишь, что мне обещал?

— Помню, товарищ полковник. Будет вам жареный заяц по-берлински.

— Ну, с зайцем-то все понятно. А вот кое с чем другим… — Трошкин хитро прищурился. — Хочу задать тебе один вопрос…

Ломов пожал плечами.

— Спрашивайте.

Трошкин перевел взгляд с Ломова на Валентину.

— Когда будем свадьбу играть?

Ломов и Валентина, смутившись, переглянулись. Ломов решительно махнул головой.

— Кончится война — и сыграем.

Трошкин шутливо погрозил Ломову пальцем.

— Смотри! Чтобы и это обещание выполнил!

* * *

У костра помешивал в котелке уху Синдяшкин, на гимнастерке которого тоже сияли три ордена Славы. Рядом с Синдяшкиным стоял Ломов.

К леску недалеко от полковой кухни подошла рота пехотинцев. Остановившись на привал, солдаты разбрелись в разные стороны. Рассевшись на траве, перекусывали, курили…

Ломов обратил на них внимание. Кивнул на солдат:

— Глянь, вроде не наши.

Синдяшкин тоже посмотрел на отдыхающих бойцов.

— Не. Я слышал, полку две роты придали. Перед наступлением. Из другой части.

Ломов продолжает разглядывать солдат, находившихся метрах в ста от кухни.

Неожиданно он изменился в лице. Заметив это, Синдяшкин тронул друга за локоть.

— Егорыч, что случилось?

Ломов, словно не слыша его, сделал шаг в сторону солдат. В его глазах смешались сомнение и надежда.

— Не может быть… — протянул Ломов.

Сорвавшись с места, Ломов направился к солдатам. Синдяшкин удивленно смотрел ему вслед. Ломов шагал все быстрее и быстрее, а затем перешел на бег…

…В леске, в стороне от других солдат, устроился на пеньке… Ваня. Он курил, сидя спиной к подбегающему Ломову.

Ломов с глазами самого счастливого человека на земле летел к сыну. Когда до него осталось несколько шагов, крикнул:

— Ваня! Сынок!

Услышав голос отца, Ваня вскочил. Недокуренная самокрутка выпала из руки. На его лице расцвела счастливая улыбка.

— Батя! — вскрикнул он и кинулся навстречу отцу.

Сблизившись, они бросились друг к другу в объятья.

Отец и сын стояли обнявшись. На глазах у обоих были слезы радости. Солдаты смотрели на них улыбаясь.

Отстранившись от Вани, но продолжая держать руки на его плечах — словно боясь вновь потерять сына, — Ломов смотрел на него так, будто все еще не верил в это чудо.

— Ваня! Сын… Я поверить не мог… Когда увидел тебя, — Ломов счастливо улыбался. — Я же получил на тебя похоронку, еще в сорок первом.

Ваня кивнул головой.

— Знаю, батя. Все знаю.

К Ломову и Ване подбежал Синдяшкин с распростертыми для объятий руками.

— Ванюша! — радостно заорал он.

Синдяшкин и Ваня крепко обнялись. Жмурясь от радости, Синдяшкин хлопал его по спине своими маленькими ладошками.

— Это ж сколько лет мы не знали… что ты — живой.

— Да, Иваныч.

Освободившись из объятий Синдяшкина, Ваня стоял между ним и отцом. В глазах обоих поваров горело желание поскорее узнать, почему так случилось. Ваня вздохнул.

— Меня ведь и в самом деле — чуть не похоронили. По-настоящему…

Ломов оглянулся вокруг.

— Да что мы торчим тут, как три пенька? Пошли к нам — на кухню. Там все и расскажешь. Привал у вас большой?

— Да, время есть, — Ваня спохватился. — Я только взводному скажу.

Ломов хлопнул его по плечу.

— Давай.

Ваня развернулся и побежал к своей роте. Ломов смотрел ему вслед счастливыми глазами…

…Ломов, Ваня и Синдяшкин сидели вокруг костра. Ваня держал в руках кружку с дымящимся чаем. Оба повара слушали его, боясь пропустить хоть слово.

— Под Волоколамском, во время атаки, снаряд разорвался у меня за спиной… Что было дальше — не помню. Но мне потом рассказали… — волнуясь, Ваня сделал глоток из кружки. — Осколками посекло всего, живого места не осталось… В общем, приняли меня бойцы из похоронной команды за мертвого. Снесли вместе со всеми к яме, для братской могилы. Тут я и зашевелился… Меня — сразу в госпиталь. Почти два месяца пролежал. Пять операций…

Ломов и Синдяшкин сочувственно вздохнули.

— Потом повезло — вернулся в родную часть, — Ваня посмотрел на отца. — Там и узнал, что тебе отправили похоронку…

Ломов грустно покачал головой.

— Сразу написал тебе, что ошиблись. Живой! — Ваня вздохнул. — А в ответ — тишина. Я и Варе писал… И от нее письма не дождался. Ну, я сразу и понял, что все вы ушли на фронт.

Ломов согласно кивнул.

— Так и было. Сначала мы с Иванычем. Потом — Варя.

— Значит, все мои письма так уже четвертый год в почтовых ящиках и лежат…. — спохватившись, Ваня вскинул голову. Он заметно волновался. — А Варя? С ней все в порядке? Где она?

Синдяшкин похлопал его по плечу.

— Да в порядке, в порядке! В медсанбате она, сестрой. А дивизия ее сейчас где-то в Польше. Кончится война — свидитесь! А пока… — Синдяшкин полез в карман гимнастерки, достал сложенный вдвое конверт и протянул его Ване. — Тут тебе и ее полевая почта, и наша.

Глаза Вани радостно загорелись. Он ударил себя кулаком по колену.

— Сегодня же ей напишу!

Синдяшкин снова потрепал Ваню по плечу.

— И я напишу. Что Ванюша воскрес!

К костру подошла Валентина. Увидев ее, Ломов вскочил и, широко улыбаясь, кивнул на сына:

— Валя! Я сына нашел! Живого!

Валентина радостно и удивленно вскинула брови. Ваня тоже встал и приветливо кивнул ей.

Ломов обнял его, прижал к себе.

— По ошибке прислали похоронку… Так что праздник у нас! Какого еще не было!

— Нашли-то вы как друг друга? — спросила Валентина.

Ломов кивнул на лесок, где расположились на привале пехотинцы.

— Вон там я его увидел. Среди солдат.

Валентина посмотрела на Ваню.

— Ну, со вторым рождением тебя, Ваня!

Со стороны леска раздался громкий голос:

— Ломов!

Ломов и Ваня повернулись на голос одновременно и увидели солдата, который, отойдя от леска в сторону кухни, смотрел на Ваню. За спиной солдата пехотинцы становились в строй. Солдат махнул Ване рукой.

— Строиться!

Ваня повернулся к отцу.

— Все, батя, надо идти.

Ломов с сожалением вздохнул.

— Эх, не успели встретиться…

— Ну, теперь-то будем в одном полку! — успокоил друга Синдяшкин. — Не потеряется.

Перед тем как расстаться вновь, Ломов и Ваня еще раз обнялись.

Ваня развернулся и побежал к своей роте. Ломов, Синдяшкин и Валентина махали ему вслед…

…В воздухе раздался свист дальнобойного артиллерийского снаряда. Все непроизвольно втянули головы в плечи. Ваня, бегущий к своей роте, — тоже.

— Артобстрел! Ложись! — крикнул Ломов и упал на землю. Синдяшкин и Валентина — следом за ним. Приподняв голову, Ломов посмотрел на бегущего Ваню.

— Ложись, сынок!

Ваня, пробежав еще несколько шагов, тоже плюхнулся на землю.

Мощный взрыв прогремел рядом с леском. Уже было вставшие в строй, солдаты роты Вани тут же разбежались в разные стороны и залегли. Землю вздыбил еще один взрыв — в том месте, где раньше стоял строй. Еще один снаряд упал, не долетев метров тридцати до кухни. И еще один — недалеко от Вани.

Увидев это, Ломов вскочил и побежал к сыну, который лежал, прикрыв руками голову…

…Снаряды густо ложились повсюду — и в леске, и у кухни…

…Ломов подбежал к сыну и навалился на него сверху, закрыв своим телом. Через пару секунд взрыв прогремел буквально в нескольких шагах от них…

…Артобстрел закончился. В воздухе повисла тишина. Синдяшкин и Валентина подняли головы и увидели Ломова, который неподвижно лежал на сыне, широко раскинув руки.

Почуяв неладное, Ваня медленно вылез из-под отца. Тело Ломова осталось лежать на земле: его спина была пробита осколками сразу в нескольких местах.

У побледневшего Вани затряслись губы.

— Батя!

Ломов не подавал признаков жизни.

Ваня осторожно перевернул тело отца на спину. Из его глаз брызнули слезы.

— Батя!!!

К ним подбежали Синдяшкин и Валентина. Оба упали рядом с Ломовым на колени.

Во взгляде Валентины смешались любовь и отчаянье.

— Егорыч, миленький… Как же?

Наклонившись над Ломовым, она схватила его руку и стала торопливо искать пульс.

По глазам ее было видно, что пульса нет. Валентина уронила руку Ломова на землю и, обхватив ладонями лицо, зашлась в плаче. По щекам Синдяшкина тоже текли слезы.

К ним подошел полковник Трошкин.

Замерев на месте, он тяжело вздохнул и медленно стянул с головы фуражку…

…Неожиданно Ломов открыл глаза.

Увидев это, Синдяшкин, Ваня и Валентина разом перестали плакать. Ойкнув, Валентина торопливо полезла в карман гимнастерки, доставая индивидуальный перевязочный пакет. Разорвала его зубами. Приподнявшись, оглянулась по сторонам и махнула рукой:

— Санитары!

Ваня держал голову отца в руках и, глядя ему в глаза, счастливо улыбался.

— Батя, живой!

Трошкин и Синдяшкин, лица которых лучились от радости, облегченно вздохнули.

— Слава те, Господи, — прошептал командир полка.

Ломов обвел окружающих взглядом, увидел их заплаканные лица и сразу все понял.

Превозмогая боль, он с трудом растянул в улыбке губы.

— Что, похоронили меня? Рано, — Ломов перевел взгляд на Трошкина. — Я же еще зайца по-берлински не приготовил, товарищ полковник. Негоже помирать, не исполнив обещанного.

Трошкин улыбнулся в ответ.

* * *

В июне 1945 года полк стоял в предместье павшего Берлина.

Полковая кухня расположилась на опушке леса. Синдяшкин возился у костра, помешивая в большом котле.

Недалеко от кухни, на обочине дороги, остановилась полуторка, в кузове которой сидели Ломов, Валентина, Ваня и Варя. Синдяшкин поднял голову от костра, увидел их, распрямился и радостно вскинул обе руки вверх.

— Егорыч!

Синдяшкин побежал к машине.

Ваня выпрыгнул из кузова первым, помог выбраться из машины Варе и Валентине, а затем они все вместе помогли спуститься на землю Ломову.

Синдяшкин подбежал к Ломову.

— Как я по тебе скучал!

Ломов улыбнулся.

— И я по тебе.

Ломов и Синдяшкин обнялись. Стоя друг против друга, они искренне радовались встрече. Синдяшкин кивнул на Ваню, Варю и Валентину.

— Как проводил их с утра пораньше в госпиталь… Глаз не мог оторвать от дороги. Все ждал, когда привезут тебя, — Синдяшкин хохотнул. — У меня даже каша подгорела. Первый раз в жизни.

Все засмеялись. Синдяшкин взмахом руки пригласил их за собой.

— Ну, пошли! Буду кормить обедом.

…Ломов, Валентина, Ваня, Варя и Синдяшкин подошли к кухне и увидели приближающегося к ним полковника Трошкина. Все пятеро, повернувшись к нему лицом, вытянулись в струнку. Трошкин махнул рукой.

— Вольно, вольно!

Полковник подошел к Ломову, пожал ему руку, похлопал повара по плечу.

— С поправкой тебя, Егорыч!

— Спасибо, товарищ полковник, — Ломов улыбнулся. — Разрешите пригласить вас на свадьбу. Послезавтра.

— Спасибо! На твою приду. Обязательно.

Ломов хитро прищурился.

— Не только на мою. Будем две играть. Сразу! — он кивнул на Ваню и Варю. — Жениха вы знаете. А вот рядом с ним и невеста — Варя. Дочь Иваныча.

Брови Трошкина удивленно взлетели вверх.

— Во как!

— Собирались поженить их в сорок первом, в Москве. А получилось только в сорок пятом, в Берлине.

— Хорошо получилось! — Трошкин посмотрел на Ваню. — Отпуск по случаю свадьбы дали большой?

— Десять суток. И мне, и ей, — ответил Ваня.

Трошкин весело махнул рукой.

— А я Егорычу с Валентиной своей властью дам по двадцать!

Ломов и Валентина довольно переглянулись.

Увидев что-то вдалеке, Синдяшкин протянул руку в сторону леса.

— Смотрите!

Все повернулись к лесу и тут же заметили на его опушке серенького зайца, перебегавшего от куста к кусту, — всего в полусотне шагов от кухни. Синдяшкин подмигнул Ломову.

— Вот сегодня, Егорыч, и приготовим командиру зайца по-берлински!

Синдяшкин бросился к разделочному столу, рядом с которым на табурете лежал автомат повара, схватил ППШ и прицелился в зайца.

Ломов быстро подошел к Синдяшкину и положил свою руку на ствол автомата, пригнув его к земле. Синдяшкин удивленно посмотрел на Ломова.

— Ты чего?

— Не надо. Пускай живет. Настрелялись мы уже за эту войну… Хватит!

Синдяшкин кивнул на Трошкина.

— А как же обещанное?

Ломов повернулся к командиру полка.

— Товарищ полковник. Жалко зайчишку. Давайте я вам вместо зайца по-берлински приготовлю… — Ломов на секунду наморщил лоб, — яблочный пирог по-берлински! Вкусный. Пальчики оближете.

— Да, жалко ушастого… — вздохнул командир полка.

Немного поколебавшись, Трошкин согласно махнул рукой.

— Ладно! Меняю зайца на яблочный пирог.

Все, улыбаясь, смотрели на серенького зайца, даже не подозревавшего, какая над ним только что пронеслась гроза.

А заяц продолжал беззаботно скакать вдоль опушки леса…



ТАМАРА КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО

Пока мы вместе

* * *

Вот она, Родина, вся из окошка
Как на ладони, до края — видна!
Вот они — детства прямые дорожки,
Речка и поле, и радость — до дна,

До ощущения боли под сердцем,
Сладкой, как первая в жизни — любовь…
Холодно сердцу… Ты дай мне согреться
Снова Тобою, и — только — Тобой!

Вечная мила моя

Могу я заплакать
во время молитвы,
Но слезы не выдам
в день жатвы и битвы.
В день страдный и ратный
я рано встаю,
И, силы собрав,
свои песни пою.
А сила моя —
вот, сопит на подушке,
Ладошки сложив
под щеку и под ушко…
Еще — незабвенная,
светлая сила
Моя, где кресты
и родные могилы.
Еще моя сила —
в тиши помолясь,
Воды родниковой
из чистой криницы
Испить….
Низко в пояс тебе поклониться,
Моя золотая,
родная земля!
Вот в чем она —
вечная сила моя.

Пока мы вместе

Какие нам страшны невзгоды,
Кострищ, пожаров черный дым,
Пока идем мы через годы,
Дыша дыханием одним?

И будней, нищих на улыбки,
И бед — осенним, хмурым днем
Не замечаем мы — у зыбки
Своих детей, пока — вдвоем.

Благоговею перед утром,
Склоняюсь низко перед днем,
Но жизнь устроена так мудро:
Вот ночь — и снова мы вдвоем.

Как мир велик, но как он тесен,
Ведь ты — никем незаменим.
И не умрем, пока мы вместе,
Живем дыханием одним.

* * *

Заповедник весной… Не сон —
Меж березами бьются волны:
Сон-трава зацвела, как лен,
И любовь началась — так больно!

Стань моею навек судьбой,
Заклинаю апрелем сладким,
Вербы тучкою золотой,
Сон-травою с небесной грядки.

Сон-трава свяжет сказки нить,
Я не зря тебя заклинала,
Мне теперь так сладко любить,
А как больно любить — я знала…

* * *

Столетия
Льет солнце свет,
Сверкают радуги эпох,

И ищет человек —
Ответ:

Я — червь.
Но ведь Отец мой —
Бог?

* * *

Вечность
Наступает на меня.
Все ближе ее дыхание.
Пылью веков,
Порослью лесов
    непроходимых,
Травами забвенья…

Раньше,
Когда я была юной,
Я убегала от нее.
Во мне было столько силы,
Энергии солнца,
Ветра и радуг!

Я улетала легкими шагами
От вечности,
Вперед….

Сама не понимая того,
Что приближалась к ней…

* * *

Смотрите чаще на небо.
Особенно,
Когда невмоготу.

И когда душа поет,
Благодарите
Небо.

И когда смотреть
Больше некуда —
Смотрите на небо!

Успеть отдать

Мир
не кончается со мной.
Мир был и будет.
Он большой.

Единственная
радость в нем —
тебе — стать светом
и теплом,
быть рядом —

вовремя с тобой,
успеть
отдать
свою любовь.

Единственный
у жизни смысл,
чтоб в мире
для любви нашлись —
два сердца
и в одно слились.

Молодая

Этим летом жила я в деревне
И нашла там рецепт очень древний:
Тишиной свою душу спасала
И слезинкой-росой умывала,

Как с дитем, с нею я говорила.
Но, как рана саднящая, ныла,
И болела душа, и страдала,
Чтоб спасти меня… Я ж — пропадала.

Что ни делала — тучи сгущались.
Осень август в кольцо окружала.
Все кричало: «Пропала! Пропала!»
Приезжали врачи, совещались:

— Непонятно: что с нею сталось?
— Недостаточность сердца? Усталость?
Двухсторонний обрыв терпения?
Жесточайшее отравление,
Или солнечное затмение...

Ну откуда взялось столько боли?
Надорвалась душа и, неволю
Покидая, ушла, улетела
Высоко! Так отчаянно смело!

Но… вернулась.
Видать, пожалела.
И — в почти бездыханное тело —
Обновленная — юной — влетела.

Ах, какое прекрасное лето!
Все цветет, все огнем обогрето,
Птицы, к самому солнцу взлетая,
Мне поют… И я — вот: молодая!

И прочитаю…

Открою страницу я
и прочитаю
всю жизнь твою
в стихотворенье одном.
Как падал, вставал,
как до самого края
дошел…
И как выжил.
Все знаю о том,

Как снова тебя
подкосили, убили
словами, не пулями…
Знаю я все:
как предали походя,
мельком,
срубили.
Как вычеркнули
и смолчали потом.

Тебе улыбались,
и дружбу водили,
и ели твой мед,
твое пили вино.
И в доме твоем,
как любимые,
жили.
В саду твоем пели…
Со мною давно

все это уже было, было…
Ой, было!
Поэтому знаю,
как больно тебе.
Но — все я — забыла….
Лишь камнем застыло
надгробие дням тем
горючим… Теперь

что толку
лить строки об этом
из сердца?
Пусть реки льют струи.
Пусть хлещут дожди.
И солнце восходит!
Чтоб утром согреться
поэты могли
у зари на груди.



АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

Эффект лотоса

Рассказ

1

— А этот волк хороший или плохой? — спросила Дашка, не отрываясь от экрана телевизора, где показывали мультик про добро и зло.

— Волк? Плохой, — неуверенно ответил Юлий, ее отец.

— А зайчик хороший? — продолжала переживать Дашка.

— Зайчик? Кто его знает. Скорее всего, хороший, — сказал Юлий, отзываясь более на свои мысли, нежели на слова дочери.

— Почему? — не унималась дочурка.

— Потому что он белый и пушистый, — сказал Юлий только для того, чтобы что-нибудь сказать.

Она облегченно вздохнула, нащупала плюшевого зайца (почему-то серого, в яблоках, словно лошадь), не отрывая взгляда от экрана, и прижала его к себе.

Юлий внимательно посмотрел на дочь.

— А ты хорошая? — спросил он без улыбки.

Дашка не задумываясь отрицательно покачала головой.

— Нет? — удивился Юлий.

— Нет.

— Почему?

— Я маму люблю.

— Так-так.

Он опустился перед дочерью на корточки, как зек. Скорее инстинктом отца и неглупого мужчины, чем воспитателя, Юлий почуял, что этот ответ нельзя оставлять без внимания. За эту ниточку следует потянуть. Именно сейчас, когда она всецело захвачена волчье-заячьей интригой и разговаривает с ним словно во сне, под гипнозом; потом, когда вернется в реальность и сосредоточится на своих детских переживаниях, она уйдет в себя, как ее мать, и разговорить ее будет гораздо сложнее, если вообще возможно.

— А мама хорошая? — спросил он вкрадчиво, чтобы не спугнуть первобытную искренность дочери.

— Не-а. Плохая.

— Почему, Дашун?

— Она же ушла из семьи и нас бросила. Ты сам так говорил. Папа, а заяц боится волка или притворяется?

— Притворяется, конечно.

Дашка перевела на него свои круглые глаза, чистота которых всегда переворачивала ему душу, и сказала, по-взрослому вкладываясь в каждое слово:

— Папа, он его боится.

— Заяц?

— Да, папа.

— Не исключено.

— Уф! — воскликнула Дашка, откидываясь на спинку дивана. — Все, конец! Ну, волчара, дурак такой! Чуть не съел зайца!

Она отбросила потрепанного зайца в угол дивана (он завалился на бок и рухнул на пол — Дашка ухом не повела) и забралась к отцу на колени.

— Пап, а знаешь что?

— Ты хочешь о маме поговорить, мое золото?

— Нет. Знаешь что, — а купи мне волка.

— Зачем?

— Он прикольный.

— Ты хочешь сказать — плохой?

— Нет, пап — он прикольный.

— Понятно, — сказал Юлий, как всегда говорил в тех случаях, когда ему ничего не было ясно или когда он был не согласен с собеседником.

— Купишь, пап?

— Куплю, конечно, раз он прикольный. А он не съест твоего зайца?

— Пап, ну что ты как маленький? Он же будет плюшевый. Как он его может съесть? Ну, как?

— Никак, пожалуй.

— Смотри. Не дав слова, держись, а дав слово, крепись. Обещания нужно выполнять. Да, пап?

Юлий по опыту знал: Дашка не отстанет.

Она была копия своей матери: такая же тихая, но себе на уме; иногда же редкостно, феноменально настырная. У Юлия возникало впечатление, что жена его копит, копит свое упрямство, понапрасну его не расходует, и когда посчитает необходимым, пускает в дело весь запас.

Тогда, если не хочешь больших неприятностей, надо отойти в сторону, отступить.

Но только не в этот раз.

В этот раз, дорогая Юлия, ты нарвалась на скалу.

— Даша, только надо говорить так: не дав слова, крепись, а дав слово, держись.

— Папа, ты же знаешь: я всегда путаю. Так ты купишь волка?

— Сама ты волк, — сказал Юлий. — Подними зайца.

— Так купишь, пап?

— Будет тебе прикольный волк, — вкладываясь в каждое слово, произнес Юлий.

«Если разобраться, то в дочери и от отца не меньше», — подумал Юлий, прижимая Дашку к себе.

2

Жили-были Юлий и Юлия, и все у них было хорошо, как у всех: безмятежное детство, мятежная юность, пафосная молодость, остывающие с возрастом души. Однажды они случайно встретились, приглянулись друг другу, потом, судя по всему, влюбились (взаимно) и, в конце концов, поженились. Возник союз. Все как у людей.

Они были обычной, если не сказать типичной, парой. Родилась у них дочь Дашка, и они в ней души не чаяли. Жар сердец отдавали они теперь семей-

ному очагу: они уже любили не столько друг друга, сколько свою семью, центром которой стала Дашка. Все как положено.

Но вот в Юлии нечаянно-негаданно (этому ведь никто не учил, об этом никто не предупреждал) проснулось глубоко женское — в ней очнулась спящая красавица, Джульетта. Она решила, что безумно любит своего новоявленного Ромео, ибо родилась она для страсти и любви, которыми в жизни была обделена. Отринув меркантильные расчеты и унижающий все высокое в человеке прагматизм, гм-гм, Юлия, как человек глубоко порядочный и, следовательно, рассчитывающий на порядочность другого, тут же поставила в известность до той поры если не глубоко обожаемого, то вполне уважаемого супруга своего Юлия.

Юлий также удивил себя, всех, и прежде всего Юлию. В нем проснулось нечто глубоко мужское, брутальное, корнями уходящее в дионисические хляби; в нем проснулся Цезарь в латах, деспот и тиран. Дремавшие в Юлике властность и сила оказались куда крепче, прочнее и первобытнее порядочности, которую Юльке угодно было толковать как «сделай все возможное и невозможное, чтобы жена твоя любимая ушла к Ромео и была с ним счастлива».

Юлий удивил Юлию, а именно: он выбросил ее чемодан с вещичками со словами «убирайся к чертовой бабушке, змея подколодная, и передай своему поручику, чтобы не попадался мне на глаза, пес паршивый, а если подойдешь к Дашке, порву тебя, как Барсик перчатку».

Скорее всего, это было непорядочно, как-то дико, и Юля как человек порядочный имела полное моральное право обидеться, однако бедная женщина испытывала совсем иные чувства. Она втайне любовалась вулканическим началом, звоном металла — так сказать, Цезарем в Юлии, бывшем суженом, а поникшего Ромео, Василия по паспорту, все более и более переставала уважать, несмотря на то, что ради нее он как истинный джентльмен бросил свою семью.

Все так запуталось, все стало таким непредсказуемым.

Юлия, втайне считавшая себя сильной женщиной, обнаружила в себе слабую, беззащитную девочку. Своего мужа (бывшего?! о, нет! или все же — да?), обычного мужчину, она перестала понимать и предсказывать, даже не пыталась угадать логику его поступков. Он стал казаться ей страшным, непонятным и, чего греха таить, величественным. А тот, кто вчера еще казался роскошным и всепобеждающим, ослепительный Василий, не кто иной, сегодня выглядел как задавленный проблемами среднестатистический мужчинка. Ничего от былого великолепия и исключительности. Вот как-то не хватило ему духу и уверенности. Хотя все, казалось бы, делал правильно. Претензий нет, но и увлеченность враз пропала.

Она запуталась. Ослепла. Испила яду искушений. Погибла.

Что же теперь будет?

Постепенно в душе обрисовывался и обрастал внятными контурами будущий центр возрождения, непотопляемый остров: Дашка. Точка, точка, запятая. Минус. Рожица кривая. Палка, палка. Огуречик. Вот и вышел человечек. К Дашке ее тянуло неодолимо, и за нее она готова была драться насмерть. При имени «Дашка-а!», отзывавшемся в душе болью и радостью, пропадал страх, наплевать становилось на любовь и счастье, на порядочность и страсть. В Юльке просыпалась уже не Джульетта, и не Афродита даже; может быть, сама Деметра. В недрах женского существа оттаивала какая-то мать-сыра-земля, ответственная за циклы жизни, а не за перспективы одинокой заблудившейся барышни.

Джульетта нарвалась на Цезаря и гибельно превратилась в лужицу слез, испарившись нежной Снегурочкой; теперь Цезарю придется иметь дело с богиней, поставившей на колени самого Зевса.

— Дашка!

— Что, папа?

— Вот твой волк прикольный. Держи зверя.

— Ой, спасибо! Какой хорошенький! Большой!

— Он злой и страшный, имей в виду.

— Нет, папа! Он милый. Такой серенький. И грустный.

— Грустный! Да ты на его пасть посмотри! Кошмар Красной Шапочки. Как ты его назовешь, интересно?

— Барсик!

— Вот это новость! Ведь это собачье имя. Дворняжье. А он лесной разбойник.

— Папа! Я же девочка. Меня должны окружать добрые люди и звери, а не чудовища. Мама так говорила.

— Люди, звери. И мама.

— Да, и мама. Папа, ты простишь ее?

— Не знаю.

— Нельзя же быть таким злым. Я тогда не буду тебя любить.

Юлий присел на корточки перед дочерью.

— Ты считаешь, что если я ее не прощу, то плохим буду я?

— Конечно. Теперь она будет хорошая, а ты плохой. Как волк.

— А почему она хорошая?

— Потому что она мне нужна. Она называла меня «мой Цветочек».

— Понятно.

Юлий подошел к висевшему на стене портрету своего деда, известного полководца Великой Отечественной, позднее впавшего в немилость у сердобольного народа. Долго смотрел на его ордена и медали, потом скрестил с ним взгляды. Дед в резкой форме был в чем-то не согласен с внуком.

— А если я уйду из дома, Дашка? Я буду плохим?

— Папа, ты не будешь плохим; ты будешь просто чужим. Как папа Светки, с которой я дружу. Он забирает ее в воскресенье и кормит мороженым, а потом у нее болит горло. А вообще-то прикольно. Я люблю мороженое.

— Завтра придет твоя мама.

— Ура! Ты ее простишь?

— Смотря как она себя поведет. Смотря как я себя поведу. Знаешь, что такое открытый финал?

— Знаю! Это когда добро победит зло.

— Не совсем…

— Значит, простишь. Смотри: не дав слова, держись…

— Крепись.

— Крепись. А дав слово, держись. Так говорил твой дед Павел? Вон тот? На стене который?

— Да, он говорил именно так. Он был героем. У тебя есть предок, которым можно гордиться. Это хоть какой-то якорь в жизни, поверь.

— А почему мама называет его Людоедом? Он был волк, что ли?

— Нет, он не был волком. Просто мама твоя дура.

— Папа! Разве можно так говорить о женщинах?

— Нельзя. О женщинах надо отзываться уважительно.

— Почему же ты сказал?

— Потому что я плохой.

— Нет, папа, ты не плохой; ты просто плохо поступил. Нельзя говорить человеку, что он плохой, а то он захрюкает. Так меня мама учила. Она ведь не дура? Нет, ты скажи, ты не молчи.

— Нет. Она не дура. Я надеюсь.

— Ну вот видишь! Сам сказал! Значит, ее надо простить.

3

На следующий день Юлия пришла к мужу и дочери не одна. С цветами.

Наличие в опущенной руке красноречиво молчащего букетика, очевидно, следовало расценивать как знак извинения, в идеале плавно переходящего в примирение. Букет был сдержанным и скромненьким. Символическим. Ромашки, доверчиво распахнутые миру, как глаза Дашки, прикрывались декоративной травкой. Выжидательный букетик.

— Где Даша?

— Она у бабушки, дочери Людоеда. Которому тиран, время от времени выступавший в роли вождя и учителя, присвоил звание Маршала Советского Союза.

— Юлий! Давай сейчас не будем об этом! К нашей ситуации это не имеет никакого отношения. Я знаю: я поступила плохо. Я приношу свои извинения. Я стала другой. Сильный человек должен уметь прощать. Я надеюсь, ты сильный. Помнишь, как ты говорил? Тот, кто держит в руках цветы, не способен сделать ничего плохого. Вот я стою перед тобой с цветами в руках, с открытым сердцем…

— Ты уже сделала плохое: ты сорвала цветок. Убила жизнь.

— То есть как — убила? Я никого и ничего не убивала. Не надо быть фарисеем. Это всего лишь цветы. Ты мне тоже дарил цветы — значит, ты тоже поступал плохо?

— Нет. Я тебя любил.

— Тебе можно дарить девушке цветы, а мне своему мужу — нельзя?

— Когда любишь, можно все. Тогда цветы радуют. А если ты предала, зачем рвать цветы?

— Ты не можешь забрать у меня Дашку! Не можешь! Я тебе ее не отдам! И не надейся!

И в доказательство своей решимости она швырнула свежий букет на пол. Теперь рассыпавшиеся веточки и стебельки смотрелись поникшим, но все еще живым укором, символом растоптанно-втоптанного чего-то нежного и ранимого. Ромашки страдальчески уткнулись светло-желтыми личиками в линолеум.

Красивые цветы, валяющиеся на полу, — всегда тревожный и плохой предвестник. Жест жены можно было понять так: «сантименты в сторону».

Вряд ли это было домашней заготовкой; скорее всего, чистой воды импровизация. Юлий никогда еще не видел свою жену столь воинственно настроенной. В ней клокотало не упрямство, а твердость. Черта натуры нашла точку приложения в жизни и становилась силой характера. Это невольно внушало уважение.

Однако Юлий не намерен был капитулировать так легко. Он вообще не намерен был капитулировать. В его жизни также начиналась новая полоса.

Он весело смотрел на ее гнев и отчаяние, понимая, что легкомысленная насмешливость пугает ее и деморализует. Но у него и в мыслях не было проучить ее, отомстить или задать примерную трепку. Вовсе нет.

Боль и унижение обострили способности ума, и теперь он начинал осознавать природу своей силы. Он понял: чтобы жить с женщиной, необходимо соблюсти два условия (по крайней мере, в его случае).

Первое: надо открыться самому себе до конца, железом каленым выжечь всякие сопливые иллюзии, заглянуть к себе в душу и увидеть то, что там есть, без прикрас: золото — значит золото; плесень — значит плесень. Зачем? Затем, чтобы стремление к силе и власти, свойственные всякому, даже самому завалящему мужичонке, обернуть на нужды самопознания. Сила и власть как цель и смысл — это врожденное, своеобразная родовая отметина или генетический признак. Самопознание — благоприобретенное, завоеванное с помощью силы качество.

Ergo: стать мужчиной — значит научиться контролировать природное стремление к силе и власти.

Второе: надо, чтобы она, женщина, почувствовала (понять-то ведь ей не дано; или все же дано? ладно, это пока неясно) масштабность твоей мужской натуры.

Если почувствует, если ей дано почувствовать, если в душе у нее присутствуют врожденные рецепторы, то она будет твоей. Если нет, то это не твой человек. Это мелкий, плохой человек.

А зачем это все?

А затем, что он, мужчина, должен вырастить из дочери своей настоящую женщину. Правильную. Хорошую. А что значит вырастить дочь?

Это значит — разобраться в себе.

Задача стояла вовсе не так: простить — или не простить; быть великодушным — или не быть. «Сильный человек должен уметь прощать...» Это пустые слова, религия плохого человека.

Проблема была в другом: что есть жизнь? Что есть человек? Мужчина? Женщина? Истина?

Стремление разобраться в себе Юлий стал осознавать как первый долг мужчины. Долг перед собой. Дочерью. Жизнью. Истиной.

Ergo: дочь и истина стояли в одном ряду. Тесно прижавшись друг к другу. Почти как добро и зло.

И Юлия кожей и сердцем почувствовала всю мощь его новых мыслей.

Перед ней стоял человек, который улыбался не тому, что у него появилась возможность унизить ее, наказать, покуражиться, поставить на место, а тому приятному для него обстоятельству, что рядом с ним, с такими, как он, и только с ними, женщина может раскрыть всю свою красоту и силу. Он улыбался улыбкой сильного, открытого и хорошего человека.

Теперь он выбирал нужную ему женщину, давая при этом возможность ей выбирать мужчину: такого, как он, или в принципе на него не похожего. Честно и откровенно.

И это было уже не как у всех, Юлий предлагал что-то новое в жизни. В его облике и повадке появилось что-то от Зевса, и Юлия сразу же почувствовала, что следует считаться с его правилами игры. Она доверилась тому, чему не может не довериться нормальная женщина.

В этот момент Василий показался ей вызывающим жалость мужественным идеалом, безупречным героем, достоинства которого делали его маленьким, мультяшным, и ей стало неловко за свою вчерашнюю наивность. Стало стыдно не перед Юлием — перед собой. Боже мой, как это было глупо! И потому — пошло. Захотелось по примеру ромашек укрыться от света.

Но Юлий не торопил события; он стоял и ждал.

Вот это было в нем новое: умение держать паузу. Сразу верилось: этот никогда больше не будет суетиться. И сделает то, что надо.

— Ты позволишь мне быть матерью для моей дочери Даши?

— Как же я могу забрать у тебя это право? Об этом не надо просить. Хочешь быть матерью — будь ею.

— Хорошо. Тогда скажи, чего хочешь ты.

— Многого. Я и сам не знаю, чем закончится наш разговор, но я намерен прояснить наши отношения. До конца. До первоосновы. До тины болотной. Извини за откровенность. По-другому сегодня со взрослыми и близкими мне людьми я не умею, не хочу и не буду.

— Нам надо поговорить, согласна. Я внимательно слушаю тебя.

— Для начала я хочу знать, кого ты считаешь хорошим человеком?

— Что за вопрос? Каждый по-своему хорош. И по-своему плох. Не бывает же однозначно плохих или хороших. Это только в сказках для Дашки есть славные герои и черные злодеи. А в жизни все по-другому. Неизвестно, как все обернется.

— Не скажи. В жизни все именно так, как в сказке. Или как на войне. Люди делятся на хороших и плохих. И в этом вся загадка жизни. Тут не надо вилять хвостом. Тут надо принять чью-то сторону.

— Не могу понять, к чему ты клонишь. Ты хочешь объяснить мне, почему я плохой человек? Давай, валяй. Аргументов в твоем распоряжении в избытке. Если собьешься, я помогу. Память у меня хорошая.

— Сколько иронии! Тут до праведного гнева рукой подать. В сказку не веришь, но предлагаешь, чтобы битый небитого на собственном хребте подвез до ближайших райских кущ.

— Чего ты хочешь? Не мучай меня!

— Я хочу, чтобы ты объяснила мне, почему ты считаешь моего деда Людоедом?

— Юлий, я прошу тебя: при чем здесь это? Это древняя тема, седая история. Это не про нас.

— Нет, это про нас. Здесь есть связь. Ответь, пожалуйста.

— Зачем так издалека? Прямо как робкий мальчишка или занудный старик. Хочешь спросить про полковника Василия…

— Мне наплевать на твоего Василия. Он чином не вышел. Мелкота. Куда более меня интересует мой дед.

— Хорошо, я отвечу. Твой дед получил звание заслуженного Людоеда потому, что загубил тысячи, десятки тысяч душ ради этой чертовой победы.

— Этому тебя праведница-мама научила?

— Да, мама. Именно в ее романе выведен образ Людоеда. И не мама виновата в том, что по кровавым повадкам узнали твоего деда. Видимо, похож. Отец мамы, как тебе хорошо известно, десять лет протрубил в лагерях за мифическую измену родине. А потом был расстрелян. У нас дома висит только портрет твоего деда; а где же мой дед? Чем он хуже? Ах, он струсил, попал в окружение в Брянских лесах и болотах? Так он попал в окружение и испытал все прелести ада по милости Людоеда, Великого и Ужасного Маршала. Твоего деда. Где доказательства, что мой дед переметнулся на сторону врага? Показания свидетелей, впоследствии также расстрелянных? Не смешите меня. И не судите других, если не призваны. Ты хочешь услышать от меня спасибо Маршалу, спасшему страну от коричневой чумы? Но Людоедов не благодарят.

— Да, мне хорошо известна эта темная история с твоим толерантным дедушкой. Любите вы наводить тень на плетень: то ли он предал свою страну, то ли начальство его предало… Скажи, а ты считаешь свою маму талантливой писательницей?

— Нет, талантом она обделена.

— Рад это слышать. Таланта у нее нет, но книжка про Людоеда хорошая. Я правильно понял?

— Она обделена талантом, но не душой! Она хороший человек! Она всем помогает и никому не сделала зла. Тебе это тоже отлично известно. И пишет она только о хорошем, добром и вечном.

— Бездарный писатель — это гораздо хуже, чем хороший полководец. Быть бездарным писателем — значит врать на каждом шагу, себе и другим. Называть черное — белым, мелкое — великим, высокое — низким. Быть бездарным писателем — это преступление против человечества, преступление, на которое не распространяется срок давности. Бремя власти и ответственности согнуло моего деда и свело его в могилу. А вот твоя бодрая маман все прыгает и стрекочет, как сорока, она не понимает, что писатель — это ответственность, великий писатель — великая ответственность. Бездарный писатель — это плохой человек, а плохой человек не может писать о хорошем. Он это хорошее просто в упор не замечает. Не понимаю, от кого она открещивается своими иконами? У меня такое впечатление, что от себя самой. Полагаю, в этом месте тебе следовало бы обидеться за маму.

— Я не позволю плохо говорить о своей матери! Твоя ирония также неуместна!

— Это правильно. Совершенно справедливо. Я не уважаю твою мать, что и было гарантией стабильности наших семейных отношений; но если бы ты отказалась от нее, я перестал бы уважать тебя. Я вовсе не питаю иллюзий по поводу своего деда, он был невыносим своей категоричностью; но я перестану уважать себя, если позволю в него плевать.

— Вот и оставим мою мать в покое.

— Нет, не оставим. Почему ты боишься быть справедливой к своей матери?

— А почему ты боишься быть справедливым к своему деду?

— Неправда. Я к нему справедлив. До несправедливости справедлив. Ты хочешь сказать, что Павел Илларионович был бесчувственным карьеристом? Если бы это было так, то ты права. В этом случае он Людоед и плохой человек, который прятался за спины других. А если у него просто не было иного выхода? Тогда жертвы, к сожалению, входят в понятие цена победы. Он сознательно брал грех на душу. Был патриотом. Хотел как лучше. В таком случае, он был не таким уж плохим человеком. По крайней мере, не Людоедом. Поедом он ел только себя. И его можно понять. И простить, даже если он был виноват. Даже если без вины виноват. А вот почему ты боишься быть справедливой к своей матери? Уж не себя ли ты боишься?

— Хорошо. Он не Людоед. Я погорячилась. Ты этого от меня хочешь? Пожалуйста. И это все, что мешает нам понять друг друга?

— Нет, не все. И хочу я от тебя не этого. Я хочу, чтобы твой дед, если он понимает, о чем я говорю, пожал руку моему деду.

— Ты с ума сошел! Да они давно покойники. И мир их праху. Зачем тревожить тени предков?

— Но ты ведь жива. И я жив. И Дашка. Поэтому наберись мужества — пойди и повесь портрет своего деда. Если он этого достоин. Рядом с Маршалом. Или напротив. Как посчитаешь нужным. В противном случае тебе придется сказать Дашке всю правду. Рано или поздно. Или об этом позабочусь я.

— Я не знаю. Я не знаю, чего достоин мой дед. И не тебе судить, хороший он был человек или плохой. Я только знаю, что моя мама любила и продолжает любить его. И я знаю, что любовь — это чувство священное.

— Любовь к папе дает основание твоей маме называть честного Маршала Советского Союза Людоедом?

— Я не знаю! Что ты все выворачиваешь корнями к небу! Я не вправе судить родителей и вообще своих предков. Они жили, как могли. Как получалось. Не судите, да не судимы будете.

— Очень удобная позиция. Я не сужу, и вы меня, будьте так любезны, не судите. Рука руку моет. Это всемирный заговор плутов и слабаков. Библейского масштаба покрывательство.

Юлий Илларионович вышагивал по комнате, словно готовясь не к завершению разговора, а к решающему штурму. Юлия испытала острый приступ ненависти, глядя на его слегка сутуловатую спину, уверенную поступь. Действительно, в повадке было что-то волчье. Наводящее страх. Она ни секунды не сомневалась: Людоед в портупее вот так же, от стены к стене, мерил шагами свой теплый прокуренный кабинет, уже хладнокровно приняв решение бросить беззащитных бойцов в брянских топях.

В этот момент Василий показался Юле непонятым, безвинно пострадавшим героем, достоинства которого не в состоянии были оценить узко мыслящие, и ей стало неловко за свое минутное умопомрачение, которое показалось ей прозрением.

Ей стало неловко за то, что она так легко предала Василия.

4

Юлий тем временем настойчиво что-то предлагал:

— А теперь ответь мне: что отличает хорошего человека от плохого?

— На этот вопрос невозможно ответить. Ты прекрасно знаешь это, поэтому задаешь этот дурацкий вопрос.

— Напротив, на этот вопрос ответить очень легко. Только вот жить с ответом тяжело.

— Вот ты и ответь, раз такой умный.

— Изволь. Хорошего человека от плохого отличает наличие ума.

— И все?

— И все. Хороший человек и глупость — две вещи несовместные.

— Юлик, я считала тебя умнее! При чем здесь ум? Хороший — умный, плохой — дурак? Ни в жизнь не соглашусь. В последнюю очередь ум делает нас лучше или хуже.

— А в первую очередь?

— Душа. Воспитание, благие намерения! Вера, наконец. Надежда. Не ум! При чем здесь какой-то ум? Разве мало на свете умных негодяев?

— Это ты из глупых романов своей матушки набралась? Чувства мы испытываем приблизительно одни и те же; и верим, и надеемся, как по команде; под венцом пускаем светлую слезу, над гробом — черную; мы даже поступки совершаем похожие. Но одни из нас достойны называться хорошими людьми, а другие — нет. Способность понимать — вот критерий. А умный негодяй — это все равно что живой труп. Оксюморон. Такого в природе не бывает. Увидишь — покажи мне. Это поэкзотичнее йети будет. Станешь автором антропологической сенсации в науке.

— Мы ничего не знаем о людях. Ничего! Мы — тайна, даже для самих себя! Почему вдруг любовь уходит? А потом ты жалеешь об этом. А потом не знаешь, стоит ли жалеть? Почему? Что такое предательство? Неизвестно. Мы не знаем, почему бывает так, что кто-то становится маньяком, а кто-то — героем. А маньяки и герои могут быть из одной семьи, рожденными от одних и тех же родителей. Их одинаково воспитывают. Как все это объяснить? Нет, мир и человек необъяснимы. Я не верю, что они объяснимы.

— Про героев и маньяков из одной семьи — это ты о себе и своем брате?

— Перестать сыпать соль на рану. Или ты считаешь глумление над семейной трагедией привилегией умного человека? По-моему, это непорядочно.

— Если ты не веришь сама себе, если ты боишься человека, если ты не понимаешь, как надо воспитывать, не веришь в воспитание, зачем ты рожала Дашку? Зачем ты швырнула ее в этот мрак и ужас под названием мир божий? Как ты собираешься ее воспитывать? Как бог на душу положит? Вооружившись верой в лучшее? Надеясь на чудо?

— Я собираюсь ее любить!

— А разве твоя мать не любила сыночка-подонка?

— Перестань! По-твоему, только умные имеют право рожать и воспитывать детей?

— По-моему — да. Хорошие. Иначе постоянно будете воспроизводить маньяков, трусов, предателей и бездарей. От большой, но чистой любви! Как же вы меня, сердобольные, достали! Все у вас во имя любви, все преступления во имя веры! Никак не можете усвоить, что именно слепая, глупая любовь делает отцов и детей чужими. Любовь идиотов — мать ненависти.

— Юпитер, ты сердишься, следовательно, ты не прав…

— Вот-вот, умеете только цитировать, прикрываться фразами, не вникая в их смысл. Память хорошая, а ума нет. Для вас история культуры — пустой цитатник. Нет, не дождетесь, судьбоносных решений во гневе не принимаем. Но ненавидим с чувством, с толком, с расстановкой.

— Цитата не точная.

— Зато в ней есть смысл. Попробуй вдуматься.

— Ты хочешь сказать, что ты не отдашь мне Дашку?! Так и скажи. А то все ходишь вокруг да около. Правдолюбец. Гуманист!

Юлий вновь взял паузу. Он долго ходил по комнате, держа руки за спиной, и думал о чем-то своем. Он выпрямился и подтянулся, в осанке появилось больше стойкости и несгибаемости, но, как ни странно, теперь он больше напоминал заключенного, нежели лютого Маршала.

И Юлия вдруг чуткими фибрами сделала вывод: чем умнее и сильнее мужчина, тем более уязвимыми у него становятся слабые места. А уж ахиллесова зона мужа ей была известна давно: ум и порядочность — то, что делает его сильным.

И Юлия успокоилась. Пауза продолжалась, но теперь ее контролировала неверная жена. Она же и решила, когда продолжать прерванный разговор.

— Ты помнишь, как мы с тобой познакомились?

— Скорее всего, ты лучше это помнишь. Скажи мне честно: ты меня любишь?

— Не знаю…

— Ответ убедительный. Браво.

— А ты меня любишь?

— Честно?

— Не знаю...

— Ты боишься не только честных вопросов, но и честных ответов.

— Я боюсь жизни без веры. И без любви. Не разрушай мою жизнь.

— Ты боишься посмотреть правде в глаза. И прикрываешься пустыми словами. Цитируешь маму.

— Юлик, не забывай: я все еще живая. И мне больно.

— Ладно. Из уважения к тебе, к нашему прошлому и моему будущему отвечу честно. Я не люблю тебя, нет; но я все еще не утратил желания тебя любить, хотя ты меньше всего на свете достойна любви. И я не прощу тебе предательства. Вряд ли ты поймешь, но я считаю так: если я прощу предательство, то ты должна быть первая, кто перестанет меня уважать. Простить предательство — это в стиле a la Василий закрыть глаза на проблему, сделать вид, что все само собой рассосалось. Было — и сплыло. Все само собой уладилось и устроилось. Безо

всяких душевных затрат. Это малодушие, чтобы не сказать бездушие или равнодушие. Простить можно временную глупость. Ослепление. Вспышку страстей, если угодно. Да и то лишь в том случае, если провинившийся хоть немного был жертвой. Когда человек поумнел, стал лучше, загладил вину — проехали и забыли. Хотя и тут сердцу не прикажешь. Может, проехали, а может, и заноза на всю жизнь. Умом любовь не лечится, хотя без ума погибает. Что касается тебя, то ты мало похожа на жертву обстоятельств; скорее ты жертва своего эгоизма. Вот была, была милой, белой и пушистой, а потом вдруг перестала скрывать нутро. Была добрым зайчиком, да обернулась злым волком. А кто ты на самом деле? Я испытываю к твоей двойственной сущности противоречивые чувства, извини за выражение. Но сейчас, на этом этапе, я вынужден желать тебе, матери своей дочери, всего наилучшего; я одновременно презираю тебя и злюсь на тебя. Возможно, так любовь к тебе покидает мое сердце. Не знаю. Ты думаешь, я все понимаю? Да я запутался не меньше твоего. Но я знаю, где выход и как его искать. Я не слепой — просто вокруг меня сейчас темнота. И я иду в ту сторону, где рано или поздно появится свет в конце тоннеля. А вот ты слепа, как темень болотная… Ты не столько думаешь, сколько выгораживаешь себя. Думаешь только о себе. Швыряешься цветами. То есть, опять же, — не думаешь. Дашка не только твоя дочь, но и моя. А ты об этом ничего еще не сказала. Сейчас, на этом этапе, ты, именно ты, хранительница очага, делаешь нас всех чужими. Кроме всеразрушающей любви и страха перед жизнью, у тебя ничего за душой. Таких добрых самаритян, как ты, надо хорошенько время от времени тыкать рыжей мордой в стену. Или в линолеум. Чтобы устраивать сотрясение мозга, если он в вашем сером веществе присутствует как таковой.

В словах Юлия звучали не только обида со слабостью, но и отчаяние, разбавленное силой. При желании Юлия могла бы и обидеться.

Но она из чувства самосохранения поддалась иному, более сложному переживанию.

— Ты решил меня добить?

— Я решил выяснить с тобой отношения. Люди должны строить отношения, холить их и лелеять. Время от времени — капитальный ремонт: выяснение отношений. Мы жили с тобой, но на чем держался наш союз, было неизвестно. Мы просто жили-были. Это так унизительно: любить достойных презрения, неизвестно за что — прощать, хотеть как лучше, не давая себе труда подумать при этом. Как приятно добрым быть. Белым и пушистым. Сам на лавку, хвост под лавку. Тьфу на это сказочное бытие! Как только начинаешь понимать, включаются совсем иные, умные чувства. Человек в меру своих возможностей становится хорошим. И это закон жизни.

— Я ничего не понимаю, я запуталась. Просто скажи мне: как мы будем жить?

— Лично я собираюсь жить, как хороший человек. Вот ты считаешь себя хорошим человеком?

— Я не знаю… Я ни в чем не уверена. Как можно сказать о себе такое — я есть хороший человек? Это самоуверенность. Гордыня. Грех.

— Ладно. В таком случае назови вещи своими именами — скажи, что ты плохой человек. Стерва.

— Я не могу сказать о себе такое. Я не хуже, чем все остальные. И вообще… Человеку нельзя говорить, что он плохой. Нельзя ставить на нем крест.

— Назвать плохого плохим — самое богоугодное на свете дело. А крест на нем ставлю не я — ставит он сам. Или его мама.

— Какое тебе дело до того, хорошая я или плохая? Ты мне — кто? Судья? Муж?

— Я? Можно сказать, биологический отец твоей дочери. А по сути, просто прохожий. Я тебе как-то приснился по весне. А потом тебе приснился Василий. Имей в виду: плохая ты мне не нужна. Без раскаяния, то есть, без осознания своей вины, ко мне не подходи. При этом молитвы не в счет. Не торопись замаливать грехи, а то успеешь. Оставь это богоспасаемое занятие в утешение своей матери, бездарной, но такой добросердечной. Вот ей точно все простится. Ибо она не ведала, что творила… Как с гуся вода. Ну, что за люди эти пернатые! Скажи, почему она называла тебя «моя Жемчужина Лотоса»?

— Потому что любила меня. Лотос был ее любимым цветком. Ничего инфернального, как видишь.

— Знаешь, что такое эффект лотоса в вашем случае? Это когда к человеку не пристает ничто человеческое: ни хорошее, ни плохое. Как с гуся вода. Добро и зло приемли равнодушно. Почему к вашей семейке не липнет ничто хорошее? Да потому, что вы жуткие эгоисты. Вы равнодушны ко всему на свете, кроме самих себя. Вот почему на вашем семейном гербе красуется лотос. Не любовь, верность, патриотизм, о, нет. Лотос. Вещь в себе. Чистая красота. Не судите, да не судимы будете. Но вы не учли одного: если не пристает добро — липнет зло. Равнодушие — форма зла. Вот почему вы маскируетесь под страстотерпцев-праведников, для вас иконы, вера, любовь, милосердие, дети, родители — всего лишь самый эффективный камуфляж. Вы растете из болотной грязи, а делаете вид, что непорочны, как перл, как слезинка Дашки. Вот кто ты на самом деле — Лотос. Твоя мать была права. Понимаешь, к чему я?

— Нет.

— Маршал правильно сделал, что расстрелял твоего деда. Такое, лотосиное отношение к жизни надо изводить на корню, — вкладываясь в каждое слово, отчеканил Юлий.

И это прозвучало как приговор, обжалованию не подлежащий.

— Ладно. Ты меня ненавидишь. Я тебе изменила, я плохая… Но как же Дашка, мой Цветок? Моя Жемчужина? Ее тоже — под корень?

— Дура ты. Для тебя все в этой жизни материал. И я. И Дашка. И Василий. И твоя мать. И дед. Все, все брошено на священный алтарь эгоизма.

— У моей дочери должна быть любящая мать! И любящий отец!

— Разумно любящие родители, ты хотела сказать?

— Я не знаю… Просто любящие. Разве так не бывает?

— Не бывает. Просто любовь — это ни к чему не обязывающее равнодушие. Человек человеку — лотос. Вот ваша болотная философия.

— Так ты хочешь сказать, что не отдашь мне Дашку?! Это я тебе ее не отдам. Ты сам сказал, что запутался. Так вот я все распутаю и расставлю по своим местам.

Теперь Юлия прекрасно знала, что она будет делать. С ее души, как с гуся вода, как утренние росинки с лотоса, сбежали последние капли иллюзий. И она предстала миру свежей, омытой, готовой к битве с чарами ума.

И Юлий знал, чего следует ожидать в ближайшем будущем. Он тоже расстался с иллюзиями, приобретя взамен горькое знание. Лотос, болотный сорняк, произрастал в потемках души. И бороться с ним было делом безнадежным. Хотя и необходимым.

Глаза у Юлии загорелись бело-холодным блеском, а у Юлия в ответ сжалось сердце.

«Не дав слова, держись, а дав слово, крепись», — подумал он.

И в ответ ему послышался голос дочери (круглые глаза — две серые жемчужины, как он раньше этого не замечал! — честно распахнуты, можно не сомневаться):

— Папа, ты не будешь плохим; ты будешь просто чужим.



АНДРЕЙ СКОРИНКИН

Я с песней один выходил на дорогу

Осенний сонет

Если в эту унылую пору
Ты не скажешь ни слова, поэт,
Это значит — тебя уже нет,
Ты подвергся духовному мору.

Посмотри на мерцанье комет,
На луну, что вздымается в гору,
На холодный туманный рассвет,
Что грустит по небесному хору.

Посмотри на озера, пруды,
Что скрывают глубокие тайны,
На деревья, траву и кусты,

Что покрыты росою хрустальной…
Увядает природа, но ты
Расцвети хризантемой прощальной!

Благодарность

Михаилу Лермонтову

Во мраке и смраде больничных палат
Ты был со мной рядом, товарищ и брат!

Ты был со мной рядом и словом и духом,
Не дав разгуляться убийственным мукам.

Но были мгновенья, когда уж без сил
Я тенью над огненным телом парил,

Теряя сознанье, очей лучезарность…
За все выражая Творцу благодарность,

Я ждал с нетерпением скорый конец,
Чтоб сбросить навеки терновый венец…

Когда же слеза облегченья катилась,
Душа моя вместе с твоею молилась!..

И, выстояв в зверском, кровавом бою,
В прожженную плоть возвращалась свою!

Достойно ответив зловещему року,
Я с песней один выходил на дорогу…

За стены держась, я с тобой говорил,
Дублируя говор небесных светил…

* * *

Из хаоса, где все берет начало,
Наперекор трагической судьбе,
Меня стихия жизни воссоздала,
И вот я вновь готов служить тебе!

Пока я не рассыпался на части,
Пока в груди пылает столп огня,
Дай руку мне, вернем былое счастье!
Или уже забыла ты меня?

Я так хочу быть рядом, дорогая!
Пока я снова в пыль не превращен,
Дай руку мне! Ты помнишь звуки рая?..
Дай руку мне! Проходит чудный сон...

Вальс космонавта

Расцветали сады,
  загорались созвездья сиреней,
Сосны свечи свои
  зажигали у окон моих,
Золотились цветы,
  и сверчки в свежескошенном сене
Заглушали легко
  самый громкий искусственный стих!..

Только я был не здесь,
  я парил далеко от планеты...
А когда приземлился —
  увидел с печалью в глазах:
Поседели цветы,
  отпылали сиреней кометы,
Отдымились сады,
  и тоска у сверчков в голосах...

Забытый кумир

Обласканного некогда страной
Сегодня не желают замечать…
Ты, как онкологический больной,
Домой отправлен тихо умирать…

Судьба жестока, но твои следы
Останутся в искусстве навсегда!
Срываются и звезды с высоты…
Считай, что ты потухшая звезда!

Не паникуй, не будь горяч и зол
На жаждущих тебя похоронить —
Сумей красиво царственный престол
В урочный час другому уступить...

* * *

Мне часто становится жутко
Пред тем, что нас ждет впереди.
Страшат не пустоты желудка —
Пугает безверье в груди.

Нет в церкви для Господа места,
Хотя говорим о Христе...
Так прячет пороки невеста
В своей белоснежной фате...

Космический романс

Комета ты моя, куда же ты пропала?
Мы были так близки!.. Но снова разошлись...
О, хоть бы ты один свой лучик потеряла,
Чтоб дать мне повод взмыть в заоблачную высь!..

Я ждал тебя века, как славу ждут пииты...
И вот ты предо мной промчалась в никуда...
Ах, почему же я не смог сойти с орбиты
И улететь с тобой в безвестность, навсегда?..

Что делать мне теперь на сумрачной планете?
За миг твоей любви я жизнь готов отдать!..
Но если больше нет тебя на белом свете,
Сойди же на меня, как дух, как благодать!..

* * *

Я думал, милая, что я наперсник твой,
Но оказалось — все гораздо хуже:
Ты стала мне возлюбленной женой,
А я вдруг стал тебе желанным мужем…

Оковы рухнули! Как чуден этот миг —
Лететь вдвоем на крыльях сладострастья!..
Я долго тлел в костре ненужных книг
И заслужил сгореть с тобой от счастья!..

Признание

Когда певцам грозили казни,
Но процветали холуи,
Без тени страха и боязни
Ты пел не только о любви…

Творя во время роковое,
Ты состоялся как пиит,
Умея прославлять героев
И нечисть выставлять на вид!..

Эпитафия

Марии Луцевич

Солнце светит ярче с каждым днем!
Разбежались тучи снеговые!
Ожил мир!.. Но нам нет места в нем —
Наше место заняли другие…

Это солнце не для нас с тобой:
Ты лежишь в могиле, я в палате…
Сломленные заживо судьбой,
В этом мире мы уже некстати.

И хоть дух твой веет над землей,
И за мною тень еще влачится, —
Скоро мир, нам некогда родной,
Навсегда от нас освободится…

* * *

Сгустилась тьма над нашим краем,
В душе тревога и печаль...
Летят, летят людские стаи
За счастьем в призрачную даль...

Лишь я один, как месяц тощий,
Не покидаю край родной,
Хожу по голым веткам рощи
И озаряю мир ночной!

Мне не нужны чужие страны,
Я об одном молюсь в слезах:
Скорей бы день настал желанный,
Чтоб раствориться в небесах!..

Монумент

Exegi monumentum…
Horatius[*]

Я создал монумент себе чудесный,
Его не сокрушат ни время, ни вандал.
Он тверже мрамора, он крепче, чем металл,
Он выше всякой башни поднебесной!

Погибель не страшна. Оплакав храм телесный,
Я в духе перейду в начало всех начал!..
И долго на Земле не стихнет битв накал
Вокруг моей судьбы, великой, но безвестной…

Слух обо мне пройдет по всей вселенной —
Через журналы, книги, интернет.
Через людей, с которыми поэт

В смертельный зной делился Иппокреной,
Когда, объятый мраком, белый свет
Порабощался огненной геенной…

*Я создал монумент…
Гораций (лат.).



ЮЛИЯ ЗАРЕЦКАЯ

Рассказы

Из цикла «Дуниловичские были»[1]

Летчик

Бывалые люди говорят: нет в жизни ни вечного горя, ни вечной радости. Дескать, вечным бывает ожидание беды, когда хоть и радуешься чему-то, но тем не менее подсознательно ждешь каких-нибудь горестей, зная, что сколько бы счастье ни длилось, оно все равно когда-то закончится. И вечным бывает ожидание радости, особенно когда, натерпевшись, живешь надеждами и чаяниями. Но такие ожидания присущи людям, немало пожившим на этом свете, кто много видел и хорошего, и плохого, и они, чтобы ни случалось, надеются на лучшее. А молодые и неопытные живут лишь предчувствием радости. Им кажется, что солнце всегда должно светить ясно, скиталец-ветер всегда будет теплым, а жизнь — вечной, светлой и радостной.

Лютик Казелька тоже думал, что вся жизнь его будет праздником. Невысокий, но стройный, с копною темных, едва не черных волос, парень жил весело. Не сказать, чтобы жизнь его слишком баловала или с неба ему ежедневно сыпались конфеты вперемежку с червонцами, но если ты молодой и здоровый, поводов для радости нужно не так и много.

Так вот, Лютик недавно окончил школу и даже успел поработать в колхозе, сидя за рулем трактора, но в поисках жизни полегче вдруг подался в лесничество. (Своего жилья он, конечно, пока не имел, поэтому жил, как и прежде, с родителями.) Теперь вместо руля или гаечного ключа новоиспеченный лесоруб держал в руках то тяжелый топор, то звонкую пилу и, переходя от одного дерева к другому, мечтал об иной работе, когда его руки будут держать что-то менее увесистое, хотя не знал точно что…

Его сильные руки знали, между прочим, и более приятное занятие, чем махать топором или шаркать пилою. Например, обнимать тонкие талии молодых девушек. А где, как не на танцах, такое возможно? Но еще лучше — на свадьбах.

Да, Лютик не пропускал, почитай, ни одних танцев в деревне, а уж как пропустить свадьбу?

Должна сказать, что этот молодой, веселый и неженатый парень необычайно легко получал приглашения: кто-то же должен был развлекать стайки девчат, одетых в свои лучшие наряды, тоже приглашенных на свадьбу. Тех девчат, что невероятно скучали, стоя на высоких каблучках и подпирая стены в ожидании галантных кавалеров. (А кавалеров, как известно, для настоящих красотуль всегда не хватает, хоть в маленькой деревушке, хоть в большом городе…)

[1] Дуниловичи — деревня в Поставском районе, родина автора.

На свадьбе Лютик обычно садился поближе к уважаемым старшим сватам (тем, главным, перевязанным рушниками, потому что сватами в этой местности зовут всех мужчин, что гуляют на свадьбе) и из-за стола вылезал только хорошо выпив и как следует закусив. Это пускай старый трус, пугливый сосед Талеосфер, садится с краю, чтобы, как он признался как-то захмелевшим языком, если, не дай бог, случится какая драка, «было сподручнее убегать с места событий». Руки же Лютика хорошо были знакомы и с этим занятием — драться он умел и еще ни разу не спрятался под печь, если начиналась настоящая мужская баталия местного значения. Свидетельством его бойцовской отваги был передний зуб, точнее, его отсутствие…

Повторюсь, что куда больше, чем махать топором или кулаками, Лютик любил танцевать. И не только из-за того, что танцевать — не работать, а потому, что его невероятно тянуло к музыке. Как только до его ушей долетали веселые мелодии, ноги сами начинали подскакивать.

Один раз Лютик, правда, чуть было не забыл о танцах… Первый свадебный вечер он усердно оттанцевал едва ли не до первых петухов и, вволю наухаживавшись за девчатами да наобнимавшись, уронил, наконец, голову на мягкую как пух подушку. Подремав несколько часов, Лютик подхватился, отряхнулся и почувствовал невыносимую жажду, одолевающую каждого мужчину наутро после доброго застолья. Да, жажда была нестерпимая. Лютик торопливо оделся, выскользнул из комнатки, где расторопная хозяйка постелила на ночь свату постель, и, всунув непослушные ноги в туфли, вышел во двор. Как оказалось, жажда навестила и других сватов, которые обступили теперь колодец, как хохлатки корытце с ячменем.

— Хлопцы, умираю! Пустите к колодцу! — закричал было Лютик, но его осадил толстый как колода сват, кажется, какой-то свояк молодой. На его когда-то белой (видно, еще вчера) рубашке имелось всего две пуговицы, но и те были не застегнуты, и поэтому сват бесстыдно сверкал на всю улицу «гарбузовым» пузом.

— Все умирают! В очередь!

Лютик вздохнул и пристроился за дородным сватом. Когда же, наконец, напился студеной воды, аж по шее бежали кристальные ручейки и прятались за пуговицами рубашки, Лютик закрыл глаза и удовлетворенно застонал…

— Иди, сват, закурим! — позвал его тот, что наводил порядок в очереди.

— Давай закурим, — отозвался весело. — Теперь это в самый раз.

Лютик примостился на широкой лавке, где сидели такие же, как он, водохлебы, и достал пачку папирос. Прикурив, со смаком затянулся…

— Ну ты, сват, вчера и танцевал! — засмеялся рядом молодой мужчина с галстуком на голой шее.

— Это я могу, — довольно проговорил Лютик. — В танцах я — первый спец. Я этими ногами… — начал рассказывать он и вдруг осекся.

Взгляд его остановился на собственных ногах.

— Что за лихо! — вскочил он как ужаленный. — Бляха-муха! Ай-яй-яй-яй! Я же вчера новые туфли обул — специально для свадьбы в шкафу прятал. И чтобы так за ночь истоптать!..

Туфли — в пыли, растоптанные, потрескавшиеся, имели вид, мягко говоря, неважный. Не то, что у соседа… Лютик невольно перевел взгляд на соседские туфли. Новенькие, модные, пускай себе и запылившиеся: проведешь тряпкой — заблестят, как блин на солнце! Он присмотрелся получше, затаил дыхание, чуть ли не пополам согнулся и вдруг вскочил:

— Это же мои туфли! Ей-богу, мои!

Сосед тем временем, приглядевшись к Лютиковым туфлям, тоже подхватился:

— А это мои!

— Ну-ка, скидывай!

Сваты сбросили с ног туфли, и каждый подобрал свои.

Мужчины, наблюдавшие за этим происшествием, не могли удержаться от хохота. Да и как было удержаться, глядя на взъерошенных и хмельных сватов, скакавших босиком по земле.

— Я, сват, ненароком, — оправдывался сосед Лютика по лавке. — Да и не ношу я таких, носатых.

— Сам знаю: когда нутро сушит, некогда разглядывать, — соглашался Лютик.

Он уже переобулся и теперь, реквизировав с забора какую-то цветистую тряпку, старательно натирал ею свои новенькие, фасонистые туфли. Карьере первого деревенского танцора больше ничто не угрожало…

Да, Лютик любил гулять на свадьбах. А вот сам жениться не спешил. Не возбуждали такое желание ни примеры счастливой семейной жизни жителей местечка, ни то, что даже вдовцы и вдовы находили свое счастье, ни даже Телюсь, который кроме законной, но болезненной жены имел еще и «запасную», о которой знала вся деревня.

Но все же и Лютику наконец пришлось задуматься о женитьбе. Хотя, честно говоря, он больше думал о том, как от нее отвертеться. Однако за все в этой жизни нужно отвечать. И эту сентенцию подтвердила Яня Грабацевич, встретившись с ним на узенькой деревенской улочке и недвусмысленно показывая на свой живот.

Невысокая, с блекло-голубыми глазами, тонкими губами, светлыми бровями, она сумела привлечь к себе завидного кавалера. Яне не приходилось перебирать парней да крутить перед ними носом, и когда на танцах Лютик задержал на ней взгляд, сердце девушки затрепетало. Во всем, что случилось позже, Лютик винил своего тогдашнего компаньона. Если бы они не сплелись с ним в тот вечер, как слепые из Анкуд, ничего бы не случилось. Но веселый и проказливый Бахус убедил его в том, что эта невысокая и не очень привлекательная девушка — первая красавица на деревне. И Лютик его послушался…

Наутро он, правда, о том забыл. Да и Бахус, что нашептывал на ухо любовные слова, куда-то исчез, как в воду канул. Осталась только невзрачная, светлобровая Яня, которая в скором времени узнала, каким обманчивым может быть счастье… Но история, что случилась майской звездной ночью, имела свое продолжение, да где — в чреве Яни!

Этого Лютик никак не ожидал. Он испугался. Франтоватый павлин превратился в зайца. А как поступает напуганный заяц? Конечно, пускается наутек. Лютик вмиг собрал свои нехитрые манатки и, не попрощавшись даже с родителями, покинул родной угол…

Деревня есть деревня. По мере того, как рос Янин живот, росли и сплетни. Деревня скоро разгадала, кто мог обнимать Яню майской звездной ночью, почему она не отвела сильных мужских рук и что из этого получилось… Неизвестным оставалось только одно — куда пропал Лютик?..

Тем временем жизнь шла своим чередом. И как ни старались разминуться Яня и Виктя, мать Лютика, но деревня, пускай себе и многолюдная, для таких маневров была очень тесной.

Правда, встретились они без свидетелей. Виктя, собрав фартук щавеля, тянулась домой, когда навстречу ей извилистой тропинкой, что огибала речку Заражанку, показалась Яня. Отворачиваться, прятаться или возвращаться назад было поздно — женщины увидели друг друга. Оставалось идти навстречу. Когда они сблизились, Яня соступила с тропинки в сторону.

— Яня, детка, прости, — остановилась Виктя, и в глазах ее заблестели слезы. — И меня, и Лютика, ведь я же мать его. Сколько дней и ночей думала, как подступиться к тебе, да так и не придумала, а тут вот само как-то получилось.

Яня слушала эту низенькую, сухонькую женщину, но глаз своих на нее не поднимала. Так и стояла, посматривая в сторону, на молоденькую калину, что закраснелась спелыми ягодами: казалось, дотронься до них легонько — лопнут, брызнут свежим, горьковатым соком… С беременностью девушка подурнела, раздалась вширь, лицо ее отекло, опухло. Яня избегала людей, и то, что столкнулась теперь неожиданно с той, которую хотела видеть едва ли не меньше всех, было очень неприятной неожиданностью.

— Куда же ты идешь с цветами? — заметила Виктя букет георгинов, который держала в руках девушка.

— На кладбище, — отозвалась Яня.

Виктя отчаянно взмахнула руками:

— Прости меня, Янечка, ляпаю лишь бы что!

Из фартука посыпался на землю щавель.

— Ай, нескладеха я старая! — растерянно проговорила женщина и, тяжело опустившись на одно колено, начала собирать щавель.

Яня присела рядом на корточки, положила на землю цветы, молча взялась помогать.

— Прости ты меня, Янечка, — поймала ее за руку Виктя. — Прости. И так ты жизнью не пестованная, обиженная: родители давно в сырой земельке в вечном покое лежат, не успели тебе хоть одну кровинку родную родить, а тут еще это…

Тонкие губы Яни задрожали, искривились, бледно-голубые глаза наполнились слезами.

— Не плачь, детка! — взмолилась Виктя. — Опять я, дура старая, лишь бы что ляпаю. Довольно ты наголосилась да наплакалась. Но доля у нас бабская такая...

— У кого какая, — выпрямилась Яня. — Пойду я.

— Подожди, Янечка! — попросила Виктя. Она попыталась подняться, но нога в колене затекла, будто омертвела, и женщина повалилась на бок. — Подожди, детка. Сейчас нога отойдет — пойдем.

Виктя стянула с плеч теплую кофту, сложила в несколько слоев, постелила рядом.

— Присядь, Янечка, хоть на минутку. Хочу тебе рассказать одну историю, про меня.

Яня послушалась, осторожно примостилась рядом.

— Я ж в своей жизни не только мед уполовником ела, — вздохнула женщина. — Всякое было. Ты же, поди, и не знаешь, как я Тытуса, мужа своего, домой возвращала? — вопросительно глянула она на девушку. — Лютику тогда четыре годика минуло, меньшему, Юзику, три было, а Казюне — шесть.

Жили мы тогда со свекровью, сильно болела она, считай, все время лежала. Поэтому, значит, нужно и есть ей подать, и пить, и постель перестелить, и помыть… Но я не жалуюсь: разве ее вина? Кто же болеть хочет? Да и добрая она была: хотя и жили мы вместе, а никогда в нашу жизнь не вмешивалась. И мальчишек старших, Казюню с Лютиком, помогала мне растить, пока не ослабла. Потому что как Юзик нашелся, она уже с постели не вставала.

Хозяйство у нас большое было: конь, корова, свиньи, птица… Хватало хлопот, словом…

— Тяжело было, — Яня в задумчивости покивала головой.

— Да, Янечка, тяжело, — охотно согласилась Виктя. — Так тяжело, что Тытус мой не выдержал, убежать задумал. На заработки. В то время многие ездили в неблизкий свет за длинным рублем. По крайней мере, вербовщики большие заработки людям обещали. Вот и Тытус мой соблазнился, задумал подзаработать. Но мне ни словечка не сказал, от чужих людей случайно узнала. «Ах ты, паскудник! — поднялась я. — На заработки он поедет! А я? А дети? А мать? А хозяйство? На кого ты их оставляешь? На меня. А у меня что, сто жил? Подумал ты, что мне делать? С кем горе горевать? Как я выживу?..»

Вообще я спокойной, тихой была, а тут враз переменилась. Велела детям, чтобы одевались, сама наспех собралась, и пошли мы на железнодорожную станцию, откуда поезд с завербованными мужчинами в чужие края должен был отправляться. Спешила, чтобы не опоздать, но рядом же дети малые… То Юзика, то Лютика на руки подхвачу, пронесу сколько… С горем пополам притопали мы в Рапаево, дошли до станции. Расспросила людей, где собирают мужчин, где записывают, и побежала туда. Отыскала дом, вошла, осмотрелась. Людей там не много толкалось, мало, можно сказать. Они, как увидели выводок мой, без очереди меня пропустили.

Зашла в кабинет, «день добрый» дала.

— У вас здесь, — спрашиваю, — люди завербованные отмечаются?

— Да, — подтверждает лысоватый мужчина, что за столом сидит, — здесь.

— А Тытус Казелька у вас в списках есть?

— А кто вы такая будете, чтобы я отвечал?

— Жена его! Поэтому говори быстрее, да не мешкай! Некогда мне здесь с тобой лясы точить.

— Ого, какая смелая! — улыбнулся лысоватый писарь и сунул нос в бумаги. — Да, есть такой — Тытус Казелька.

На меня как ушат воды вылили. Руки, ноги вмиг похолодели. Внутри все кипит, а на вид — хоть бы что.

— Спасибо, — говорю, — товарищ начальник, что посмотрели. Я же почему прибежала сюда аж из Дуниловичей — боялась с мужем разминуться. Он же, растяпа, дома торбы забыл. Так когда придет сюда отмечаться, скажите ему, что я их в коридоре оставила. Ждут его там три вализки… — и вышла из кабинета.

На деток не глядя, на крыльцо вышла. И — надо же, как совпало! — как раз Тытус шпарит. Увидел меня и сразу голову в плечи. А я с крыльца спустилась, на него даже не посмотрела и пошла.

Шла я, конечно, не спеша. Чтобы догнать успел. Уже, считай, последний дом миновала, когда слышу: «Стой, Виктя!» А я нарочно не останавливаюсь, еще быстрее иду. Да не вытерпела долго, оглянулась. Смотрю, а мой Тытус, красный как рак, распахнутый, вспотевший, прет на руках две «вализки», а третий сам топает, за штанину хватается. «Подожди, Виктя! Никуда я не поеду!»

«Конечно, не поедешь, — улыбнулась я сама себе. — Куда уж с тремя такими вализками…»

Виктя замолчала. Молчала и Яня.

— Ого, наговорила тебе мех и торбу, — вздохнула женщина. — Но всякое ведь случается, а жить — нужно.

— Жить нужно, — задумчиво проговорила Яня и покивала головою.

Виктя бережно, с оглядкой, считай, не дыша, приобняла ее за плечи.

— Нужно жить… — тихонько прошептала Яня.

…Девочка родилась, если можно так сказать, легко. «Пожалел Боженька сироту, — шептали бабьи языки, и даже не думали всезнающие деревенские кумушки злословить. — Смилостивился. Хоть в чем-то же должна благоприятность быть…»

И Виктя с Тытусом тешились, что внучка у них есть. На людях, конечно, в пляс не пускались, но дома, вдвоем, радостно переговаривались:

— Вот и наша кровинка теперь на белом свете будет!

— Нос — как у Лютика, ей-богу!

— Что ты ерунду говоришь? У него картошкой, а у нее, маленькой, — аккуратный, деликатный, как запонка…

И помогали Яне как могли, и по дому управляться, и копейкою, и добрым словом да советом… А что деревня? Поговорила-поговорила, да и перестала.

И все же недавно Витька, пьяный как цеп, кидался драться к Верте (одной из главных злых языков в местечке), которая болтала, будто Лютик стал летчиком. Тот Лютик, который только и умел обнимать девичьи талии, танцевать да искать легкой работы.

— Манькин сын Антон, что на Урале живет, встретил его где-то там. Еле узнал, говорит. Стал расспрашивать, что и как… Тот и сказал, что уехал из деревни, потому как надоело грязь ногами месить…

Тут Вертя не удержалась, чтобы не подпустить шпильку:

— А о том, что «бутузку» девке сделал да со страху стрекача задал, только пыль курилась, ни слова, проходимец, не сказал…

— Говорю тебе, баба, что из него летчик, как, сама знаешь, из чего — пуля. Учиться нужно на летчика. Это же не конем править! — стоял на своем Витька. — Знать нужно.

— Это я и без тебя знаю — умник такой нашелся! — не залюбила Вертя. — Так и выучился же. В жизни главное уметь танцевать, а остальному — горе научит…

Манька, как только почтальонка принесла ей письмо от сына с Урала, сразу же прочитала его, потом, усевшись у палисадника на скамеечке и нацепив на нос очки, еще два раза вслух, а затем побежала к дому Казельков. Двое стариков — и Виктя, и Тытус — как раз были дома. Держа в руках письмо, Манька все чисто им пересказала, да так, что каждое слово от зубов отскакивало. Но молчали Виктя с Тытусом. Подождав минуту ради приличия — она любила с людьми говорить, а не тишину слушать да молчать, как с немыми, — выскользнула за двери и побежала по деревне. Там ее нестерпимый зуд болтовни охотно поддержали уже известная читателю языкастая Вертя, соседка Янина, хромой Петрок да несколько других говорливых и легких на язык жителей местечка.

— Гляди ты… — первым нарушил тишину Петрок. — Летчик…

— Человеком стал… — согласно закивала головою Вертя.

А вскоре и родители получили от сына-беглеца долгожданное письмо. Лютик писал, что выучился на авиационного техника, работа хорошая, нравится, живет ничего себе, один… Просил прощения, что так не по-людски получилось тогда, четыре года тому, когда он, даже не попрощавшись с ними, дал деру. Объяснял, что молодой был, глупый, вот и испугался… Да назад уже ничего не вернешь…

Виктя с Тытусом после того письма позвали Яню к себе жить.

— Старая я уже стала, — говорила Виктя. — Тяжело мне к тебе через всю деревню бегать. Шла бы к нам жить — проще было бы… Помогали бы тебе, чем могли, пока силы есть…

— Спасибо, тетка Виктя, за приглашение, да не пойду я отсюда никуда. Не людских языков боюсь да обговоров — потрепались вдоволь, свыклась.

Но дом этот — родительский. Единственное, что мне от них осталось. Куда же я отсюда? А помощь… Вы и так мне с дядькой Тытусом столько помогали! Заботились, чтобы мы с доченькой и голодными не были, и чтобы одеть да обуть было что… Поэтому и зовет она вас бабой и дедом. Спасибо вам, но я здесь, в родительском доме, останусь… — Яня замолчала, а затем тихо спросила: — А обо мне он в письме спрашивал?

Даже твердое мужское сердце дрогнуло, и молчаливый Тытус напряженным, приглушенным голосом проговорил:

— Спрашивал… Писал, что совестно ему… Жалеет, что так все получилось…

Виктя с благодарностью взглянула на мужа: она бы так с ходу соврать не смогла. Да и лицо выдало бы — покраснела, небось, как свекла… Но Яня к их лицам не присматривалась. В задумчивости она опустила глаза и перебирала руками фартучек, на котором была вышита молоденькая калина, что закраснелась спелыми ягодами, казалось, дотронься до них легонько — лопнут, брызнут свежим, горьковатым соком… Поверила она или нет словам старого Тытуса, неизвестно. Но почитать письмо, где Лютик просит простить его провинность, не попросила. Может, догадывалась, что не было там таких слов, а может… С надеждой в сердце жить, известно, легче…

Но теперь каждый раз, когда Яня видела в небе темную точку, что стремительно по нему двигалась, оставляя после себя длинную, белую, как овечья шерсть, и будто созданную из недосягаемых пуховых облаков полосу, показывала на нее дочурке и говорила: «Смотри, это твой папка полетел!» И потом долго, пока серебристая полоса не развеивалась, задумчиво смотрела в небо…

Яня не разбиралась в тонкостях авиационного дела, поэтому не знала, что на самолетах Лютик не летает, что авиационные техники обучены другому. Если бы все работники со средним техническим образованием задумали сесть за штурвал самолета, что тогда было бы? Однако прозвище Летчик навек пристало к Тытусову сыну. Это уважаемое и почетное звание Лютик носил с гордостью, ибо даже авиационные техники в местечке никогда не рождались.

Лютик, Люциан Тытусович Казелька, жил один и думал о Яне не реже, чем она — о нем…

Соседи

Не иначе, тот черт, что не одну пару лаптей истоптал, чтобы свести этих людей вместе, был большой шутник и затейник... И если сказать, что Иван Шарневич и Юзюк Шафалович — разные люди, значит, ничего не сказать. Но чтобы так подгадать с соседством!..

Впрочем, сразу смеяться, тем более не зная их лично, вряд ли стоит, хотя бы потому, что и Иван, и Юзюк никаких внешних изъянов не имели: ни носа картошкой, ни больших ушей. Да и в душах их было все как следует. Хотя, конечно, кто из нас без греха? Но здесь было иное…

Чтобы описать Юзюка Шафаловича, нужно стать по крайней мере на скамью: только с такой высоты можно хорошо рассмотреть лицо. Вообще-то, ничего особенного вы не увидите: темно-голубые глаза, темные, до черноты, густые брови, прямой нос. Зато плечи его были широкие и могучие, а рост — около двух метров. Говорил Юзюк не спеша, с остановками. Характер у такого статного богатыря, впрочем, как и у всех, кто знает себе цену и

созерцает этот мир сверху, был спокойный. За одним исключением — если не злить попусту этого обычно рассудительного силача.

С сыном Васькой они были похожи как две капли воды. Васька был молод, нрав имел задиристый, а вид франтоватый. А вот Юзюкова жена, как нередко случается в подобных семейных парах, не доставала мужу и до плеча. (Это обстоятельство не помешало им сойтись и родить сына и дочь.) Дочка Альфреда, кстати, имела килограммов сто тридцать веса, хорошее здоровье и отцовский характер.

А теперь, если вы хотите рассмотреть Ивана Шарневича, которого звали обычно в деревне по фамилии, так слазьте со скамейки, потому как Иван небольшого, но в целом нормального для мужчины роста, худощавого телосложения. И очень горячего нрава.

Говорил он быстро и не любил, чтобы с ним спорили. И вряд ли вам удастся хорошо рассмотреть его облик: на месте этот человек не посидит и минуты, ей-богу.

Юзюк Шафалович обладал медвежьей силой. Когда работал в колхозе и крутил баранку тракторка ДТ-20, легко переставлял его, если забуксует, с бурой каши на сухое место.

Однажды, когда электрики заменяли старые столбы с проводами, что так нравились воробьям и воронам, остались бетонные пасынки, на которых столбы и держались. Вкопанные в землю на метр, а то и больше, они буквально вросли в землю — и электрики-ловкачи не захотели с ними возиться да оставили как есть, в собственность хозяев. Столбы шли вдоль улицы и подходили ко всем избам. Поэтому каждый хозяин имел на огороде личный электрический столб, а теперь — пасынок. Серый бетонный огрызок с железной начинкой внутри сиротливо, но настоятельно напоминал о себе: ага, я все-тки тут остался, будете меня обходить!

Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Неугомонный Шарневич, мастер на все руки, отличный плотник, с первого взгляда постановил, что долго здесь пасынок не простоит: пойдет под фундамент хозяйственной постройки. Посмотрел на пасынок за соседским забором: два лучше, чем один... Как раз из избы вышел Шафалович.

— Юзюк, тебе этот пасынок на огороде нужен? — крикнул Иван, пританцовывая от нетерпения.

— Нужен! — ухмыльнулся сосед. — Как собаке пятая лапа.

— Так отдай, братка, мне. Я для фундамента под сарайчик его употреблю.

— Бери, если осилишь, — хохотнул сосед.

А назавтра утром, еще впотьмах, хозяйственный Иван вышел во двор за косой и обо что-то сильно ударился ногой.

— А чтоб тебе!.. — И остановился как вкопанный.

Около стоговища лежал на земле и словно посмеивался над хозяином серый бетонный пасынок.

Стремглав он бросился на свой огород: стоит!.. А вот если посмотреть на огород соседа, глазу не за что зацепиться: пасынок исчез!

— Ну что, Иван! — грянул из сарая Юзюков бас, и оттуда с вилами в руках показался сам хозяин. — Делай свой фундамент!

— Ну, спасибо тебе, Юзюк. Только как ты...

— На плечах, — просто ответил тот.

Однако не слаб был и Иван Шарневич.

Однажды он всерьез взволновался. И было отчего: во время сенокоса у него сломалась коса! Тут, как у нас говорят, шутки в сторону!.. Бросился хозяин в местный «железный» магазин (так называли его потому, что там тор-

говали различным железным инструментом, необходимым в каждом пристойном хозяйстве — от гвоздей до молотилки) — нет косы! Сел на велосипед и помчался за восемь километров в поселок Рапаево. И там нет! Жди, говорит продавщица Зося, дебелая тетка, что любила красить губы очень красной помадой, — на следующей неделе обещали привезти.

Вернулся Шарневич домой. Что делать? Ну, конечно, другой человек слегка посерчал бы да и пошел одолживать косу у соседа или знакомого. Но совсем не таким человеком был Иван Шарневич, чтобы ходить по избам или ждать следующей недели! Даже не позавтракав (какая там, к черту, еда!), опять сел на велосипед и подался в... Вильню! Нужно сказать, что для кого-то Вильня, может, и неблизкий свет, но для местного люда была вполне досягаемой — каких-то сто с гаком километров! На коне можно обернуться за два дня. Однако Иван взнуздал совсем не коня, а велосипед. Хотя назвать велосипедом эту облупленную железяку, уезженную и, к тому же, без седла (вместо него был так-сяк приделан то ли мешочек, то ли подушечка, набитая соломой), можно было с большой натяжкой. Но представить, что придется сидеть три дня без косы, было вообще невозможно. И поздно вечером, считай, ночью, Иван, измученный и потный, но очень довольный, прикатил домой с косою! И если вы думаете, что он наконец позавтракал (или поужинал) да лег спать, то ошибаетесь. Он лишь попил из колодца студеной воды, вытер со лба пот и стал ладить-готовить косу к завтрашней косьбе. И только когда — для проверки — обкошена была трава возле бани, позволил себе отдохнуть...

Тем временем в избе его соседа происходили события нешуточные: Юзюк принимал гостей. Точнее, гостя — дорогого зятя. И хотя тот жил недалеко, в поселке Рапаево, но добрый тесть встречал доброго зятя всегда с радостью и — как положено: со шкваркой и чаркой. Манька, жена Юзюка и теща Петьки, приготовила и яичницу «в колено», и хрустящий огурчик, и колбаску, «пихануую пальцем», нарезала ладными кусками. Хозяйка, как и всякая разумная деревенская замужняя женщина, подав мужчинам на стол, оставила их одних и занялась своими, более срочными и важными делами. А мужчины тем временем занялись своими. Во время серьезного разговора зять неожиданно возразил тестю:

— Нет, Игнатович. Это вы не то сказали: не может рой через неделю дать новый рой! Видно, перепутали пчелиные домики — не рой там сидел, а старая семья, что с зимы вышла.

— Ты мне, хлопец, абы что не плети, — не согласился тесть. — У меня еще склероза нет. Говорю тебе: рой дал рой!

— Нет, — ухмыльнулся зять, — не то вы говорите. Перепутали домики — и все. Бывает...

— Бывает, что и у девки муж помирает, а у вдовы — живы! — рассердился Юзюк. — Говорю тебе, сморкач: рой дал рой.

— Чепуха! — отрезал зять и решительно опрокинул чарку. Но закусить копченкой Петька не успел.

Добрый тесть внезапно схватил за грудки доброго зятя и швырнул из-за щедро накрытого стола в двери. Стограммовики жалостливо зазвенели, сковорода с яичницей слетела на пол, а хозяин озадаченно смотрел на какие-то лохмотья, что оказались в его руках.

— А мой ты Петечка! А мой ты зятек! — тотчас заголосила теща. — Бедная моя доченька: такой молодой и остаться…

Не успела женщина прорыдать ключевое слово, как зять проворно вскочил.

Смеяться над чужим горем, читатель знает, нельзя. Как говорят, опять же, припоминая вдову: не смейся, девка, вдове, придет лихо и тебе, но ей-богу, удержаться было невозможно. Глупый смех вытеснил из души Юзюка испуг.

Петька, который мужественно, но некрепко держался на ногах, выглядел не очень презентабельно: на его запястьях и на шее светлели манжеты с воротником, а остальное тело было бесстыдно выставлено на всеобщее обозрение.

— Прости, сынок, — попросил Юзюк после того, как глупый смех уступил место рассудку. — Не знаю, какая муха меня укусила…

— Не иначе, как осенняя, — не выдержала Маня и уколола: — Слишком кусачие они: корова не устоит, когда дою!..

Достался Юзюку от отца клад. Конечно, какому-нибудь Рокфеллеру десяток золотых монет показались бы сущей мелочью, но для крестьянина это настоящее богатство. Сын Васька давно придумал, на что истратить эти деньги: во-первых, он купит себе костюм из лавсана или кримплена, да нейлоновую рубашку, да галстук и шляпу. Во-вторых, хорошие часы. В-третьих, мотоцикл «Ява». В-четвертых, «Спидолу», модный транзисторный приемник. В-пятых… Да мало ли что понадобится молодому человеку в этой короткой, как летняя ночь (едва сомкнул глаза и задремал, как уже зарозовелось небо на востоке), жизни?..

Но отец словно читал мысли сына, и его это тревожило. На лицо набегали не просто облачка: лоб бороздили черные тучи. Юзюк не разделял прожектов сына пощеголять перед миром. Поэтому к каким хитромудрым уловкам и ухищрениям ни прибегал сын-шалапут, какие ловушки ни выстраивал, старый лис легко обходил их, и о том, где спрятан клад, Васька знал не больше, чем о количестве звезд на небе.

Время шло — у отца прибавлялось седины… Крестьянская душа не могла смириться с тем, чтобы богатство бросили на ветер, износили, истратили попусту, прогуляли, извели…

Юзюк привык беречь, дорожить своим достоянием. Лежали червонцы столько лет — пускай бы и еще сто лет лежали. Зачем же тратить?..

Сын уже и не спрашивал. Отец и не вспоминал. Вероятно, предполагал сказать о своем тайнике перед смертью. А в скором времени неожиданно, как это бывает почти всегда, где-то в небе догорела и погасла свечка Юзюка Шафаловича.

На следующий день после похорон Васька под плач и причитания матери разобрал в избе печь, на которой, кстати, и вырос. Перебрал каждый кирпичик, а червонцев не нашел.

Прошло время… Умерла мать. На могиле отца вырос молодой клен — и Васька решил продать избу: в этом местечке своего счастья он так и не нашел. «Уеду из этого болота. Хоть мир повидаю», — говорил он своим приятелям, и глаза его туманились несбывшимися мечтами. Но продавать избу лишь бы кому, пришлому, не местному человеку, какому-нибудь шалопаю, сын Юзюка не хотел: память о родителях. И поэтому как смола прицепился к соседу: купи! Иван Шарневич уже носил в своих волосах снег, спина его слегка сгорбилась, но порывистость имел ту же, хотя движения как будто замедлились. И так, и этак прикидывал Иван в мыслях такое возможное приобретение. Дети устроены, давно имеют свое жилье, внукам вряд ли захочется жить в деревне, пускай себе и многолюдной, что уж говорить о правнуках… Но кто знает, что подарит или отнимет у тебя, не спрашивая, новый, следующий день? Всякое случается в жизни, и, несколько дней побыв в нерешительности, Иван

заплатил Ваське пять тысяч «советских» рублей и предупредил: «Ты, Васька, смотри. Ежели что какое, ежели надоест шляться по миру, так возвращайся смело. Все-таки пуп твой тут закопан, и дом — родительский. Слышишь, хлопец? Лишь бы захотел — и будет изба снова твоей».

«Спасибо, дядька Иван, и прощай!» — ответил Васька, и где-то в уголках его темно-голубых глаз показались (или это только привиделось старому Шафаловичу) слезы…

С избою Иван ничего делать не собирался — пускай стоит себе до поры. Так, где нужно, подремонтирует, конечно. Но вот шкаф, который так не к месту стоял в избе недалеко от порога, Иван решил передвинуть. И тут заметил, что одна ножка, та, что ближе к дощатой стене — «хромая». Видно, подгнила, и Юзюк подложил под нее какой-то брусочек. Иван вытащил его — «брусочек» оказался металлической жестянкой, на которой, хоть и с трудом, можно было прочитать: «Гуталин». «Какой-то тяжелый у тебя, сосед, гуталин», — подумал Иван, взвешивая в руке «шайбу», и хотел было положить ее в карман, как мелькнула внезапная догадка. Он был так уверен в своем предположении, что мог бы и не открывать эту жестянку — ее содержимое как будто лежало на его мозолистой ладони.

Да, это был клад: десять золотых червонцев горделиво блестели в надежном сейфе и ждали своего владельца.

Старый Иван закрыл жестянку и подвинул ее на место, под «хромую» ножку шкафа. «Жди Ваську», — вздохнул он и вышел из избы. Небольшая баночка, которую когда-то держал в своих руках сосед, должна была дождаться сына соседа, рослого, здорового как дуб Васьки Шафаловича…

Перевод с белорусского автора.





СЕРГЕЙ ДАВИДОВИЧ

Приют для страждущей души

Луч старины

Грустно вьется тропинка,
узка и мала,
То под горку бежит,
то в низинке петляет.
Вот была — и не стало,
вот вновь ожила —
Вместе с ней наше прошлое исчезает.

А когда-то тропинка дорогой была,
Пусть себе и не бойкой,
но все же «в законе».
Тут и песни звучали,
беседа велась,
И гармошка играла,
и цокали кони.

Дождь ли, холод, жара,
осень или весна —
Песни, смех тут звучали всегда,
не стихая.
Столько лет беззаветно служила она,
Безответно селения соединяя.

По волшебной дороге пройди не спеша,
Тут небес чистота,
тут земли непорочность.
У дороги такой существует душа!
Существует душа — это знаю я точно!

Исчезают они,
отошли в никуда,
Наших предков дороги,
величье былого.
Мы давно не живем — прожигаем года.
Нынче мчит нас — куда? — безоглядно дорога.

Автобаны гудят —
    аж гудит в голове,
Вид земли из окна от тоски не спасает…
Только где-то тоскует тропинка в траве,
Словно луч старины,
    что навек угасает.

Приют для страждущей души

Дорога за спиной осталась,
Не чувствую ни плеч, ни ног.
Как бы не я — моя усталость
Шаг сделала через порог.

Усталость и души, и тела…
Присел у печки, у огня.
Стропило сверху заскрипело,
Как бы приветствуя меня.

— Сынок, глаза все проглядела!.. —
Сказала б раньше мама мне.
Теперь в избе осиротелой
Лишь Матерь Божья на стене.

Надежда не теряет веры,
И я, один в ночной тиши,
Не запер за защелку двери —
Приют для страждущей души.

А вдруг кому-то он поможет
Не сдаться, вновь набраться сил…
Ночь, беспросветность, бездорожье
И скрип встревоженных стропил.

Бабье лето

Придумать лучшее природе невозможно.
Вновь лето? Здорово! Спасибо ей за это!
И небо синее смотрело осторожно,
Как среди осени вставало бабье лето.

И лес мечтал — он никогда не сбросит
Убор свой, золотистый и красивый.
И собирала паутинки осень,
И в солнечное кросно уносила.

Короткий полдень лаской землю полнил,
Надеждами дышало поднебесье.

Лишь журавлиный плач мне вдруг напомнил,
Что это осень — холодов предвестье.

Орган стихий

И вновь заплакал дождь…
По доле чьей?
Примета есть — и все ж
Не верю ей.

А ветер за окном,
Как плач сирот.
Такое перед сном —
На сердце лед.

То стонет, то гудит
Орган стихий,
Мне душу бередит…
На что он так сердит?
За чьи грехи?

Вопрос — ответ

Вам понять хотелось,
Как мы жили там?
Пилось нам и елось
С горем пополам.

В общем, было разное:
Солнце и дожди…
Кто учил нас разуму?
«Мудрые» вожди.

Чем мы занимались?
Пели «вечный бой»,
А затем сражались
Мы с «врагом» — с собой.

Спорили, мечтали…
Что о том тужить!
Мы — урок вам дали,
Как не надо жить.

До свидания!

Приятность… Неприятность —
сочетание,
Антагонисты — так и принимай.
Хочу всегда услышать:

— До свидания!
Я не приемлю горькое:
— Прощай!

Хоть зло с добром
меняются местами,
События их путают «места».
«Прощай» все чаще слышится с годами —
«Прощай» вослед кому-то —
навсегда.

«Жизнь» и «любовь» —
основы мироздания,
Они, как два крыла событий-плеч…
Я всем скажу сегодня:
— До свидания!
До новых светлых праздников
и встреч!

Перевод с белорусского
Геннадия АВЛАСЕНКО.



ГУРГЕН КАРАПЕТЯН

Заложники эпохи

Заметки о новейшей армянской поэзии

1. Кто они, крушители традиций?

Как только их не называли — и «семидесятниками», «и литературными хулиганами», и «крушителями традиций», и «возмутителями спокойствия», и «авангардистами». Вызов был во всем — и в содержании, и в форме, и в построении поэтических образов и ассоциаций, и в пренебрежении к пунктуации. Отношение к ним со стороны читателей и литературных критиков колебалось в очень большой амплитуде — от безоговорочной влюбленности до органического неприятия. Своими литературными «предтечами» они считали не Туманяна, Чаренца и Терьяна, и даже не более близких по времени Севака, Шираза и Сагияна, а Элиота, Рильке, Превера, поэзию битников. Это не было данью моде, не было поветрием, это было их сущностью, убеждением, мироощущением.

Это Славик Чилоян, Давид Ованес, Генрих Эдоян, Аревшат Авакян, Артем Арутюнян, Ованес Григорян, Армен Мартиросян, а также пришедшие несколькими годами позже Грачья Сарухан, Армен Шекоян, Эдвард Милитонян, Гукас Сирунян, Акоп Мовсес, Грачья Тамразян.

Они активно печатались, отстаивали свое место под солнцем, свое право на собственное видение и понимание мира, жизни, человеческих отношений, право на новую поэтику, на «заземленность» языковых и изобразительных средств.

Именно благодаря их задору, настойчивости, активному самоутверждению семидесятые и восьмидесятые годы ознаменовались заметным оживлением литературного процесса. Литературная периодика время от времени проводила дискуссии о современной поэзии, и в ней принимали участие как литературные критики, так и сами поэты.

В пылу полемики они бросали вызов нормам и канонам традиционного, классического армянского стиха, создавали в противовес фундаментальной поэтике старшего поколения свою «антипоэзию», не останавливаясь перед возможным обвинением в иррациональности, в нарочитом эпатаже читательского воображения. Они словно жонглировали парадоксами. В стихотворении «Это все не мое» Э. Милитоняна читаем:

Не мои это слезы —
это ржавая лава потопа спускается с гор,
это падают гнезда со сломанных с треском деревьев.

Не мой это голос —
это камни крошатся, отрываясь от скал,
это взрывается крик возвращающегося журавля.

Не мое это сердце —
меня весна уронила в потоп, несущий ягнят и баранов,
меня буря угнала за пашни, поля и луга.

Это я написал,
но древняя почва сдвигается, молча стирает все это
и учит писать на камнях.

(Перевод Гургена Баренца.)

Они выплеснули на бумагу и в эфир свое душевное смятение, дискомфорт, свое неприятие навязываемой теории бесконфликтности, стремление разбить вдребезги насаждаемые представления и каноны, нежелание быть и восприниматься маленьким винтиком, тоненьким голоском в общем хоре «одобрямса» и невольным участником тотальной, всеобъемлющей фальши и лжи. Была в этом протесте и неприятии традиций и плохо скрываемая ревность к ушедшим и живущим классикам — не к их творческому наследию и заслугам, а к народной славе и известности.

Но даже это воспринималось как крамола, как непростительное «вольнодумство», как выступление против режима и как «бунт на корабле».

Они протестовали против стереотипов, прокрустова ложа расхожих понятий и дозволенного в жизни и искусстве, бросали вызов идеологизированному восприятию действительности, истории, межличностных отношений.

А еще они расширили версификационные возможности армянского стиха, подняли на новый уровень верлибр, сделав его, наряду с классическим и свободным, разностопным рифмованным стихом, одной из самых распространенных форм сегодняшней армянской поэзии.

Их усиленно заключали в «обойму», в «упряжку», в их стихах искали типологические сходства, — словом, их рассматривали как плеяду, как одно поколение. И хотя они были очень разные, такой подход имел свою мотивацию и логику.

Другой немаловажной отличительной чертой этого поколения поэтов является глубокое, основательное знание мировой литературы и философии. В их произведениях мы то и дело встречаем реминисценции из древнегреческой, древнеегипетской, древнеримской поэзии.

Деление поэтов на «полемистов» и «метафористов», введенное в обращение критиком А.Топчяном, само по себе довольно условное и зыбкое, вполне прижилось, хотя, на наш взгляд, правильнее говорить об «экстравертах» и «интровертах», правда, и в этом случае нет четких различительных границ. «Полемисты» строили метафорические поэтические образы и ассоциации столь же виртуозно и выразительно, как и «метафористы», а те, в свою очередь, защищали свои «поэтические территории» и завоевания не менее рьяно и азартно, чем «полемисты».

Наиболее показательные образчики экстравертной поэзии, обращенной ко внешнему миру, созданы «полемистами» Давидом Ованесом и Ованесом Григоряном. В стихотворении «Говорит камень» Д. Ованес пишет:

Я — древность. Подойди, чтоб лучше видеть.
Я — летопись и духа бытие.
Я — твоего грядущего провидец.
Твое сегодня. Прошлое твое.

Не надо украшать меня. От века
Таким я был, таким пребуду впредь.
Но лучше всех я знаю человека
И знаю, как помочь ему прозреть.

Я — собеседник. И склонюсь пред теми,
Кто выслушать меня всегда готов.

На мне, замшелом, начертало время
Несметное число имен и слов.

А если ты не извлечешь урока —
Исчезни, точно ветер, без следа.
Таких, как ты, я перевидел много.
Я камень. Я останусь. Навсегда.
(Перевод Альберта Налбандяна.)

К «метафористам» и «интровертам» без особых натяжек критики причисляют Генриха Эдояна, Аревшата Авакяна, Армена Мартиросяна, Артема Арутюняна. В критических работах справедливо указывалось, что в их стихах была несколько размыта категория времени, отсутствовали приметы и реалии эпохи. Так, стихи А. Авакяна невольно напрашиваются на сравнение с литературными витражами. Он, подобно андерсеновскому Каю, создал свой виртуальный мир, в котором строит из образов завораживающие конструкции. Его стихи мозаичны, статичны, они являются своеобразным продолжением и литературной иллюстрацией живописных работ. Вообще поэзии «метафористов-интровертов» присуща определенная созерцательность, камерность.

Но применительно к другим поэтам такая типологизация и классификация дает сбой, и сразу же ощущается ее надуманность и «притянутость за уши».

У каждой истории есть своя предыстория. Мятежный дух поэтов новых поколений не возник на пустом месте, из ничего. До них называли вещи и явления своими именами П. Севак и Ованес Шираз. Они первыми бросили камень в рутинное болото. Ованес Шираз протестовал против Системы и тотального оболванивания народа не только своими стихами, но и вызывающим поведением, своей ершистой жизненной позицией, бесконечными колкими репликами, мгновенно обретавшими крылья и становящимися фольклором, и «серые кардиналы», партократические функционеры, осуществлявшие культурную политику, отомстили ему, объявили его конфликтным, взбалмошным и неуживчивым человеком, то и дело подвергали его домашнему аресту, и уже после смерти столь известного и крупного поэта вдруг выяснилось, что за всю свою жизнь он не был отмечен ни одним орденом, ни одной правительственной наградой, так и не был избран почетным академиком. И это в те годы, когда ордена, награды и звания раздаривались направо и налево — нужно было просто стать «номенклатурой», поддакивать функционерам, да еще благополучно дожить до юбилейного возраста. Не дожил до юбилейных лавров и Паруйр Севак, который открыл новые возможности для стиха и показал ранимого, уязвимого и незащищенного человека в сборнике «Человек на ладони», во весь голос заговорил о Геноциде армян в поэме «Неумолкаемая Колокольня», на другую программную книгу которого («Да будет свет») был наложен арест и трагическая гибель которого до сих пор оставляет множество открытых вопросов.

2. Гримасы глобализации

Новейшая армянская поэзия переживает не самые лучшие времена. Вопросом вопросов остается — принимает ли она более или менее деятельное участие в формировании общественного сознания, является ли она для него ориентиром, путеводной звездой?

Самоочевидно, что «опасная вакансия поэта», который сумел бы стать собирательной совестью и мудростью народа, так и осталась пуста.

Можно, конечно, посетовать, что поэты, громко заявившие о себе еще в начале семидесятых и продолжающие задавать тон в сегодняшнем литературном процессе, по прошествии трех десятилетий активной творческой деятельности, имея за плечами десятки книг и уже издав свои итоговые однотомники, так и не обрели всенародной известности, не стали «властителями дум» для миллионов своих соотечественников. Но здесь, конечно, следует сделать большую поправку на произошедшие политические и социально-экономические сдвиги, когда были утеряны, растрачены жизненные ориентиры, когда не только поэзия, но и наука, театр, музыка, изобразительное и прикладное искусство, книгоиздательское дело, вообще вся культура в одночасье потеряла свое место и назначение в жизни общества, оказалась на задворках, стала невостребованной, выпала из всех расходных статей госбюджета, перестала представлять для государства стратегический интерес.

Девяностые годы, в особенности первая их половина, по-видимому, войдут в историю армянской литературы как годы поэтического кризиса, безвременья. Поляризация, социальное расслоение общества, девальвация и дискриминация творческого, умственного труда — все это не могло не найти своего самого прямого отклика в творчестве поэтов, не могло не отразиться на общем состоянии поэзии.

Развал социалистической державы и национально-освободительная борьба армянского народа повлекли за собой не только экономическую, но и информационную блокаду Армении, в результате чего армянская литература стала «вещью в себе» и перестала восприниматься в контексте литератур других народов. Все эти процессы — неизбежные и необратимые, они происходят со всеми суверенными народами, странами и литературами постсоветского пространства, но это уже — «другая история», тема особого разговора.

Потребовались годы, чтобы, наконец, прошли растерянность, оторопь и онемение, принесенные «сумгаитом» и разрушительным землетрясением, развалом Союза и издержками переходного времени, чтобы из стихов постепенно стали выветриваться газетная плакатность и обличительная публицистичность. Для Армении и армянского народа это были годы мрака, годы затянувшегося летаргического сна — я бы назвал это временем растерянности, отчаяния, потери мировоззренческих ориентиров. Начался массовый исход армян, публицисты заговорили о заговоре, о начавшемся «белом геноциде» против народа, осуществляемом новым руководством, партией «Армянское Общенациональное Движение».

Поэзия, которой — вспомним В. Брюсова — изначально предписано «быть с людьми, когда шумит гроза», должна была уследить за самыми неуловимыми, нюансовыми движениями человеческой души, избегая при этом дешевого популизма, заигрывания с особенно болевыми, наболевшими темами и проблемами.

Словесный изыск, велеречивость, метафорическое восприятие действительности, все то, что делает поэзию поэзией, в судьбоносные и смутные годы стало рассматриваться совсем иначе, приобрело оттенок фальши и стало звучать несколько анахронично.

Часто приходится читать и еще чаще слышать, что в сегодняшней поэзии нет запоминающихся, западающих в душу стихов, стихов, которые попали бы «в самое яблочко», стали бы хлебом насущным, бальзамом для страждущих и жаждущих ответов на мучительные вопросы. Не могу с этим согласиться. В сегодняшней армянской поэзии нет недостатка в действительно хороших стихах, и если они не запоминаются, то причину здесь скорее нужно искать в том, что читаются они в общем неохватном потоке новостей, читаются вполглаза, слушаются вполуха, второпях, между делом, и воспринимаются скорее не как стихи, а как информация.

Конечно же, наметившийся в нашем обществе конъюнктурный, прагматический, во многом даже откровенно потребительский подход к искусству вообще и к поэтическому искусству в частности, не мог не предопределить обратной связи, ответной цепной реакции. Депрессия, разочарование в народе неотвратимо обернулись апатией в поэзии. К счастью, она оказалась временной.

3. Вперед — к Туманяну!

Что нового, какие новые тенденции наблюдаются в армянской поэзия последних лет? Говоря о тенденциях и закономерностях развития современной армянской поэзии, нельзя не отметить, что все направления ее жанровых, тематических и нравственных исканий проецируются в изображении признаков нашей эпохи, объединяются в отображении происходящих сдвигов в сознании и ощущениях отдельной личности и всего поколения. Если прежде это было вневременное пространство, «страна знаков», то теперь стало значительно больше конкретики, реалий времени, «знаков страны».

В сегодняшнем литературном процессе деление поэтов на поколения, на старших, средних и молодых потеряло свою актуальность, стало условным. Теперь уже нет прежнего мировоззренческого водораздела, противостояния между старшими по возрасту Людвигом Дуряном, Татулом Болорчяном, Размиком Давояном и поэтами, пришедшими в литературу тридцатью и даже сорока годами позднее. Сегодня решающим фактором стал не биологический возраст, а творческая активность, молодость духа. Не наступая на мозоли старших и не противопоставляясь им, стали полноправными участниками литературного процесса поэты, заявившие о себе в 90-е годы.

Поэты во все времена особенно остро ощущали происходящие в общественном сознании перемены, близость нависшей над нацией опасности и угрозы. Сегодняшняя армянская поэзия находится в оппозиции к самодовольству, сытости и пресыщенности, к равнодушию и цинизму новоявленных «поводырей» нации, профессиональных демагогов и краснобаев. Честная жизненная позиция, чувство ответственности перед народом за все испытания, выпавшие на его долю в последние два десятилетия, стали для армянской интеллигенции лакмусовой бумагой, выявляющей и определяющей истинный патриотизм и озабоченность судьбами людей.

Не скажу ничего нового, если отмечу, что больное общество не может иметь здоровой поэзии. И в нашей до предела (или до беспредела?) политизированной действительности поэзия тоже неизбежно политизируется — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сегодняшняя Армения — это страна, имеющая олигархический парламент, в котором большинство не имеет сколько-нибудь четкого представления о законотворческой деятельности.

Года два-три назад один депутат в своем телевыступлении разъяснял нам, что его работа оплачиватся хорошо, потому что он «создает продукт», а ученые, деятели культуры и искусства, поэты и иже с ними живут плохо, потому что не создают «продукта». Этому парламентарию не дано понять, что народ и его поэты живут плохо, потому что он и его коллеги-депутаты работают плохо, потому что в нашей маленькой стране жирует огромный управленческий аппарат. И уж совсем ни в какие ворота не лезет, когда абсолютно ничем себя не проявившие народные избранники пытаются всеми правдами и неправдами сохранить за собой сытный депутатский паек, то есть пытаются обмануть своих избирателей по второму кругу. Об этом нужно говорить с ядовитой иронией, с издевательским сарказмом. В книге Ованеса Григоряна «Половина времени» много хлестких стихов-

пощечин, об одиозных персонажах и уродливых явлениях он говорит языком гротеска и мистерии-буфф («Полицейская хроника», «Многопартийная панихида», «Торжественное заседание, посвященное концу света и завершению истории человечества», «Конституция»).

...На исходе двадцатого века,
в четырнадцать часов пятнадцать минут,
армянский народ вышел из своей страны
и не вернулся…
Приметы: древний, многострадальный,
талантливый, трудолюбивый, терпеливый,
в глазах — бесконечная грусть,
в сердце — глубокие трещины…
Просим всех, кто его видел,
срочно сообщить об этом в парламент,
которому на несколько дней
нужен народ
в связи с приближением новых выборов…
(Перевод Альберта Налбандяна.)

Усилились публицистические интонации и в стихах Давида Ованеса. Его поэзия совершила заметный крен от общечеловеческих проблем к общеармянским. «Знаки страны», приметы времени, реалии политических катаклизмов, на гребне которых оказалось человеческое отребье, «пена», возомнившие себя трибунами и наконец-то дорвавшиеся до руля управления и до больших аудиторий «терситы» и «храбрые назары», — все это стало неотъемлемой атрибутикой нашей сегодняшней действительности, а значит, и отражающих эту действительность стихов («Агамемнон», «Вечный армянин», стихи о Геноциде армян). Прозрачная аллегория стала неотъемлемой составной в стихах Гукаса Сируняна («Пена», «Жила-была на свете лампа»). Философское осмысление уроков истории и их реминисценции в сегодняшней жизни стали предметом раздумий для Эдварда Милитоняна (сборник «История древнего мира»). Остается верен своим стилевым особенностям и разработанным с годами творческим принципам Грачья Сарухан в сборнике «Нимб любви». Исповедальность и доверительная интонация, глубоко личное и личностное восприятие действительности являются по-прежнему отличительными качествами стихов Армена Шекояна. В стихотворении «Свет» он пишет:

То, что имею, — мое несомненно.
Кто смеет на долю мою посягнуть?
Свет, предоставленный мне, как знаменье
Сопутствует мне, указуя мне путь.

Безмолвно пошел я за светом по саду,
Я снова родился в пути, и, смеясь,
Жизнь меня встретила в пестром наряде,
Я испытал ее тысячу раз.

Я пробовал жить без врагов — безуспешно.
Друзья мои — птицы, и небо — в груди.
Мы стаей летим в этой сини кромешной,
Вон там наше счастье — бежит впереди.

Бежит впереди. Без него, как без крыши.
Мы снова похожи на наш силуэт.
И мы одиноко взбираемся выше,
На гранях судьбы оставляя свой след.
(Перевод Гургена Баренца.)

Как обычно, повышенным спросом во все времена пользуется детская поэзия. Детям нет дела до взрослых проблем, до душевных и творческих кризисов у поэтов. Им нужны добротные, умные и непременно жизнеутверждающие стихи. В этом непростом и очень ответственном жанре активно и плодотворно работают Саркис Мурадян, Юрий Саакян, Эдвард Милитонян, Ерванд Петросян. Главным испытательным «полигоном» для детских писателей являются иллюстрированные журналы «Цицернак» («Ласточка») и «Ахпюр» («Родник»).

Характерная примета наших дней: тенденции глобализации нашли свое отражение не только в мироощущении, но и в поведенческой модели современного армянского общества. Интерес к поэзии, спрос на поэзию резко упал. Поэтические книги издаются сегодня в Армении мизерными тиражами (в среднем по 300, в лучшем случае по 500 экземпляров). Век информационных технологий, помноженный на резко усилившуюся меркантилизацию современного человека, с неизбежностью привел к его отчуждению от книги. Даже «химический состав» человека девяностых годов претерпел разительные перемены, метаморфозы. Прагматизм, мещанство и вещизм стали приобретать совсем уж уродливые формы. Чтение благополучно заменили латиноамериканские слащавые сериалы, этот дешевый «опиум для народа». Столь же успешно выключает мозг подростков компьютерная жвачка в виде «стратегических стрелялок». Образно говоря, сегодня идет процесс «компьютеризации», а еще точнее, «интернетизации» общественного сознания. Понятно, что поэзия в силу своей специфики не может стать рейтинговой шоу-программой, не в состоянии соревноваться и конкурировать с заполонившими телеэфир раскрученными развлекательными передачами, причем безотносительно к их художественным достоинствам, к их уровню и качеству. Телевидение и радио, газеты и журналы — за исключением литературных или литературно ориентированных — насквозь политизированы, открыты настежь для высокорейтинговых развлекательных программ, для духовной порнухи разных «больших стирок». Понятно, что все они смотрят на литературу как на «бедного родственника» и являются для поэзии закрытой зоной. Сегодня самый захудалый политик или участник пошленького рекламного ролика известнее самых лучших поэтов. Это вовсе не локальная, не «армянская» проблема, это скорее еще одна ужимка, гримаса глобализации. Впрочем, во всем этом можно усматривать не только «беду», но и «вину» современной поэзии, потому что если бы она всегда находилась на должной высоте и выполняла свое высокое назначение, то не оказалась бы обойденной читательским вниманием, не оказалась бы невостребованной.

И все же хочу с удовлетворением отметить, что в последние годы наметились обнадеживающие тенденции и симптомы, свидетельствующие о росте интереса к поэзии. На эстрадные помостки, в концертные залы вернулась классика. Стали периодически проводиться поэтические вечера, посвященные Чаренцу, Севаку, Ширазу, Сагияну. Спрос на классику не замедлил затронуть и современную армянскую поэзию. Она также вновь оказалась востребованной, необходимой, важной. Наладившаяся обратная связь с читателем стала для новых поколений армянских поэтов живительным глотком воздуха, стимулом для творческой деятельности.

Армянская поэзия, почти два десятилетия варившаяся в собственном соку и замкнувшаяся в своих проблемах, вновь становится участницей мирового литературного процесса. Вновь стали налаживаться и восстанавливаться контактные творческие связи. Как и в добрые старые времена, стало можно «на людей посмотреть и себя показать», а для поэтов и поэзии это — глоток живительной влаги. В разных странах и на разных языках стали снова издаваться антологии многовековой армянской поэзии,

армянской литературе стали посвящать свои страницы и даже специальные номера самые престижные российские издания. Пусть сегодня это носит скорее спонтанный характер, но позитивные перемены налицо.

Грант Матевосян как-то рассказывал, что когда он в школьные годы учил наизусть стихи Туманяна, его отец не переставал удивляться и говорил: «Не могу себе представить, как можно изучать Туманяна. Ведь мы и так его знаем». И это было действительно так. Поэзия Туманяна текла в венах народа, была у всех на устах, была у всех на слуху. Паруйр Севак писал о Туманяне: «Это наш хлеб-лаваш». И хотя «золотой век» армянской поэзии остался в истории, для наших современных поэтов он остается тем критерием и ориентиром, той недосягаемой планкой, к которой нужно всегда стремиться, на которую нужно равняться. Это — стремление к абсолютному совершенству, которое в своей перспективе бесконечно и безгранично. Это — равнение на высшие этические и эстетические ценности поэтического творчества, которые продолжают оставаться неизменной категорией. Именно в этом стремлении сегодняшней поэзии во всей полноте выражается ее двусторонняя открытость, ее обращенность «к городу и миру». Аккумулируя в себе происходящие в мире процессы, она возвращает читателям их художественную, поэтическую и поэтизированную проекцию, их глубинную сущность.



Поэзии горный ландшафт



Гукас СИРУНЯН

Осень

Листья летят вверх, вниз,
Стегают нас по лицу,
Они хотят сказать —
Это все, что было доселе.
Все остальное нам даст зима.

Лето Армении

Конец июня.
Вдоль шоссе, что ведет к Еревану,
В убогой посуде горкой лежат абрикосы.
Вокруг уселись женщины-смуглянки,
Подобно опрокинутым кувшинам,
Из которых ничего не льется.
Абрикосы сверкают,
Как золотые русские монеты.
— Сколько стоит? — спрашиваю я.
Мне называют мизерную цену.
От этого в глазах все мельтешит,
В убогой посуде лежат уже не абрикосы,
А блеск, ослепляющий блеск
Округлых русских золотых монет.

Финская баня

Прекрасна жизнь, когда облегчаешь сердце,
Отбрасывая прочь одежды, как оковы,
И нежишься
Под щедрой лаской душа,
Затем ныряешь в райское блаженство —
В бассейн
И принимаешь мир, как высший дар,
Как найденную на земле монету,
Которая хотя и мелочь, малость,
Но все-таки имущество, в котором
Таится пиво с женщиной продажной...

Пена

Она рождается от сильного теченья,
Она всегда наверху и сверкает, как жемчуг.
Мы ее называем ничтожеством и пузырьком,
Не ставим ее ни во что
И считаем родною сестрой
Самодовольства и чванства.
А когда нам приходится туго —
Мы тянемся к ней, мы хотим за нее ухватиться,
Но она нам не помогает.

Атеист

Бог снисходительно взглянул на человека,
Который всюду с пеною у рта
Хулил его,
Избавил от напастей,
И даже дал пройтись тропою счастья.
Но ни одна струна не шевельнулась
В безверии и в сердце атеиста.
И в наказанье за его безверье
Бог поселился в непорочном сердце
Его жены.

О некоторых вещах

О некоторых вещах, к примеру —
О лести и малодушии,
Я б хотел написать кистью ливня
На летящих страницах ветра,
Чтоб исчезли с планеты нашей.

О некоторых вещах, к примеру —
О лести и малодушии,
Написанных на страницах ветра,
Я хотел бы стереть кистью ливня,
Чтоб не появились на других планетах.

Когда жду тебя

Когда жду тебя,
Время похоже на реку,
В которой нет воды.

Когда жду тебя,
На стуле растут шипы,
В моей обуви гвозди торчат.
Когда жду тебя,
Жизнь пустынна,
Словно до дней сотворенья.

Когда жду тебя,
Я в огонь превращаюсь и воду,
Превращаюсь в дыханье бесплотное,
Что мечтает о глине, о плоти.

Когда жду тебя,
Дверь отворяется, льется в кувшины вино,
Гамак растягивается, словно сеть.

Когда жду тебя,
Уже в который раз ко мне приходит другая,
Другая сгорает в огне поцелуев моих,
Но той, что уходит ранним холодным утром,
Незаметно и молча, всегда бываешь ты...



Аревшат АВАКЯН

Танец

Танец — разновидность света,
Который движется по человеческому телу,
Как чистейшая речь.

Вошедшие в ноги и руки
Цвета и линии
Становятся подвижными образами.

В нежно скользящих движениях
Руки порхают
В небе невидимых звуков.

Невысказанные слова приходят
Вслед за молчанием,
Становятся более ясными и гибкими,
Более четкими.

Бессловесные переживания
В объятиях звуков
Из нематериального трепета
Вдыхают жизнь
В песню, обретшую тело.

Армян живые обелиски

Во всех направленьях твоих нагорий,
Подобно сторожевым воинам,
Стоят твои сторожевые камни,
Твои ласточки разрезают небо.

Через проникновенья земли и неба
Проходит духовная жизнь народа —
По венам земли и крови.

Каждый армянин —
Движущийся обелиск
На твоей священной земле.

Недобрые и добрые слова

Добрые слова зарождаются в нашей мысли,
Набухают, как почки,
И расцветают на наших губах,
Словно любовь и молитва.

Недобрые слова
Зарождаются в недрах
Завистливых, желчных чувств
И вместе с пронзающими,
Излечивающими словами,
Появляются на свет
Из глубин внутреннего мира.

Недобрые и добрые слова
Обитают в нашей сущности,
Рождаются из наших раздумий,
И на свет появляются
На нашем языке и на губах,
И красками и линиями слова
Рисуют образ нашей сущности.

Парадоксы

Печальный факт:
Из пустого кармана

Ни при каких обстоятельствах
Ни единого гроша не пропадает.

Вы, конечно же, знаете,
Что из высохших родников
Вырывается жажда.

И голос молчанья
Становится более слышимым
В часы ожиданья.



Варлен АЛЕКСАНЯН

В соответствии с принципом

Чтобы заделать щели и бреши истории,
вызвали мастеров,
залили фундамент современным бетоном,
приспособили стены к букве сегодняшних правил,
залепили все дыры,
все обставили по последней моде,
запустили фонтаны,
засадили сады и розарии,
устроили пышные празднества
и наказали не сомневаться
в совершенстве своих конструкций.
Но на стенах их вариантов вновь появились трещины,
поскольку из щелей фундамента и из стен
неожиданно появились
герои, которых неправомерно отвергли, забыли,
участники, свидетели событий,
и, мягко говоря,
помочились на все еще влажные
стены новейшей истории...

Они пообещали также,
Что, в соответствии с их принципами,
будут всегда приходить, если будет необходимо,
чтобы предотвратить самопроизвольный ремонт...

Пустая игра

Вот и мы —
пророки, апостолы и ангелы,
любители сладких, сочных и обманчивых слов.
Мы — спасители,
во имя нашего светлого будущего
с бескровной страстью вечно повторяющие
нами же сочиненные лозунги,
в надежде убедить вас
этими сладкими, сочными и обманчивыми словами.

Пожалейте же нас, наконец,
дайте нам то,
что вот уже столько веков
мы просим — на коленях, стоя, ползая, смиренно склонившись,
то плача, то смеясь,
а взамен мы обещаем вам
научить, как забывают обычные тайны.

Пожалейте хоть вы нас,
красавицы-пери, русалки,
сирены и амазонки,
смотрите, как мощно мы воспеваем свои достоинства;
после стольких усилий скалы, наверно, растают,
моря могут выйти из берегов,
и небо, возможно, с дождем на глазах зарыдает.

Может, вы — ребята, джигиты,
джентльмены, сеньоры, господа, —
услышите, наконец, надрывный голос наш,
и подарите нам заветную нашу мечту,
а мы взамен обещаем
вас никогда не будить от иллюзорного сна.

Ну, неужели мы просим так много? —
всего лишь вашу волю, ваши души;
лишь жизни ваши вы нам подарите,
свою страну, любовь свою отдайте,
свое слово, свое вдохновенье,
взамен!
И ваша смерть будет вашей всегда,
а нам ничего не достанется —
только эта пустая игра...



Геворг ТУМАНЯН

* * *

Во мне есть что-то от реки —
Там, где покой, меня нет.

Есть, конечно, и что-то от света —
Преломленье приносит мне радость.

Есть также что-то от дерева —
Мне тоже присуще цветенье.

И от птицы есть что-то —
Меня привлекает небо.

* * *

Я — река,
Поток, несущийся к морю.
Я — моря блудный сын.

* * *

Лист пожелтевший
Упал на мою ладонь,
Но я не мог
Ничем ему помочь.

* * *

Я пытался —
Причем несколько раз —
Уговорить собаку,
Что обедала в мусорном баке,
Послушать мое
Самобытное пенье,
Но каждый раз
Они избегала меня.

* * *

Перехожу от одного дерева к другому.
Здесь выстроились яблони цветущие.

На белых цветках витают жужжащие пчелы.
И я перехожу от хора к хору.

* * *

Колосья спелые пшеницы
Похожи на солдат —
Упругие, веселые.
Я приветствую их.
Вижу радостный шелест в ответ.

* * *

Ах,
Май, май,
Что ты со мною делаешь!..

Вскрою вены —
Розы польются...
Но кого мне ими украсить?..

* * *

Еще один
Новый день.
Утром, встретив знакомого,
Поздравил его с новым днем.
Он удивился...

Генрик ЭДОЯН



Если невозможно

Если любовь невозможна,
Значит, нужно уйти из жизни.
Если жизнь невозможна —
Остается воспоминанье.

Если помнить уже невозможно,
Нужно настежь открыть окно
И впустить уличную сутолоку.
Нужно думать о людях.

Если думать уже невозможно,
Нужно окно затворить, усесться —
В одиночестве, в ожиданьи.

Если ждать невозможно, значит,
Вспомни Гамлета, это ведь он говорил:
«Жизнь — лишь отголосок сна»...

Если Гамлета вспомнить не можешь,
Отложи все в сторонку, а значит —
Живи.

А если и жить невозможно, родная —
Ты ко мне поспеши, приходи, и мы вместе
Погрузимся в то,
Что для нас невозможно.

Два плюс один

Два человека на свете —
Мужчина и женщина —
Их связывает любовь.

Два мирозданья —
Наверху и внизу,
А между ними —
Абсолютная сила.

Два слова, два слова на свете,
Лишь два слова — другие —
Их бледные тени.

Два слова, и между ними
Пролегает вся моя жизнь.

Есть и третье, но это слово —
Вне пределов жизни моей.

Ночь надвигалась

Крути баранку вправо или влево,
Дорога прямою не станет,
Она вся в ухабах и рытвинах,
И к тому же проходит
Среди неравнозначных дней.

Будь осторожен —
Твое желанье,
Тебе отведенное время,
Пространство
Не совпадают друг с другом,
Их сумма
Не равна твоей жизни.

Ты, Байрон, был вконец разочарован
Своей эпохой, —
Что бы ты сказал
О нашем смутном 21-м веке?

Пока я думал обо всем об этом
Таким открытым текстом,
Кто-то мне подмигнул, другой —
Потребовал документы, еще один
Похлопал меня по плечу
И сказал: «Хочешь номер в гостинице?
В общем — все, что захочешь».
Ночь надвигалась.

Эдвард МИЛИТОНЯН



Эти лица

Немые свирели, вы бархатным голосом спойте
Трагедию лиц материнских, что боль свою превозмогли.
В ненастные дни — будь то утро, иль вечер, иль полдень —
Они улетают в глубины сгустившейся мглы.

Все тают они, словно снег, словно блики мерцающих свеч,
Все время меняясь, безудержно быстро старея,
И слабеньким светом своим все пытаются в корень рассечь
Кромешную тьму, чтобы сделалось миру светлее.

Их лица летят — так устало летят журавли,
Приходят и гаснут, глотая туманную проседь.
Приходят, садятся, как бедные гости земли,
И бьются крылами, и просят о чем-то, и просят...

— Смотрите, — они говорят, и струится их боль без прикрас
Печальным и хрупким курлыканьем стай журавлиных.
— Вставайте, — они говорят, — почему не встречаете нас,
Прекрасные наши сыны, дуралеи, птенцы, властелины.

Молчанье ложится на лица. Кромешную тьму
Их слезы кропят, рассыпается тьма роковая,
И их сыновья пробуждаются по одному,
Своих матерей изменившихся не узнавая.

Немые свирели, вы бархатным голосом спойте
Страданья и боль этих лиц, что величественно светлы.
В ненастные дни — будь то утро, иль вечер, иль полдень —
Они угасают в глубинах сгустившейся мглы.

Перекличка

По-учительски строго
Перекличку проводят деревья.
— Здесь, — отвечаю я.

По-офицерски сурово
Облака перекличку проводят.
— Здесь, — отвечаю я.

На закате
Перекличку проводят горы.
— Здесь, — отвечаю я.

Глубокая осень. Журавли улетают, курлыча, на юг.
— Как только вернемся, проведем перекличку, ты знаешь?
— Знаю, — отвечаю я.



Тадевос ТОНОЯН

Армения. Осень.
Последний перелет — в рай

Отец, прости,
Что я, твое созданье,
Лишь на земле
Могу тебя любить.
Иного места
Нету в мирозданьи,
Где я бы мог
К земле так близко быть.

Мы и под снегом
Можем прикорнуть,
Здесь тоже холодно,
И близок день последний.

Последний птичий клин
Вчера пустился в путь.
Отец, скажи,
Нам ждать весны заветной?

Еще мне не дано пройти твой путь

Люблю тебя на небе я
И здесь,
И запечатать жизнь
Готов в конверте.
Душою грешной
Замерзаю весь,
Но все надеюсь
На поблажку смерти.

Не собран урожай,
Просрочен час.
Не стоит и молиться
Об отсрочке.
Не счесть проблем,
Свалившихся на нас;
Уже не прям, как прежде,
И не прочен.

Еще мне не дано
Пройти твой путь,
Во лжи еще
Вариться мне смиренно.
Земля меня разрушит,
Сдавит грудь,
В бессчетной жизни
Я сражаюсь с тленом…

Не тяжек крест, скорее, я бесплотен

Отцу

Не тяжек крест,
Скорее, я бесплотен,
И нет приюта
Для души моей.
Взойдет ли дух мой,
Станет мне оплотом?
Придаст ли завершенность
Ходу дней?

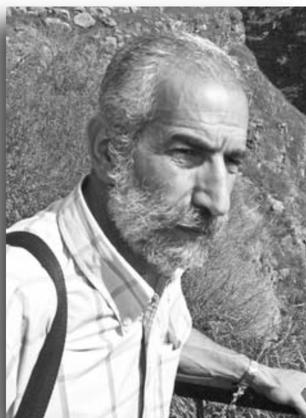
Творец мой, Крест мой,
Твердь моя и Небо,
Твой мир, родившись,
Снова умирает.

Отец — в саду
С секатором нелепым,
В полях колосья
Золотом играют…

Пыльца другого солнца

Льнет к ножницам цветок, даря себя,
Деревья отдаляются от неба,
И ветер бьет и гонит воробья,
Несет и бьет — сердито и свирепо.

Готовы почки в дерево врасти,
И рыбы жаждут с берегами слиться.
Должно, должно кому-то повезти —
Пыльцой другого солнца опылиться.



Эдвард АХВЕРДЯН

Прощанье

Стоял.
Не курил,
Не улыбался,
Сухими глазами
Молча смотрел
На свою необратимую потерю
И ни о чем,
Ни о чем не просил.

Стоял
И не мигая смотрел
На ту трепещущую руку,
Что медленно растворялась
В вечерних сумерках.

После молчания

После молчания —
Безудержные руки,

Решительные шаги
И человеческий голос.

После молчания —
Кровь,
Огонь
И вздох.

После молчания —
Истерзанное тело,
Сырая камера без окна,
Заржавевший ночной горшок
И кровать из бетона...

После молчания —
Следы пуль на стене
И... на сердце...

В этой комнате

В этой комнате
Предметы одевают другие цвета,
Подобно печали человеческой души,
Здесь все старо и таинственно.

В этой комнате
Твою грусть ничто не спасет, —
Ни свет свечи,
Ни букетик колючек,
Ни горсть камней,
Упавших с неба, словно капли слез,
И необъяснимые
Линии и краски
Этих картин,
Которые вечно меняются.

В этой комнате
Клинок боли
Доходит до костного мозга
И в одно осознанное мгновенье
Предметы безудержно плачут
Или хохочут
Как сумасшедшие.

* * *

Жизнь —
Вот самая великая
И самая чудесная
Нелепость...
Искусство
Пытается придать
Смысл и прелесть

Этой таинственной
Нелепости.

Космическое время

Наконец, я увидел пустыню,
Увидел таинственную тишину
И песок,
Что из песочных часов
Высыпается в космос...

Все еще
Великолепен цветок солнца,
Все еще великолепно
Сказание женщины,
И трава,
Чтобы навзничь прилечь...

Все еще нежен
Муравей, изучающий мое тело —
Во времени
И в моих закрывающихся зрачках.

Ожидание

Всю ночь напролет
Мы молча сидели
У постели больного моря...

Луны не было,
И не было сверкающих звезд,
Было только дыханье, тяжкое дыханье
Фосфоресцирующих волн...

На рассвете
Его глаза были влажные...
Интересно, кого
С нетерпеньем ожидало море?..

Мишень

Куда мне спрятать свои тревоги,
Если ветер унес все мои лепестки
И день,
Словно обнаженный клинок,
Вновь сверкает передо мной?..

Куда он нанесет удар сегодня?..

Посвящение Басё

Сумгаит, февраль 1988 г.

Я видел, как сломали
Ветки
Расцветшей вишни...

Но их у нас
Не забрасывают камнями.

Перевод с армянского Гургена БАРЕНЦА.

Гаянэ АХВЕРДЯН



Первые капли — зерна дождя

* * *

Найти мгновение дождя,
начало уловить пути —
и стрелки времени шутя
на день вперед перевести.

Чуть задохнуться, засквозить —
и не успеешь расспросить! —
без вести в жизнь твою войти,
чуть сдвинув шар с земной оси.

* * *

Цветку не нужно времени на взгляд.
На жизнь. На поворот. Он весь предтеча.
Ему неведом этот путь назад —
в зерно, в тепло земли. В молчанье речи.

* * *

Я постигаю замыслы вещей
незавершенных и еще горчащих

как море — чистотою, промолчавших,
ни разу не промолвивших «прощай!».

* * *

В тумане я ловлю дыханье хризантем,
и свежесть их горчит непобедимо,
и холод, холод дней так нежен и так нем…
Как помнится — любить! Так странно — нелюбимой.
Но я к себе вернусь, в тепло живой крови,
довольно лишь глаза прикрыть устало.
Не Господа прошу, тебя — благослови,
благослови все то, что с нами сталось…

* * *

Иногда задохнусь и замру на бегу,
Улыбнусь виновато —
Различу не лицо на ветру, а строку —
Натяженье каната.

* * *

Прочь от мира в тысячах оков!
И в тоске ты двери запираешь,
затыкаешь щели, у замков
из горячих рук ключи роняешь.
Человек мой, нет, ты не таков!
Никогда не будет хуже рая:
или превращаются в волков,
или в одиночку умирают.

* * *

Мои слова возвратятся ко мне,
как свежевыпавший снег
на ветви — будто бы не ко мне,
лишь улыбаются мне.

Им не вернуться, их не забыть,
не повторить — ничьи.
У тебя на устах слова мои,
а я не узнаю их.

ЛЮБОВЬ ТУРБИНА

Земля обетованная, или Очарованный странник

Прежде чем просвещать, надо стать светом.
Архимандрит Амвросий

Так случилось, что именно в Белоруссии прошло самое счастливое время в жизни нашей семьи, в первую очередь в жизни моего отца. Это были далеко не худшие годы и в жизни страны — с 1955 по 1970 годы, всего-то 15 лет, а сколько событий они вместили!

В Ленинграде мы прожили меньше — 10 лет, с ноября 1945 года, в детстве время тянется так медленно. А для папы, как я понимаю сейчас, это было время серьезных испытаний. Он прошел за эти годы путь от последователя господствовавшего тогда в науке по всем вопросам генетики учения Трофима Денисовича Лысенко, присланного в фрондирующий Ленинград из Москвы заведовать кафедрой генетики ЛГУ, до опубликования смелой работы «К вопросу о видообразовании» в «Ботаническом журнале» в 1952 году. В небольшой, на четыре страницы статье впервые подвергались серьезной научной критике взгляды Лысенко по этому вопросу. Отметим, что переломная в мировоззрении отца статья появилась в печати еще при жизни Сталина. Возможно (по смутным детским воспоминаниям) отношение Сталина к Лысенко изменило публичное заявление на самом высоком уровне академика Лепешинской (не путать с балериной!): «Лысенко — это Сталин в биологии!» Присутствующими было замечено — Сталин, услышав эти слова весьма немолодой и восторженной дамы, поморщился.

Так вот, годы между переездом папы из Москвы в Ленинградский университет заведовать кафедрой генетики, где вскоре он был назначен деканом биофака, и отъездом в Минск, уже избранным академиком Белорусской академии, были годами напряженного, очень насыщенного самообразования.

Разбирая папину библиотеку несколько лет назад, я была поражена разнообразием и широтой интересов, отраженными в книгах. Особую, возможно, самую главную полку в его книжном шкафу составили книги по философии, логике и другим гуманитарным дисциплинам, бесценные букинистические раритеты (среди них изданные даже в семнадцатом веке). Это следствие осознанной тогда отцом недостаточной научной и общекультурной подготовки, которую он ощутил в ЛГУ, оказавшись среди старой, еще петербургской профессуры. И со свойственной ему страстью отдался чтению самому разнообразному, стараясь заполнить пробелы в своем образовании, полученном еще до войны в Воронежском сель-хозинституте и после в Москве, в докторантуре.

В Минск приехал уже не просто вполне компетентный ученый-биолог, а человек широчайшего кругозора, вполне соответствующий по своей эрудиции высокому званию академика любой академии мира.

Ему было тогда сорок два года — возраст akmē, равновесного расцвета духовных и физических сил. Первоначально папа был директором Института биологии



АН БССР, одновременно заведуя кафедрой генетики Белорусского государственного университета.

Следует отметить, что в то время папа был не единственной «приглашенной звездой» для укрепления и развития белорусской науки. В Белоруссии работали математики Николай Павлович Еругин, Владимир Иванович Крылов, Юрий Станиславович Богданов, физики Борис Иванович Степанов и Михаил Александрович Ельяшевич — мои будущие профессора (в 1959 году я поступила на физфак БГУ).

И тому, что в Минске высадился столь внушительный «десант» первоклассных ученых из Ленинграда, Белоруссия обязана исключительно Антону Никифоровичу Севченко, ученому-физику — ученику Сергея Вавилова, величайшему организатору-энтузиасту белорусской науки. Он же, впоследствии часто встречаясь с папой, в том числе и у нас дома, «продавил» мое поступление именно на физфак, хотя у меня были совсем другие планы…

Поздний Нагибин писал, рассматривая фотографии разных лет героя своей повести (кажется, речь шла о Гете): «Вот это еще не он, и это пока еще не вполне он — а вот это уже Он!» Это же можно сказать о папиных фотографиях минского периода: именно с переездом в Минск исчезли глубокие складки озабоченности на его лбу, выражение глаз стало менее суровым, он стал чаще улыбаться. Улыбаться так обаятельно, как умел он один… Сейчас мне кажется, что именно здесь он позволил себе наконец обернуться к жизни во всех ее проявлениях. Они с мамой ходили в спортзал университета по субботам на так называемый преподавательский волейбол, очень популярную игру в те годы. Заметим, что там вместе с ними играл в волейбол тогдашний аспирант Саша Адамович (так называла его мама), будущий знаменитый писатель; дружба с ним у родителей сохранилась до последних дней.

Но полнота жизни в Минске включала в себя не только спорт. Справедливости ради замечу — еще в Ленинграде родители были заядлыми театралами, я собирала книжечки «Театральный Ленинград» и до сих пор помню, какие пьесы тогда ставились. А в Минске папа и мама сразу же пристрастились ходить в Театр имени Янки Купалы. В тогдашнем репертуаре, как и всегда, — «Павлинка» Купалы, а еще пьесы Островского. Почему-то особенно запомнилась постановка пьесы «Доходное место». Это было золотое время театра, когда были живы и играли все корифеи — Лидия Ржецкая и Владимир Дедюшко в «Павлинке», в роли пана Быковского блистал Борис Платонов, в «Доходном месте» Жадова играл тоже Платонов, а двух сестер-невест — Татьяна Алексеева и Зинаида Броварская. Приехавшие вместе с папой ленинградские физики тоже с завидной регулярностью посещали этот театр — после премьеры «Доходного места» академик Степанов возбужденно говорил: «Определенно я влюбился в Алексееву». То, что спектакли шли на белорусском языке, ничуть не смущало приехавших ленинградцев: если есть желание, все понимаешь. Когда к нам в Минск стали

приезжать родственники из Москвы, их «угощали» белорусским театром. Даже искушенная театралка мамина тетушка Анна, знавшая чуть ли не наизусть все пьесы Островского и репертуар Малого театра, бывала в восторге.

Посещали регулярно и, недавно построенную Белорусскую филармонию. Это уже под некоторым нажимом мамы: папа был исключительно начитан, но музыкально не образован, и в отличие от своего отца Василия Николаевича, музыкального слуха не имел. Но, тем не менее, именно ему прислали письмо, которое я недавно нашла в старой маминой сумочке, где хранились самые важные для нее бумаги. В этом письме папу в утонченно-вежливой форме приглашали принять участие в Совете филармонии…

Но главным, разумеется, была его работа в Академии и в Университете. О работе в Институте биологии лучше всего рассказали папины сотрудники в книге из серии «Люди белорусской науки». А вот об успехе отцовских лекций по генетике на биофаке БГУ в конце пятидесятых мне рассказывали посещавшие их друзья-гуманитарии: Адам Мальдис, Рыгор Бородулин, Нелли Счастная. Лекции эти были подлинным событием культурной жизни тогдашнего Минска — с папой в Минск пришел свежий ветер перемен, которых тогда все ожидали с нетерпением. Так получилось, что в середине прошлого века именно генетика стала главным полем идеологической борьбы.

Разумеется, не только гуманитарии посещали папины лекции — и биологи тоже. Одна из его студенток вспоминала: «Это было время, когда преподавательский состав факультета был представлен профессионалами старой школы — умными, интеллигентными, увлеченными… Это было время, когда мичуринское учение о генетике уже сдавало свои позиции, и открыто проповедовались взгляды морганистов. Нас завораживали слова *гены, хромосомы, дрозофилы.* А лекции читал Николай Васильевич Турбин. Все девочки были в него влюблены — красивые резкие черты лица, чуть седеющие волосы. Читал увлеченно, темпераментно, доступно. Мы с восторгом внимали ему…»

И мне довелось прослушать несколько папиных лекций, когда я уже работала в Институте генетики и цитологии. Поразила меня та бездна обаяния, артистизм, которым он заражал аудиторию, стараясь, чтобы его не только поняли, но и полюбили предмет — в том числе через любовь к нему, что и подтверждают воспоминания его бывшей студентки. Никогда — ни дома, ни позднее в институте, я не видела его таким вдохновенным! Думаю теперь, что папа был прирожденным лектором, с талантом от Бога.

А в Академии вовсю шло строительство Института генетики, который папа позднее и возглавил. Однажды — я была, кажется, девятиклассницей — среди ночи раздался звонок: в почти отделанном здании института прорвало трубу, и папе надо было ехать туда. Почему я вдруг моментально оделась и вызвалась ехать с ним — не помню, но он меня взял, а мне хотелось как-то его защитить. И действительно, разговор был не из приятных, техника удалось вызвать не скоро. Таких звонков, наверное, было немало, просто я помню именно этот. Институт генетики и цитологии был открыт уже в 1965 году, и до своего отъезда в Москву в 1971 году папа его возглавлял.

Но главная группа его учеников, если хотите, его опора в Минске, сложилась уже в академическом Институте биологии, Это были молодые аспиранты: Надежда Атрашенок, Всеволод Бормотов, Владислав Володин и Любовь Хотылева. К ним присоединилась и приехавшая за папой в Минск с мужем, тоже генетиком, Анна Николаевна Палилова. Каждый из них защитил кандидатскую диссертацию и вскорости докторскую, занимаясь своим отдельным разделом генетики. Их работами до сих пор заслуженно гордится Институт. А Любовь Владимировна Хотылева после папиного отъезда возглавляла Институт генетики и цитологии 20 лет.

Именно в Минске ему удалось создать то, что называется «научной школой». Конечно, и в Ленинграде у папы были аспиранты, сделавшие в дальнейшем

успешную научную карьеру. Так, я помню его югославскую аспирантку Ружицу Главинич, потом профессора и доктора наук, а также болгарку Ольгу Дряновска, с которой была знакома и дружна многие годы. Обе они оставили интересные воспоминания о папе как о руководителе аспирантуры и лекторе. Научная школа — это круг людей (учеников) и генератор идей (руководитель), а также стиль отношений, который постепенно складывается в этом кругу. Всегда существует ядро школы, его образуют те, кто пришли в «школу» первые, те самые перечисленные пять человек. А дальше школа обрастает идеями и людьми. Так пришел в институт Г. В. Красовский со своей темой «Генетика рака», папа сразу сумел оценить эту идею (нюх на свежую и стоящую идею вырабатывается расширением кругозора и быстротой восприятия), а в Институте генетики появился отдел генетики рака. И уже переехав в Москву, папа долгие годы был тем самым индикатором на подлинность и научность для созданного им в Белоруссии Института.

Именно в Белоруссии ему удалось выполнить три главных дела, издревле положенных мужчине: построить дом, вырастить дерево и родить сына. Начнем с последнего — после достаточно долгого перерыва в девять лет, после меня и сестры в 1956 году в нашей семье появился сын Василий, названный, как и положено, в честь деда. Тогда же затеял папа строительство дачи в только что выделенном для академиков поселке Крыжовка, в шестнадцати километрах от Минска. Дом первоначально задуман был как деревенская изба: за срубом ездили аж под Воложин, ставили на фундамент, потом облицовывали вагонкой. Все этапы и трудности стройки постоянно обсуждались за столом — папа занимался строительством дачи с увлечением и энтузиазмом, как и все, что он затевал, особенно на первом этапе. Помню, меня удивляло, что бригаду строителей возглавлял крупный мужик, которого работяги почтительно называли Прокурором. Как выяснилось, примыкавший к нашей Крыжовке поселок Ратомка считался ближайшей к Минску «чертой оседлости» для возвращавшихся из мест заключения, и вроде бы Прокурор и правда когда-то им был. Помню картинку: огромный детина в кепке и кирзовых сапогах, разговаривая с папой в сумерках перед недостроенным домом, лихо поигрывает увесистым топором — в кино, до которого я была большая охотница, именно так изображались разбойники. На мой взгляд, от него веяло опасностью. Это подтверждалось потом неоднократно: во время расплаты всегда выходило много больше, чем договаривались заранее. Впрочем, как я понимаю теперь, так происходит всегда, если заказчик не слишком разбирается в предмете.

Зато когда пришла пора заниматься садом, папа оказался в своей стихии: у нас, по сравнению с соседями, был настоящий экспериментальный участок. Прежде всего папа озаботился тем, что называется теперь «ландшафтным дизайном»: на лужайке перед домом был разбит цветник, обсаженный по периметру редкими декоративными растениями (разведением цветов потом занялась мама, более постоянная в своих увлечениях), а вдоль прозрачной железной сетки красовались гладкие, каштановые стволы уссурийской черемухи Мааки — из опытного хозяйства Ботанического сада, который тогда находился в ведении Института биологии. Кроме того, с внешней и внутренней стороны сетчатого забора, отделяющего участок от дороги, зазеленели ирга, боярышник и акация. Ни у кого в поселке не было такого разнообразия в саду.

Прижились взрослые деревья и кустарники потому, что почву перед посадкой густо удобряли торфом — как раз в это время осушались торфяные болота между Ратомкой и Крыжовкой. Торф возился машинами и был относительно недорог. Через год на нашем участке, на приствольных кругах под деревьями и кустами выросло огромное количество грибов, преимущественно рыжиков, ядреных, крепких. Торф был обильно насыщен грибницей, такие рыжики росли и на лугу, под молодыми елочками, которые появились на месте высушенного болота.

А какой богатый и разнообразный фруктовый сад был посажен папой: яблони, груши, вишни, сливы, черешня и даже абрикосы! Сорта яблонь подбирались



Николай Турбин, Александр Вечер и Михаил Гончарик в зале Института биологии АН БССР.

от самых ранних — пепинка (белый налив) и Суйслепская — до самых поздних — Уэлси и Бабушкино. Были посажены и две молодые яблоньки, на которых зрели мелкие красные яблочки для варенья. Отдельно стояла яблоня Якуба Коласа — названная так не по сорту, а по имени того, из чьего сада ее привезли. Поскольку сад стоял практически среди сосен, черешни вымахали в высоту так, что ягоды могли достать только птицы, абрикосы и сливы вымерзли в первую же суровую зиму, которая приходит раз в четыре года, а вот груши и вишни прекрасно плодоносили первые лет пятнадцать. Яблони же, верные терпеливые яблони, покрываются цветами по весне через год, и плоды тоже вызревают, хотя очень давно никто ими не занимается…

Огород у нас тоже был сразу же организован: все пространство между фруктовыми деревьями в первый же год засадили в основном капустой. Низинное расположение для нее самое то: обычная белокочанная, а также малоизвестная тогда кольраби. Конечно, были высеяны и традиционные морковь, укроп и петрушка, но капусты сняли просто невиданный урожай — вся открытая веранда со стороны непарадного выхода из дома под осень была завалена крупными сочными кочанами. И меня, вручив в руки корзинку, нагруженную дарами нашего огорода, командировали к соседям. Логика была проста — если у кого-то избыток урожая, то почему не поделиться с соседями? Соседи не захотели оценить бескорыстного порыва удачливых огородников, меня завернули обратно, я заплакала от обиды. Не имея ни возможности, ни желания как-то использовать своими силами урожай, папа к огороду охладел. Была еще одна история с моим участием: у нас сидели гости, папа послал меня в огород за огурцами. Я смотрю на грядку с огурцами и думаю: «Какие-то они странные, пушистые, не видела раньше таких огурцов…» — и срываю несколько штук. Каково же было папино отчаяние, когда я принесла их на веранду: оказалось, что это плоды экспериментально посаженной дыни! С тех пор он больше и не пытался вырастить дыню в условиях Беларуси. И вообще, на следующий год папин интерес к огороду почти погас. У него появилось новое увлечение: английский язык! Когда необходимость выучить разговор-



Николай Турбин с женой Татьяной Владимировной и внучкой Таней в пасаженном им саду.

ный английский внезапно и полностью овладела отцом, неожиданно нашлась и учительница: природная американка, уже несколько лет жившая в Минске, Джэн Клавдиевна Курага-Скрага (фамилия по мужу) — именно в связи с замужеством оказалась она в Минске. О милейшей Джэн Клавдиевне надо хоть немного сказать отдельно. Когда именно она появилась в столице Белоруссии, сказать сейчас не могу, но знаю, что она вышла замуж, приехав в Париж после войны (возможно, учиться), за гражданина СССР, который после войны в Испании оказался во Франции, а впоследствии вернулся в родной Минск.

Стала бывать у Джэн Клавдиевны дома и я — детям она давала уроки на дому, — не раз видела ее мужа. У него был очень существенный недостаток — он пил. Мы жили близко от нее по улице Янки Купалы, иногда видели, как она под дождем убегает из дома с двумя маленькими девочками — Ирой и Зоей. Это значило, что глава семьи запил и буйствует. Когда же я приходила на занятия и он бывал в нормальном состоянии, было ясно, что у него травмирована психика, что он пережил многое, о чем не имеет права рассказать, и потому вызывал сочувствие. Жена же его была просто страстотерпицей. Прошли годы, девочки выросли, сама Джэн Клавдиевна, как я слышала, уехала в конце концов в Чикаго. Она была женщиной исключительного обаяния, остроумная, веселая, никогда ни на что не жаловалась. Первая в жизни лично знакомая американка располагала сердца узнавших ее в пользу Америки. Вот как много может один человек…

Но вернемся к папе. Для занятий английским Джэн Клавдиевна приезжала в Институт, где сформировалась группа, в которую кроме папы входило то самое ядро его школы: аспиранты и младшие научные сотрудники, в первую очередь Анна Николаевна Палилова и Любовь Владимировна Хотылева. Занятия проходили в самой непринужденной обстановке, так вспоминают все, кто в них участвовал. Папа сумел сохранить в себе до последних дней и передать окружающим «радость познания», свойственную детям. А дома непрерывно звучал голос Джэн Клавдиевны, записанный на магнитофонную пленку (папа привез из Японии легкий переносной магнитофон, возможно, один из первых в Минске). Папа брился, одевался и завтракал под непрерывное бормотание по-английски, мама даже роптала. Зато уже через пару лет папа смог поехать в Англию с чтением лекций в университетах

на английском языке! Хотя, с нашей, домашней точки зрения, произношение у него было так себе. Но запас слов, знание предмета, а главное, умение понять вопросы, все искупало! В самый разгар увлечения английским языком папа, услышав, что одна из его аспиранток разводится с мужем-дипломатом, воскликнул: «Какая глупость — ведь ее муж так хорошо знает английский язык!»

В Минске же отец купил машину и научился ее водить. Хотя по природе это было ему не сродни: он нервничал — за рулем надо думать о дороге, это мешало мыслительному процессу, всегда многоаспектному. Кроме того, он всегда хотел все понять. Вот картинка — мы едем возле Юбилейной площади, милиционер останавливает машину, выписывает штраф за нарушение. Мы продолжаем путь, но вдруг почти на выезде из города папа разворачивает машину и возвращается на Юбилейную площадь, чтобы сказать тому самому постовому: «Я понял, почему вы меня оштрафовали!»

Из дальних поездок папа возил нас в Пушкинские горы (всей семьей в 1964 году, летом) и один или два раза возил семью в Рязань (я туда уже не ездила). Но после крупной аварии по дороге на Нарочь в 1966 году (то, что никто не был ранен, — счастливая случайность) пришлось оставить машину до приезда эвакуатора, папа водить перестал.

Здесь же, в Минске, будучи директором Института биологии, папа подвергся несправедливой публичной критике, более похожей на брань. Во время своего приезда в Белоруссию Никита Хрущев нанес «вразумляющий удар» по Турбину и Жебраку, которые, по его выражению, «создали здесь очаг вейсманизма-морганизма», Только при активной поддержке Сергея Притыцкого, тогдашнего секретаря КПБ, отец смог продолжить начатую работу. Прочитать об этом подробнее можно в других источниках. Здесь же я вспоминаю для того, чтобы показать — папу к этому времени в Белоруссии уже ценили и считали своим.

Для некоторого идеологического равновесия, в качестве вставной новеллы хочу рассказать эпизод, связанный с моим пребыванием в ИГЦ в должности старшего инженера (год 1965-й). Папа информирует коллектив о своей поездке в Москву: «И тогда Келдыш (президент АН СССР. — *Л. Т.*) спрашивает — а вы, Трофим Денисович, над чем сейчас работаете? И слышит ответ: мы работаем над повышением жирности молока у коров. Корова — это не атом. Это объективная реальность!» Папа уже смешливым тоном подчеркивает слабую образованность одиозной на тот момент фигуры Лысенко, а я, недавняя выпускница физфака БГУ, думаю, сколько, однако, здравого смысла в этих словах!..

И уже оказавшись в Москве, папа трепетно, с сердечным интересом слушал любые вести из Минска, переживал за судьбу Института генетики и цитологии и тех сортов тритикале (последнее папино увлечение), работой над которыми были заполнены последние годы его жизни.

У нас дома было принято чтение вечерами вслух, особенно на даче в Крыжовке — на закрытой веранде, пока было светло, или у топящейся печки в центральной комнате. Читал папа блестяще. Выбирал сам. В Ленинграде для нас с сестрой очень выразительно прочитал басню «Пес и кот» Ованеса Туманяна. А в Крыжовке чаще других звучали Гоголь и Бунин: почему-то особенно запомнился «Господин из Сан-Франциско». А еще папа любил Лескова: за самобытное словотворчество. Чутье к слову у папы было замечательное, в студенческие годы он писал стихи, и сам Мандельштам хвалил в Воронеже его поэмы о Гераклите и о княгине Ольге!

«Очарованный странник» Лескова тоже прозвучал как-то на даче, у печки, и, вспоминая это чтение сейчас, папа представляется мне тем самым странником, очарованным жизнью. Каждый город, где прошла какая-то часть его жизни, попеременно его очаровывал: Рязань, Воронеж, Москва, затем Ленинград. Но Минск выделяется из них как самое счастливое место, где наиболее полно реализовались его таланты и возможности и где его присутствие оставило самый заметный след.

ИРИНА МИЛЬТО

Снова о Владимире Мулявине



Об этом человеке написано и сказано много, но, наверное, особенность истинного таланта в том, что постижение его творчества и жизненного пути — процесс бесконечный. Наибольшую ценность, на мой взгляд, представляют документальные материалы, высказывания самого художника, которые позволяют заглянуть в его внутренний мир, творческую лабораторию, что в случае с Мулявиным сделать было непросто: Владимир Георгиевич не любил давать интервью, и их осталось немного. Мне удалось несколько раз довольно обстоятельно побеседовать с музыкантом. Эти разговоры, записанные на пленку, сохранились в моем архиве, и сегодня мне кажется важным опубликовать их.

В 1975 году, вскоре после окончания отделения музыковедения Белорусской государственной консерватории, я пришла работать в музыкальную редакцию Белорусского радио. С самого начала круг моих профессиональных интересов находился в области «серьезной» музыки, на эстраде же пристальное внимание притягивало творчество только одного человека — это был Владимир Мулявин. Когда я впервые услышала в исполнении «Песняров» его обработки белорусских народных песен «Ой, рэчанька», «Купалінка», мой музыкальный слух как бы очистился, возрадовался, приняв совершенно новое звуковое измерение. И дело тут было не только в неожиданных красивых гармониях, чистоте и созвучности мужских голосов, а еще и в какой-то удивительной трепетности исполнения. Такое глубинное проникновение в суть старинного народного напева молодыми эстрадными музыкантами тогда поразило, захотелось послушать их снова, проследить за творческим развитием ансамбля и его руководителя.

Потом я делала передачи для Белорусского и Всесоюзного радио: то в связи с очередным юбилеем «Песняров» или Мулявина, то по случаю премьеры их новой программы. Естественно, хотелось обсуждать интересующие меня и мно-

гих радиослушателей вопросы именно с Мулявиным, потому что катализатором идей и стержнем коллектива был именно он. Однако поймать Владимира Георгиевича для записи интервью было действительно непросто. И если бы не хороший знакомый нашей семьи Владислав Мисевич (он в те годы был правой рукой Мулявина во многих деловых вопросах, в контактах с прессой), вряд ли бы мне удалось записать несколько развернутых бесед с ним, которые вы прочтете ниже. Но почему же Владимир Мулявин не любил давать интервью? Мне кажется, дело было не в звездности и гордыне. Наоборот, в первые минуты записи он даже стеснялся, отшучивался, пытался отговориться от неприятной процедуры до тех пор, пока речь не заходила о важных для него творческих и жизненных вопросах. Когда он включался в разговор, перед тобой раскрывался удивительно искренний, добрый, глубокий человек с тонкой душевной организацией, что особенно проявлялось в тембре, неповторимых интонациях его голоса (жаль, что бумага не может этого передать). В то же время это был собеседник с мгновенной реакцией, прекрасным чувством юмора, озорным огоньком в глазах.

Еще одна причина, по которой Мулявин не любил давать интервью, думаю, в том, что он жил и горел творчеством: ему жалко, да и не очень интересно, было тратить время на разговоры с журналистами. Как истинный талант, он существовал в своем измерении, был постоянно устремлен к новым художественным поискам. Так же не заботился о записях программ, о том, как сохранится созданное им (во всяком случае, в годы нашего общения). Мулявину было не до этого — он все время двигался вперед. В результате осталось совсем немного качественных студийных записей ансамбля, в чем я убедилась, работая как редактор и составитель над «Антологией ансамбля «Песняры» в Дирекции фондовых материалов Белтелерадиокомпании. Мы сделали 12 компакт-дисков, куда вынуждены были включать много трансляционных, не всегда технически совершенных записей ансамбля, чтобы наиболее полно представить его историю. Кстати, эти записи в свое время Владислав Мисевич привозил то из Ленинграда, то из Москвы, приносил нам на радио, а мы их оформляли и сдавали в фонд. Только благодаря этому в фонотеке Белорусского радио есть фрагменты уникальной песняровской программы календарно-обрядовых песен (о ней речь впереди), композиции из программы «Через всю войну», отдельные песни.

Обстоятельно беседовать с Владимиром Мулявиным мне довелось трижды: в 1979 году, когда я делала передачу к 10-летию «Песняров»; в 1982-м — в связи с премьерой программы «Я не паэт» на стихи Янки Купалы, и в 1984-м — для передачи, посвященной 15-летию коллектива. Для этой публикации я выделила из наших бесед отдельные темы, которые показались мне самыми важными.

Путь к «Песнярам»

— Владимир Георгиевич, как Вы пришли в музыку?

— С детства я любил русские народные песни. Мне приходилось и самому их петь, и слушать, как поют их у меня дома, на улице. Я также освоил несколько народных инструментов и поступил в Свердловское музыкальное училище на отделение народных инструментов по классу балалайки и гитары. Там мне повезло, потому что я попал в руки замечательного музыканта и удивительного человека Александра Ивановича Навроцкого. Это был очень музыкальный человек. Он жил один и жил только музыкой. Дома у него была прекрасная библиотека, а еще все инструменты, которые только можно было достать: от украинской бандуры до набора всех духовых. Нас, его учеников, было человек пять-шесть, и всех он заразил любовью к музыке. Александр Иванович приучил нас любить народную музыку, духовую, классическую симфоническую и камерную музыку, за что я ему всю жизнь буду благодарен.



«Где же моя темноглазая, где?»

Я остановился на гитаре. Может, это было навеяно временем. Я был фанатом: каждый день занимался по многу часов. Учился на таких классических испанских гитаристах, как Андрес Сеговия, Франсиско Таррега, и переиграл все значительные произведения для гитары — исполнял их в концертах и для себя. Как гитарист я работал в разных филармониях России, пока судьба не забросила меня в Беларусь. Был в Минске на гастролях, мне очень понравился город, понравились люди. До этого, к своим 22 годам, я уже побывал в разных городах, но в Минске мне захотелось остаться. Я полюбил его, и наверное, лучше, ближе, любимее города я не найду. Меня взяли в Белгосфилармонию гитаристом, отсюда забрали в армию: я служил в Уручье, там, кстати, и встретил своих единомышленников по будущему ансамблю. Коллектив собрался из любителей белорусской народной песни, знающих если не все, то многие жанры музыкального искусства.

(1979 г.)

О белорусской народной песне

— Владимир Георгиевич, но Вы же сами из России. Как пришла в голову мысль о создании ансамбля, в репертуаре которого главное место занимала именно белорусская народная песня?

— Эта идея возникла не только у меня, мы все вместе в ансамбле думали о том, в каком направлении нам работать, и решили делать именно такую группу. Это было новое для нас и в творческом, и в человеческом отношении. Мы с самого начала старались не походить на другие коллективы, хотели иметь свой неповторимый творческий облик.

— А чем привлекла белорусская народная песня, вроде бы не родная для Вас?

— Когда я приехал в Белоруссию и впервые услышал белорусскую народную песню по радио, я зажегся этой совершенно новой музыкой. Потом мы в ансамбле начали работать с белорусским фольклором, начали его серьезно изучать. Мы в нашем эстрадном жанре были новичками в этом направлении: эксперименти-

ровали, пробовали, искали. Прежде чем браться за такой материал, мне нужно было послушать эти песни в первоисточнике, поэтому пришлось много поездить по деревням.

— Может быть, что-то из этих поездок особенно запомнилось — народные певцы, обряды?

— Во-первых, запомнилась атмосфера. В основном это было Полесье: Туров, Житковичи — мы ездили в те районы. Некоторые песни из тех мест потом вошли в фильм «В земле наши корни». Но вообще должен сказать, что мы не ставили перед собой задачу открывать белорусские народные песни — до нас это уже сделали многие фольклористы из Академии наук. Они собрали богатейшую фонотеку, которая открыта для нас, и мы можем пользоваться этим материалом, за что очень благодарны. Нам же необходимо было видеть, как это исполняется в народе, причем хотелось послушать разные трактовки одной и той же песни. В принципе, многие народные песни очень похожи по интонациям, тематике, ритму, нам же требовалось искать что-то особенное. Изучив такие разные интерпретации, позже мы решали: подойдет ли данная песня в нашу программу. Да и не все песни можно переложить на современный язык. Потом, не забывайте, что у нас ансамбль мужской, а значит, даже понравившиеся женские песни нам не подходят. В результате из прослушанного материала оставался небольшой процент, подходящий для «Песняров».

Кроме поездок по деревням мне очень помогли в изучении белорусского фольклора уже опубликованные издания белорусских народных песен — сборники Григория Ширмы и Геннадия Цитовича. Но как это все перевести на современный язык эстрадной группы? В первоисточнике народную песню мы исполнять не могли — для этого уже существовали разные хоры и ансамбли, а нам хотелось обратить внимание молодежной аудитории на белорусскую народную песню. Как это сделать?.. Вначале это была только инструментальная музыка. Первая песня была «Чаму ж мне не пець», где хотелось использовать все: народную мелодику, современный ритм и, конечно, полностью сохранить текст, передать настроение песни. Не знаю, насколько удачен был этот первый опыт, но это было чем-то совершенно новым для эстрады.

— Вы сказали, что когда впервые услышали белорусскую народную песню, она Вас удивила. Чем?

— Наверное, в первую очередь меня поразил мелодизм. Хоть и говорят, что все славянские мелодии — русские, украинские, белорусские — похожи, но мелодии белорусских народных песен мне показались какими-то совершенно нетронутыми, чистыми, неожиданными в ладовом отношении. В них есть что-то исконное, старинное. В русском фольклоре тоже немало прекрасных мелодий, но где-то он, так сказать, на слуху. А в белорусском фольклоре для меня и других членов ансамбля было что-то новое, и мы увлеклись работой. С возрастом мы стали более осторожно относиться к белорусской народной песне, у нас даже появились композиции в первоисточнике, но мы в их исполнение все равно стремимся привнести что-то свое, присущее только «Песнярам». Поэтому иногда исполнение может быть абсолютно близко к фольклорному, а может — и к современной песне.

— Владимир Георгиевич, Вы сами сделали много разнообразных обработок белорусских народных песен. Интересно, как Вы подходите к этому делу? Что ставите во главу угла?

— В первую очередь, нужно сохранить песню, чтобы она была узнаваемой — это самое главное: стараться меньше ее исказить, подчеркнуть то, что характерно именно для данной песни, — интонацию, гармонию, текст.

— По какому принципу Вы отбираете песни для программ ансамбля?

— Вначале мы брали просто белорусские народные песни, которые были популярны в Беларуси. Если они столько лет пелись здесь, были близки народу, то смогут понравиться и слушателям за пределами республики. Поэтому в

первую программу вошли такие популярные песни, как «Касіў Ясь канюшыну», «Чаму ж мне не пець», «Стаіць вярба» и другие. Сейчас мы работаем в несколько ином плане, окунулись в более глубокие пласты белорусской народной песни.

— А как Вы подходите к обработке народной песни? Как работаете над ней?

— Я смотрю: подойдет ли она в данную программу, как прозвучит именно сегодня. Поскольку мы эстрадный коллектив, то должны учитывать восприятие современного человека, молодого слушателя. Желательно сделать так, чтобы песня зазвучала и народно, и современно. Это задачи, которые в первую очередь стоят перед нами, аранжировщиками народных песен.

(1979 г.)

Мулявинские обработки белорусских народных песен — поразительное явление: трудно представить, как можно было, приехав сюда уже творчески сформировавшимся человеком, так глубоко проникнуть в душу этих песен, ощутить их неповторимое своеобразие, с таким тонким вкусом, мастерством аранжировать их, причем с самых первых работ. Объяснение напрашивается одно — это истинный талант, человек, влюбленный в белорусскую песню. Уже самые первые его обработки белорусских народных песен — «Касіў Ясь канюшыну», «Ой, рэчанька», «Ой, рана на Івана», «Купалінка», «Скрыпяць мае лапці», «Як я ехаў да яе» и другие — представляют собой практически совершенные образцы песняровского стиля. То есть, он чувствовал все это нутром изначально, без всяких многолетних мучительных поисков. В каждой песне найдена своя изюминка: голосами, гармонией, инструментами подчеркнута ее особенность. И в дальнейшем Владимир Мулявин умудрялся находить все новые, незапетые, малоизвестные белорусские народные песни и так раскрывал их перед слушателями, что они запоминались на всю жизнь: например, «Машанька», «Каліна»… И как приятно бывало, находясь вдали от родной Беларуси, слышать от молодых людей из других республик СССР, что благодаря нашим «Песнярам» они открыли для себя «такие красивые белорусские народные песни». Некоторые из них, например, «Касіў Ясь канюшыну», вообще стали всесоюзными шлягерами. Вершинным же достижением «Песняров» в работе с белорусским фольклором, на мой взгляд, стала программа календарно-обрядовых песен, премьера которой состоялась в 1980 году.

О программе календарно-обрядовых песен

— В этой программе мы хотели представить белорусские календарные обряды по временам года, как это было в народных традициях: начиная с зимы и дальше — весна, лето, осень… Для каждой поры года мы отобрали по нескольку песен, которые стараемся как-то сюжетно обыграть. Материала мы собрали очень много — можно целую программу построить только на колядных песнях, на весенних, волочебных, купальских, но надо учитывать рамки концерта и где-то за час попытаться провести интересную сюжетную линию, чтобы захватить зрителя.

Я хотел бы подчеркнуть еще одну особенность программы календарно-обрядовых песен: она создана не для того, чтобы развлекать публику. Нам хотелось донести до слушателя что-то совсем новое, заставить его задуматься. Как у нас это получилось, это уже другой вопрос, может быть, кто-то бы сделал лучше, но мне кажется, показать такую программу мы обязаны. Хотя, к сожалению, не все ее восприняли, для части зрителей это оказалось нелегко, поэтому будем пересматривать свой подход к обработкам народных песен.

— Не кажется ли Вам, что вы в данном случае идете на поводу у публики?

— Мы не можем не учитывать восприятие публики. Некоторые слушатели нам говорили, что программа получилась тяжеловатая, хотя многим музыкантам

и нам она нравится. Там, правда, есть просчеты, которые мы видим и хотим исправить. Мы вообще хотим сейчас отдохнуть от народной песни. Может быть, со временем посмотрим на нее по-новому, отталкиваясь от наших первых работ. Хочется, чтобы после прослушивания нашей программы зритель запел белорусские народные песни, которые мы исполняем, чтобы они запали ему в душу. К сожалению, с программой календарно-обрядовых песен этого не произошло…

(1982 г.)

Действительно, композиции из этой программы народ не запел, стали популярными только «Калядачкі», но это совсем не значит, что слушатель не воспринял программу. Мне довелось быть свидетелем успеха «Песняров» при ее исполнении в московском концертном зале «Россия».

Вообще с программой колядно-обрядовых песен у меня связаны особые воспоминания, потому что именно на ее репетициях мне посчастливилось побывать. Помню, как «Песняры» долго собирались, настраивали аппаратуру — казалось, что делали они все как бы нехотя, с ленцой. Я недоумевала: неужели у них всегда так проходят репетиции? Откуда же тогда берется такое мастерское исполнение? Но вот, наконец, Мулявин назвал конкретную песню — и тут началось…

Вроде бы спели начало хорошо, но нет, что-то не понравилось. И вот пять, десять, двадцать раз повторяется одна фраза в поисках более точных интонаций. Причем такую требовательность проявлял не только руководитель ансамбля, а все его участники. Час шел за часом, а они все шлифовали одну песню. Мне со стороны казалось, что она уже почти совершенна, но музыканты были неудовлетворены и готовы бесконечно искать лучший вариант исполнения. Складывалось ощущение, что рабочие часы тут не считают, а для достижения нужного результата готовы трудиться сколько угодно. Я устала слушать, а они все пели и пели… Помню, как меня тогда поразили их работоспособность, выносливость, одержимость творчеством.

На мой взгляд, два крыла многие годы держали в полете художника Владимира Мулявина — любовь к белорусской народной песне и стремление к собственному композиторскому творчеству. Постепенно последнее стало перевешивать. Но это не значит, что он потерял равновесие — просто в своей творческой устремленности художник, образно выражаясь, из самолета превратился в стремительно набирающую высоту ракету. Проследить этот путь Мулявина-композитора, мне кажется, очень интересно, потому что он почти на каждом этапе удивляет неожиданными творческими находками и открытиями.

Когда я на Белорусском радио готовила передачу к 15-летию «Песняров» (1984 год), мне удалось отыскать и прослушать в фонотеке киностудии «Беларусьфильм» самые ранние записи ансамбля, который тогда еще назывался «Лявоны». Честно говоря, эти записи вызвали улыбку, показались довольно наивными и смешными: ритм модных тогда танцев (твист, шейк), незатейливые тексты и аранжировки — невозможно поверить, что тут сам Мулявин приложил руку. Еще труднее — осознать, что буквально через несколько лет появится его «Александрына» на стихи Петруся Бровки. Фактически первое обращение молодого музыканта к белорусской поэзии родило шедевр национальной песенной лирики.

Правда, с определением «композитор» у Мулявина долгое время были проблемы. Помню, как некоторые члены Союза композиторов возмущались: «Какой он композитор?! Даже музыкальное училище как народник не окончил, не имеет консерваторского специального образования, не является членом Союза композиторов, а туда же!..» Тут современному читателю, думаю, надо пояснить, что в советские времена только член упомянутого союза мог называться композитором, остальные были просто авторами.

Так что по формальному признаку подобные оппоненты были в чем-то правы, но дай Бог иному дипломированному композитору написать хотя бы одну такую песню, как мулявинская «Александрына»! А после нее были «Завушніцы»,

«Марыся», «Не глядзі», песни из программы «Через всю войну». Можно сказать, что Владимир Мулявин — феномен, потому что, действительно не имея композиторского образования, он мог сочинить не только красивую мелодию (такое случается и у любителей), но и значительную развернутую композицию на целое отделение концерта со сложной драматургией, интересным гармоническим языком, изобретательными насыщенными аранжировками.

На первом этапе его композиторского пути плодотворной питательной средой для таланта Мулявина стала белорусская поэзия. Повторюсь, это поразительно, как приезжего человека, выходца из России, покорило, вдохновило и увлекло белорусское народное и авторское поэтическое слово.

О работе с белорусской поэзией

— Знаете, за годы, что я прожил здесь, этот язык уже вошел в меня. А если и возникают какие-то проблемы — у меня много знакомых литераторов, которые всегда помогут, посоветуют.

— Вашей первой значительной композиторской работой была песня «Александрына», расскажите об истории ее создания.

— Я написал ее очень быстро, потому что у нас появился солист, который мог бы спеть такую лирическую песню, — Леонид Борткевич, она написана специально для него. Но вдохновителем, конечно, была поэзия Петруся Бровки.

— А с Бровкой Вы встречались?

— Да, и он был доволен этой мелодией.

— Несколько композиций Вы написали на стихи Максима Танка, непростого поэта для песенного жанра…

— У Танка прекрасная лирика, хотя у него много белого стиха и писать на него нелегко. Но мне Максим Танк очень нравится, потому что он современный поэт. Как-то за один присест я написал на его стихи шесть песен — так нахлынуло на меня. Он был даже удивлен, что его стихи, которые никогда не ложились на музыку, так прозвучали. Первой я написал композицию «Аве, Мария». Потом появились «Завушніцы», которые стали очень популярны. Программной вещью у нас является «Готика святой Анны», а к авторскому концерту мною еще были написаны баллады «Пудзіла» и «Нефертити», но потом они ушли из программы.

В последнее время я перешел на цельные программы с одним сюжетом и, к сожалению, стал меньше писать песен. А раньше у меня был такой период, когда я писал только песни, много песен, которые никому не показывал. Но я и сейчас в неделю обязательно пишу две песни. Хотя бы для себя — без этого я не могу. Только мои домочадцы их слушают, пою их своему ребенку. Но в основном надо писать песни для программ. Когда я чувствую, что они могут туда не подойти, они остаются у меня «в столе». Мы стали к себе более придирчиво относиться — можно писать очень много, но это все будет не туда, не туда, не туда.

— Вернемся к Вашей работе с белорусской поэзией. Мне кажется, особенно Вы полюбили Янку Купалу. Буквально с первых шагов «Песняров» в концертах ансамбля звучали песни на его стихи, потом в репертуаре коллектива появились такие крупные работы, как «Песня пра долю», «Гусляр». Вы также активно участвовали в записи музыки Сергея Кортеса к фильму режиссера Бориса Луценко «Раскіданае гняздо» по пьесе Янки Купалы, где выступили вместе с оркестром Белорусского радио и телевидения. А к 100-летию поэта была подготовлена оригинальная, содержательная композиция «Я не паэт». На ней и хотелось бы остановиться подробнее. Какие критерии были у вас при составлении этой композиции, почему вы остановились именно на этих стихах?

— В первую очередь, мы хотели показать разнообразие и многогранность творчества Купалы: в программе звучат и лирика, и юмор, и сатира. В трагедии,



После концерта во Дворце спорта.

в драматическом ключе мы уже показывали Купалу раньше, а сейчас захотелось раскрыть другие его грани — у нас все же эстрадный концерт, и мы хотели сделать эту программу более доходчивой.

— А есть у Вас в ней любимая песня, самая близкая?

— Да, «Марыся». Она написана в моих старых традициях плюс такие стихи Купалы! Наверное, это одна из лучших моих последних песен.

— Мне показалось, что в этой композиции у «Песняров» появилось определенное новшество — усиленное внимание к развернутым инструментальным проигрышам, связкам. Чем это вызвано?

— Во-первых, мы старались более ярко и образно донести поэзию Купалы. Во-вторых, это была первая программа, в которой как аранжировщики участвовали многие музыканты ансамбля. Я писал не все аранжировки, мне помогали ребята: Игорь Поливода, Валерий Дайнеко и Владимир Ткаченко. Они лучше знают современную музыку, и мне хотелось таким образом перекинуть своеобразный мост от поэзии Купалы в сегодняшний день. Это какая-то этапная для меня работа, которая меня вдохновляет. Я сейчас на подъеме, хочется писать и работать.

— Судя по этой программе, у Вас есть такое редкое качество, как абсолютный слух к поэтическому слову. Почти все произведения, сочиненные Вами, написаны на очень хорошие стихи — содержательные, глубокие, гармоничные. Чем это вызвано: врожденным вкусом или Вы много читаете?

— Наверное, больше чутье. Возьмем Купалу — разве мог он написать плохо?! Мне у него нравится абсолютно все, единственная загвоздка — отобрать то, что нужно, чтобы сделать интересную разножанровую программу. Как у него все музыкально! Он абсолютно близкий нам поэт, поэтому купаловская программа хорошо пошла, ее принял зритель.

(1982 г.)

Могу засвидетельствовать, что так оно и было. Мне удалось побывать на одном из премьерных показов этой программы в минском Дворце спорта. Огромный зал был полон, причем преобладала молодежная аудитория. То, как она воспринима-



На одном из концертов.

ла непростые, совсем не развлекательные композиции, честно говоря, немного удивило и порадовало. Ведь молодежь шла на эстрадный концерт современного популярного ансамбля и, наверное, не предполагала услышать подобное. Но талант Мулявина, аранжировщиков, всех музыкантов ансамбля, их влюбленность в поэзию Купалы заразили и молодых зрителей.

Если же говорить о художественном уровне программы «Я не паэт», то здесь Мулявин-композитор проявился, на мой взгляд, по-новому. Чем дальше он продвигался в своем развитии и развитии ансамбля, тем серьезнее ставились и решались творческие задачи. В купаловской программе, кроме озорной, танцевальной «Людкі», остальные номера назвать песнями трудно. Это развернутые, эмоционально и музыкально насыщенные композиции. Каждая из них решена по-своему — в соответствии с содержанием стихов Янки Купалы: «Марыся», «Не глядзі» — лирико-драматические баллады, едкую сатирическую зарисовку «Ну как тут не смеяться» и остросоциальный монолог «Разлад» вообще не знаешь, к какому жанру отнести. Да это и не важно — главное, какой сильный заряд они несут слушателю. Из наследия Купалы выбраны малоизвестные, незапетые, непростые по содержанию и стилю стихи. В этом выборе проявились не только оригинальный композиторский поиск, литературный вкус Мулявина, но и его человеческая, гражданская позиция, стремление призвать слушателя к размышлению, к сопереживанию. После программы «Я не паэт» такое направление в творчестве Мулявина будет разрабатываться в следующих программах — «Через всю войну», «Во весь голос».

Об эволюции творчества

— Владимир Георгиевич, Ваше композиторское развитие шло по нарастающей: от обработок белорусских народных песен к содержательным балладам на стихи русских и белорусских поэтов, а потом появились и более крупные формы, такие как «Ванька-Встанька» на стихи Евгения Евтушенко. Это по жанру что было?

— Что-то вроде развернутой баллады. Произведение музыкально получилось не длинное, просто сюжетно оно оказалось немного растянуто — надо было рассказать всю историю Ваньки-Встаньки. Думаю, что это баллада с музыкальными иллюстрациями. Где-то она была навеяна музыкой Мусоргского, Римского-Корсакова. Мне хотелось попробовать сделать такой своеобразный классический вариант, основанный на русском мелосе, но выраженный современным языком, с современной ритмикой. Кстати, я получил много писем с вопросом: почему «Песняры» не исполняют и не записали композицию «Ванька-Встанька»…

— И почему?

— Сначала у нас поменялся состав ансамбля, потом мы перешли на «Песню пра долю». А давать в одном отделении оперу, а потом во втором еще большую, 20-минутную, композицию мы не могли. Я считал, что навязывать свои серьезные баллады я не имею права. Люди пришли послушать еще и «Вологду», мы же не можем игнорировать желания публики.

— А «Песня пра долю» — это рок-опера?

— Нет, скорее фолк-опера. Я боюсь слова «рок», его любят употреблять маленькие мальчики, которые смело берутся за все и говорят: это рок, определяют свои опусы именно таким жанром. Может, потому, что слово иностранное, броское и звучит модно. Все-таки мы занимаемся фольклором и будем заниматься им, а ритмическая основа — это еще не содержание… Потом после «Песні пра долю» у нас был «Курган».

— Как вы пришли к такому сложному масштабному произведению?

— У нас давно была такая идея с Игорем Лученком, после того как он показал мне свое сочинение. Когда мы с ним были в Америке, у нас с собой оказался сборник Янки Купалы. Стали перечитывать его, вспоминать уже написанную Игорем музыку, обсуждать, что можно сделать вместе, и пришли к такому варианту. Приехали домой — пересмотрели весь материал: у Игоря кантата оказалась сокращенной, решили доделывать ее, серьезно подойти к этой теме. В то время для такой сложной работы у нас не хватало музыкантов — у Лученка кантата написана для большого оркестра и хора, надо было как-то достойно аранжировать его музыку, чтобы это было доступно по форме подачи для эстрадного концерта и в то же время не примитивно. Где-то в течение года мы с Игорем работали над «Курганом», он дописал много кусков, я все аранжировал. Мы увлеченно работали над этим произведением и с удовольствием исполняли его. Такой эксперимент можно было исполнять, но не долго. Для подобных развернутых серьезных работ есть оперные театры, симфонические оркестры, хоровые капеллы, прекрасные исполнители. То есть мы начали вклиниваться не в наш жанр. Потянуть его мы могли, но долго оставаться в нем — нет. Где-то мы, работая в этом направлении, перемудрили, усложнили — надо было искать другие формы. Не скажу, что купаловская композиция «Я не паэт» проще, ее музыкальный язык очень непростой, но по форме она воспринимается легче, потому что состоит из завершенных разнохарактерных номеров без общей сюжетной линии. Это уже эстрадное решение. Мы же все-таки работаем в жанре эстрады, где одну трагедию на целое отделение давать не вполне естественно. Может быть и такое, но не как система. Мы два года исполняли «Курган», а основная часть нашей публики мало что там поняла. Когда нас приходили поздравлять, благодарить после концерта, мы спрашивали: «Про что это произведение?» Нам отвечали: «Что-то про партизан». Представляете?! Люди не понимали, о чем мы поем, хотя в этой композиции для меня было очень важно, чтобы текст доносился ясно и перед исполнением было пояснительное вступление. Оказывается, ничего этого зрителю не нужно. Он слушает музыку — и все. Но есть же еще купаловское слово! Мы не ради музыки брали его поэзию, а для того, чтобы донести ее содержание! Поэтому мы пересмотрели свои позиции и решили немного изменить, упростить форму.

— В будущих таких крупных работах вы не думаете прибегнуть к какому-то сценическому действу? Мне кажется, это бы помогло более сильному эмоциональному воздействию ваших композиций на зрителя-слушателя…

— У нас были попытки. Но, например, в «Кургане» мы категорически отказались от этого, потому что все перипетии сюжета проиллюстрировать просто невозможно. В данном случае мы хотели акцентировать внимание на музыке и поэзии. А мысли сделать программу с интересным сценическим решением есть.

— Если говорить об эволюции ансамбля, то тут, мне кажется, имеется тенденция к увеличению роли инструментальной составляющей, особенно в крупных работах. В «Песняры» пришли очень сильные инструменталисты с консерваторским образованием, все заметнее развернутые инструментальные проигрыши во многих композициях. Не думаете ли вы вводить какие-то самостоятельные сольные инструментальные эпизоды в свои концерты?

— Хочется, конечно, показать ребят, они очень способные. Мы ведь много поем в концертах, и вокал у нас очень сложный — не думаю, что какая-то другая группа могла бы петь так насыщенно по тесситуре весь концерт. Поэтому, конечно, для разнообразия программы мы с удовольствием сделали бы это, но пока не можем найти свой почерк, свое лицо в этой области. Для себя мы играем инструментальные пьесы, но еще не чувствуем, что это наше, и не выносим подобные эксперименты на суд публики.

— Хотелось спросить и о вашей работе с белорусскими композиторами.

— Мы постоянно пытались наладить такую связь, но это, к сожалению, получалось не всегда удачно, кроме Юрия Семеняко и Игоря Лученка. С Игорем нас вообще связывает большая творческая дружба. С самого начала он нас понял, хотя мы были молодым, никому не известным коллективом, и специально для нас написал песню «Хатынь». Мы успешно выступили с ней на Всесоюзном конкурсе в Москве, и с того времени нас связывает творческая дружба. Он нам периодически показывает свои произведения, что-то мы отбираем, оставляем. У нас в концертах почти всегда звучат песни Игоря Лученка. Знаете, Игорь самый близкий для нас автор по стилю, по ощущению поэзии. Он, как и мы, очень серьезно, критически относится к стихам — и у нас всегда звучат хорошие стихи, которые Лученок подбирает к своим песням. Он, на мой взгляд, как ни один другой композитор близок к белорусскому мелосу. Прекрасно знает фольклор: мы не раз с ним ездили по деревням, где собирали народные песни. Он нам очень помог в наших работах, и мы рады, что у нас за это время выработался определенный почерк, который где-то сформировало влияние Лученка на нас, где-то — «Песняров» на Лученка.

Что же касается остальных… Часто приходится слышать от них упреки, что, мол, Мулявин не композитор, а большую часть программ строит на своей музыке. А что же нам делать, если композиторы не пишут значительных, интересных композиций на целое отделение, в которых нуждается ансамбль «Песняры»?! Поэтому приходится мне заниматься этим, хотя я бы с удовольствием уступил это место другому автору.

(1982 г.)

Важным этапом в творческой биографии Владимира Мулявина стала программа «Через всю войну», которую ансамбль «Песняры» подготовил к 40-летию освобождения Беларуси и Минска от фашистских захватчиков. Это был 1984 год, премьера состоялась в Концертном зале Белорусской государственной филармонии. Помню, как в тот вечер мне совсем не хотелось идти на концерт, сидеть час в душном зале и слушать, как казалось, тяжелую программу. Признаюсь, что открытий в ее решении ансамблем «Песняры» я не ожидала — слишком уж много было про войну сказано и спето. Но я ошиблась. Буквально с первых звуков и до последнего аккорда «Песняры» держали зал в напряжении. Временами устанавливалась какая-то священная тишина, многие слушатели не могли сдержать слезы, в конце долго не отпускали музыкантов. Невозможно было равнодушно смотреть и на то, как восприняли эту программу ветераны Вели-

кой Отечественной войны, которых пригласили на премьеру. Надо было видеть, с какими взволнованными лицами они поднимались на сцену, чтобы вручить музыкантам цветы, как сердечно благодарили «Песняров». О себе могу сказать, что после концерта идти домой не хотелось, и я долго бродила по Минску, вспоминая фрагменты композиции.

О программе «Через всю войну»

— Это для нас была самая тяжелая работа. О войне много стихов написано, выбор был очень большой, но надо было найти такие, чтобы были тебе по душе, чтобы в них не чувствовалось фальши. Ведь можно было пойти по более легкому пути и сделать программу по знакомым песням военных лет, но «Песняры» все-таки творчески и человечески выросли, и нам захотелось сказать о войне именно своим музыкальным языком на основе хорошей поэзии. Примерно полгода ушло на поиск стихов и сценарное решение. Хотелось показать хорошую поэзию, но в то же время доступную, чтобы она была понятна с первого раза, поскольку публика приходит на программу, как правило, один раз. В результате, в качестве сценариста мы пригласили профессионального литератора, известного белорусского поэта Валентина Тараса, который специально для этой программы написал несколько стихотворений, их дополнили стихи советских поэтов: Александра Твардовского, Александра Прокофьева, Семена Гудзенко, Михаила Кульчицкого, а также белорусских поэтов Янки Купалы, Рыгора Бородулина, Эди Огнецвет и Наума Кислика. Конечно, у нас с Тарасом случались творческие споры, но работать с ним было приятно — он хорошо знал войну, интересно рассказывал о ней, он нас вдохновлял в этой работе. Я очень доволен, что познакомился с ним — сначала с его поэзией, а потом и как с человеком. Рад, что мы осилили эту программу.

— Расскажите, пожалуйста, о ее драматургии.

— В программе отражены разные периоды войны, но связи между стихами нет — есть личное отношение к этой теме и сопереживание. Нам не хотелось делать программу только минорной и тяжелой — все-таки коллектив у нас эстрадный, концертный, а это диктует свои правила существования на сцене. Да и во время войны были не только трагедии — люди жили, любили, радовались, надеялись. Поэтому мне хотелось показать их жизнь в самых разных обстоятельствах.

— Владимир Георгиевич, а Вы войну помните? Откуда у Вас такое ее понимание?

— Войну я, конечно, не помню, помню только пленных, помню песни тех лет и то, как они исполнялись. Они все у меня на слуху, начиная с Руслановой, Утесова, других наших выдающихся певцов того времени. Чего сейчас, может быть, не хватает современным исполнителям, это той искренности, с какой тогда пели люди. Не то, что сейчас певцы хуже, — нет. Но той теплоты, что была в те времена, я не слышу. Я слышу то ли какую-то напыщенность, то ли псевдолиричность, какую-то фальшь в выражении чувств.

— А из песен военных лет у Вас есть любимые?

— «Темная ночь» Никиты Богословского… да разве мало хороших песен было создано тогда? Очень много! И они при сочинении этой программы звучали во мне. Цитаты из них я не использовал, кроме одной — в конце программы звучат интонации популярной в то время песни Исаака Любана со словами «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина…».

— Когда я наблюдала за музыкантами ансамбля «Песняры» на концерте, чувствовалось, что они буквально живут этим. Некоторые из них довольно молоды, а такое ощущение, что они пережили войну сами. Как они работали?

— Была проведена хорошая беседа (смеется. — *И. М.*). А если серьезно — однажды я сказал, что у меня есть идея сделать такую программу, спросил: как ансамбль к этому отнесется? Куда будем двигаться после Купаловской компо-

зиции? Каждый из членов ансамбля прошел серьезный отбор, чтобы попасть в коллектив, это люди с определенным опытом, с профессиональными навыками, музыканты, которые имеют большой диапазон и могут поднять любую программу. Вопрос я поставил так: «Что будем делать дальше: какие-то современные песни и баллады или серьезную программу на военную тему?» И все ответили: «Только эту программу. Мы беремся за нее». Не было абсолютно никаких возражений.

(1984 г.)

Еще об ансамбле и немного о себе

— Владимир Георгиевич, состав вашего ансамбля несколько раз менялся. А какими качествами надо обладать, чтобы стать песняром?

— Надо быть преданным нашему делу, так же как мы, основоположники коллектива, так же любить народную песню и музыку, которой мы занимаемся. Это должен быть, в первую очередь, профессиональный музыкант, потом мы уже смотрим на его человеческие качества, потому что мы много времени проводим вместе на многочисленных гастролях, у нас, можно сказать, семья, поэтому не последнее место занимают человеческие качества члена группы. Если мы берем человека, значит, это надолго, и желательно, чтобы он влился в наш коллектив. Что до профессиональных качеств, то тут важно, чтобы каждый член ансамбля был не просто исполнителем (пусть даже и хорошим), важно, чтобы он был творческой личностью, что-то свое привносил. Безынициативность и равнодушие убивают творчество, наше дело не должно превращаться в службу. У нас каждый имеет право высказывать свое мнение. В ансамбле 12 человек — это 12 характеров, с мнением каждого надо считаться. Если принимается коллективное решение, то оно обязательно для всех. Я очень рад, что нашел своих единомышленников.

— То есть музыканты «Песняров» не пассивные исполнители Вашей воли как руководителя, а активные соучастники творческого процесса?

— Конечно.

— А с чем вы выходите к публике?

— Мы хотим доказать правоту своего дела. Наша задача — убедить человека, который пришел на концерт «Песняров», в том, что музыка, которую мы выносим на суд публики, любима нами, мы ее понимаем и хотим донести до слушателя. То есть у нас есть основание, чтобы исполнять в концерте не только песни типа «Вологды», а и такие масштабные работы, как, например, «Курган» или «Я не паэт».

— Благодаря «Песнярам» по всему Советскому Союзу узнали и запели белорусские песни. А если говорить о других исполнителях в вашем жанре, есть среди них те, которые Вам нравятся?

— Я должен видеть на эстраде людей, которым верю, — тогда я начинаю воспринимать музыку. Может быть, исполнитель поет о святых для нас вещах, а я вижу его глаза и не могу ему поверить, чувствую какую-то фальшь, вижу, что он озабочен только внешними, у кого-то подсмотренными эффектами, — конечно, мне это не нравится.

— Так Вас никто в современной эстраде не привлекает?

— Почему? Есть мастера, профессионалы. Когда это хорошо и профессионально сделано, я с удовольствием слушаю. Но мне больше нравятся джазовые инструментальные ансамбли.

— А если говорить о классической музыке? Приходится ли Вам ее слушать?

— Конечно. Но, к сожалению, редко, потому что все время уходит на свой жанр. Если бы у нас работы было меньше, я бы с удовольствием слушал классику. Ну что может быть лучше для вдохновения, чем классическая музыка?! У меня есть мечта: когда я буду более-менее свободен, стану посещать классические концерты.

— Самому исполнить что-то классическое не хочется?

— Об этом я даже и не мечтаю. Хотелось бы, конечно, организовывать такие музыкальные вечера, где бы наши ребята исполняли классику. Ведь в «Песнярах» все музыканты образованные: прекрасный скрипач Борис Бернштейн, отличный пианист Игорь Поливода, гитарист и скрипач Владимир Ткаченко, — все окончили консерваторию и, конечно, могли бы участвовать в таких концертах, хотя бы раз-два в год их проводить. Есть у нас такая мечта. Может быть, благодаря этому молодежь, которая ходит на наши выступления и не ходит на классические концерты, заинтересовалась бы классикой.

— Мне кажется, в вашем творчестве вообще прослеживается такая просветительская линия…

— Да, есть такое стремление. Кроме этого, нам хотелось бы, чтобы и дальше развивались наши традиции, любовь к народной поэзии, к белорусской народной песне, к белорусской музыке вообще.

— Владимир Георгиевич, мы все с Вами говорим о творчестве, об ансамбле «Песняры», хотелось бы задать Вам и несколько личных вопросов. Что Вы больше всего цените в людях?

— Конечно, искренность, порядочность. Если эти качества есть у человека, его уже можно любить.

— А в музыкантах?

— Преданность музыке, даже фанатизм какой-то. Музыка ни в коем случае не должна быть работой, она должна оставаться любимым делом до конца жизни.

— Ваше любимое занятие кроме творчества?

— Музыка.

— И в свободное время тоже?

— Да.

(1984 г.)

Такая увлеченность своим делом восхищает. Действительно, Владимир Мулявин жил музыкой, честно служил ей, был предан ей до конца, и эта искренняя любовь вызывала ответные чувства у благодарных слушателей… Хотя постижение его истинного таланта, на мой взгляд, еще только начинается.

Фото Евгения КОКТЫША.



ПАВЕЛ ШПИЛЕВСКИЙ

Описание посольства Льва Сапеги в Москву в 1600 году

В 1850 году в «Журнале Министерства Народного Просвещения» вышла статья Павла Шпилевского «Описание посольства Льва Сапеги в Москву в 1600 году». Обращение к исторической тематике было у писателя не случайным. Во время своих многочисленных путешествий по Беларуси Шпилевский не упускал случая для осмотра помещичьих библиотек и книжных сокровищ, которые хранились в церквях, монастырях и костелах. Хорошее знание языков позволяло ему читать книги, акты и хроники в оригинале и делать выписки для своих работ.

Проезжая через Меречевщину — родину предводителя восстания 1794 года Тадеуша (по метрике Фаддея) Костюшко, что на Слонимщине, Шпилевский не мог обойти своим вниманием богатейшую библиотеку Вандалина Пусловского. Одной из жемчужин этого собрания была рукопись секретаря посольства канцлера ВКЛ Льва Сапеги в Москву Ильи Пельгржимовского, которую владелец библиотеки случайно приобрел в Варшаве на распродаже книг одного ученого. Рукопись находилась под обложкой книги «Сборник панегириков и разных незначительных писем» и сохранилась не полностью. Однако и то, что осталось, представляет несомненный исторический и научный интерес.

Какие же политические события предшествовали посольству Льва Сапеги и какова была цель этого посольства? Целью посольства было заключение «вечного» мира с Россией, где к власти пришел Борис Годунов. Сапега, как дальновидный политик, мечтал о сближении двух христианских церквей: католической и православной. Скольких войн удалось бы избежать, если бы это свершилось! Однако в вопросах веры ни одна из сторон не хотела уступать. Обратимся к Владимиру Соловьеву: «Царствование Бориса относительно западных, самых опасных соседей, Польши и Швеции, началось при самых благоприятных обстоятельствах: эти державы, так недавно грозившие Москве страшным союзом своим под одним королем, теперь находились в открытой и ожесточенной вражде вследствие этого самого союза; Сигизмунд польский воевал с дядею своим, Карлом шведским, в котором видел похитителя своего отчинного престола. Годунов дал знать Сигизмунду о своем воцарении через думного дворянина Татищева; в Польше решили отправить в Москву для переговоров уже бывалого там и славного своею ловкостию в делах канцлера литовского Льва Сапегу, к которому приданы были Станислав Варшицкий, каштелян варшавский, и Илья Пелгржимовский, писарь Великого Княжества Литовского. 16 октября 1600 года въехал Сапега в Москву с обычным торжеством…

…Итак, вместо условий вечного мира посол Сигизмундов предложил условия союза, и союза, приближавшегося к объединению двух государств в одно. Цель Сигизмунда и советников его, иезуитов, при этом была ясна: если бы царь московский принял условия, то этим отворил бы в свое государство дорогу для

католицизма. Бояре отвечали послам, что статьи о союзе оборонительном и наступательном, о выдаче перебежчиков, о свободной торговле могут быть приняты по заключении вечного мира, для которого прежде всего надобно решить вопрос о Ливонии, искони вечной вотчине государей российских, начиная от великого князя Ярослава. Что же касается до других статей, поданных Сапегою, то государь не может согласиться, чтоб поляки и литовцы женились в Московском государстве, приобретали земли и строили церкви латинские, но не запрещает им приезжать, жить и оставаться при своей вере; о том, кому после кого наследовать престол, говорить нечего, потому что это дело в руках Божиих; при царском венчании возлагать корону принадлежит духовенству, а не светским людям. Начались жаркие споры о главном предмете, о Ливонии. До чего доходили бранные речи, видно из следующего разговора Сапеги с думным дворянином Татищевым. Татищев: «Ты, Лев, еще очень молод; ты говоришь все неправду, ты лжешь». Сапега: «Ты сам лжешь, холоп, а я все время говорил правду; не с знаменитыми бы послами тебе говорить, а с кучерами в конюшне, да и те говорят приличнее, чем ты». Татищев: «Что ты тут раскричался! Я всем вам сказал и говорю, и еще раз скажу и докажу, что ты говоришь неправду». Тут Сапега обратился к боярам с жалобою на Татищева, и те велели последнему замолчать. Но когда Сапега, чтоб уклониться от споров о Ливонии, сказал, что не имеет никакого полномочия говорить о ней, то Татищев не утерпел и снова закричал: «Не лги, мы знаем, что у тебя есть полномочие». Сапега отвечал: «Ты, лжец, привык лгать, я не хочу с таким грубияном ни сидеть вместе, ни рассуждать о делах». С этими словами он встал и вышел. Послов польских задерживали нарочно, ибо ждали шведских. Наконец шведские послы, Гендрихсон и Клаусон, приехали, и их нарочно провезли мимо дома, который занимал Сапега с товарищами. Польским послам бояре объявляли, что Карл шведский уступает царю Эстонию и сам поддается Москве, а шведским послам было объявлено, что Сигизмунд уступает царю часть Ливонии, если только Борис будет воевать с королем; этим объявлением думали испугать шведов и принудить их к уступке Нарвы; но шведы не поддались и настаивали, чтоб последний договор был сохранен ненарушимо. Вследствие этих переговоров Сапегу держали до августа 1601 года и, наконец, заключили с ним двадцатилетнее перемирие, причем в грамоте не написали Сигизмунда шведским королем. Сапега уехал озлобленный, вменяя себе, впрочем, в важную заслугу то, что успел порвать связь Годунова с Михаилом, воеводою волошским, который домогался польского престола и заключил было тайный союз с царем, обещавшим помогать ему в его предприятии».

Это точка зрения русского историка. Сапега же был доволен результатами своего посольства: в сложный для своей родины исторический момент ему удалось заключить 20-летний мир, который, впрочем, был прерван из-за начавшейся Смуты…

В «Баркулабовской хронике» осталось следующее сообщение об этом посольстве: «Року 1600, месяца септеврия 18, в че(твертo) к пан Ян Варшавский, также его м(и)л(ость) пан Лев Сапега, канцлер литовский, староста Могилевский, на Москву до царя восточного князя Василия Годунова послами ходили и с ними княжат, панов зацных множество. И мешкали на Москве недель 20. Тамо же приняли примере на год 20». Автор хроники перепутал имена Бориса Годунова и Станислава Варшицкого, каштеляна варшавского.

Отметим еще одну деталь: текст «вечного» мира, который предлагало ВКЛ, — один из последних документов, написанных на старобелорусском языке. Вскоре его заменил польский…

А теперь обратимся к самой статье Павла Шпилевского.

Александр ВАЩЕНКО

Известно, что дневники при посольствах велись обыкновенно самими Послами, Секретарями или вообще очевидцами, и потому, будучи сохранены в целости, впоследствии могли бы служить вернейшими пособиями для Истории. Но как цель посольства или содержание этих дневников не всегда могли в свое время подлежать общей известности, то дневники таких посольств не только не были печатаемы, но даже хранимы были в архивах как можно дольше. Понятно после этого, почему немногие из этих дневников сделались известны весьма недавно, а некоторые или пропали, или же лежат в забвении. Посему надеемся, что не без пользы останется намерение наше представить здесь краткий очерк посольства Льва Сапеги в Москву в 1600 и следующих годах, составленных по дневнику Секретаря при посольстве Ильи Пельгржимовского[1], тем более, что эту рукопись, вероятно, считают потерянною[2], а о самом посольстве историки или вовсе не знают, или, если знают, то очень, очень недостаточно. Один Когновицкий, говоря о жизни Льва Сапеги, описал это посольство[3], но если сравнить и его описание с записками Секретаря, то увидим, что он вовсе не видал дневника Пельгржимовского, хотя и был в библиотеке Залусских, как свидетельствует Яновский[4]. Рукопись этого дневника хранится в библиотеке Г. Вандалина Пусловского, в Меречевщизне[5], богатой историческими сочинениями и доступной всякому любознательному. Рукопись эту, хотя и не в целости, добыл В. Пусловский случайно в Варшаве, на публичной продаже книг одного ученого: он нашел ее под оберткою одной из купленных им книг в листе — именно: «Сборник панегириков и разных незначительных писем». Рукопись начинается с того места, где подробно говорится о назначенной для Послов провизии на дорогу из Смоленска в Москву, а оканчивается четвертым заседанием, в котором читаны были опровержения возражений Бояр против условий вечного мира и союза. Жаль, что нет начала, в котором, вероятно, говорится о цели в побуждениях посольства, о прибытии Послов в Смоленск и (как видно из остатков этого дневника) о их пребывании там в споре с Воеводою Смоленским. Но еще более жаль, что нет окончания; там, без сомнения, говорится о заключении 20-летнего мира, об измененном намерении Царя действовать вместе с Воеводою Волошским Михаилом против Польши, и описывается пребывание Послов в Москве, их выезд и возвращение на родину.

Чтобы представить описание посольства Льва Сапеги в целом составе его, мы пополним словами Когновицкого утраченные места дневника Пельгржимовского, но тут же заметим, которые места взяты из Когновицкого и которые из дневника Пельгржимовского.

---

[1] Илья Пельгржимовский-Пелеш (см. Несецкого Korona III, стр. 586) был секретарем в Великом Княжестве Литовском, и Юрбургским Лесничим; в 1588 году был послан в Краков от имени Литовцев для присяги в верности новоизбранному Королю Сигизмунду III; в 1590 году был управляющим Королевских имений в Лифляндии; в 1598 участвовал в Комитете раздела границ между Курляндиею и Браславским уездом; в 1600 году отправился при Посольстве с Львом Сапегою и Станиславом Варшицким в Москву, которое и описал в своем дневнике. Умер в конце 1610 года. Юшинский (Dikczonarz poetów, T. II, стр. 59) приписывает ему сочинение: De heroibus etc., liber unus. Ad serenissimum et invictissimum D. D. Stephanum Dei gratia Regem Pol. etc… Cravorio, in officina Iacobi Siebencycher 1585 in 4-to. Сочинение это писано частию стихами, частию прозою. Герои эти начинаются с Адама и Евы и оканчиваются Артаксерксом Лонгиманом. Ни цель, ни основание этого сочинения непонятны. Замечательно оно более в типографическом отношении: ибо по времени издание весьма изящно.

[2] Смот. Historia Litteratury, T. I, стр. 64.

[3] Wydanie Mostowskiego 1805, стр. 200—205.

[4] Меречевщизна, в Слонимском уезде Гродневской Губернии. Место рождения Фаддея Костюшки, как видно из метрики, хранящейся в местечке Косове.

[5] Excerpta literaria, pag. 104, и Specimen catalogi codicum M. S. Biblioth. Zyluscianas.

Когновицкий в описании жизни Льва Сапеги[1] говорит: «Общим мнением Короля (Сигизмунда III) и народа было то, что трактат о 10-летнем мире, заключенный Львом Сапегою и потерявший силу по смерти Царя Феодора, не иным кем мог быть возобновлен на дальнейшее время, как только им же, этим мужем, сведущим в политических переговорах». А великий политик своего времени Варшевицкий[2], от имени всего народа приписывая одному Сапеге усмирение возмущений в Риге и беспорядков в княжестве Лифляндском, с следующими словами обращается к нему: «Тебе, а не кому другому, должно быть опять поручено посольство в Москву». Согласно с желанием народа, король назначил в это посольство Великого Канцлера Княжества Литовского Льва Сапегу, давши ему в помощь двух товарищей.

27 сентября 1600 года Лев Сапега, вместе с Вице-Послами — Варшавским Каштеляном Варшицким и Секретарем Великого Князя Литовского Ильею Пельгржимовским, также с большим числом Дворянства, в обществе которого были Князь Ярослав Друцкий-Соколинский, Староста Усвятский, Оршанский Земский Судья Андрей Воропай, Витебский Воеводич Иван Сапега, Михаил Фронцкевич, Иван Пасек, Петр Дунин, Иван Боруцкий с многочисленною прислугою, которою распоряжался Божиминский, в почтовых экипажах выехал из Орши. На границе московской Приставы Нелюб и Козарин с несколькими тысячами конвоя встретили Послов, а за полмили пред Смоленском выехал к ним навстречу сам Воевода Смоленский с 3000 конвоя и первым приветствовал Польских Послов. Между тем, в Смоленск послан был вперед от Царя Нарочный Пристав Посмык Григорьевич Огарев, который приготовил для Послов квартиры и распорядился насчет дальнейшей дороги их из Смоленска.

Далее по дневнику Пельгржимовского. «Из описания провизии, назначенной Польским Послам на дорогу из Смоленска в Москву, видно, что в составе этого посольства кроме знатных особ находилось 100 человек прислуги, да еще 300 человек другой какой-то прислуги, и черни 700 человек, на которых отпущено было для дороги кроме говядины, рыбы и конопляного масла — 130 четвертей овса, 130 колымаг сена, 75 возов соломы и множество меду, водки, пива и квасу, романеи, также немало разных кореньев: шафрану 2 гривны (мерки), имбирю 3 гр., гвоздики 2 гр., перцу 4 гр., дров 44 воза». Приведем еще следующую выписку из дневника: «Для Старшего Посла Канцлера (Сапеги) — погребец, в котором романеи 1 штоф, сивухи 1 шт., ренского вина 1 шт., вишневого меду 1 шт., малинового 1 шт., отборного 1 ведро, паточного 1 в., белого 1 в., медового квасу 1 в., лучшего вина 1 в., простого 1 в.». С таким дорожным запасом посольство отправилось в четверг, 5 октября, в дорогу — к Дорогобужу чрез Пнев (дорога была большею частью нехороша и перерезана частыми мостами). За полторы мили пред Пневом послы переправились чрез Днепр на плоту, пригнанном к ним с левой стороны реки, где в устье ее впадает другая маленькая речка; в этом месте, на горе, Днепр был не слишком широк и глубок, и потому лошади пустились вплавь, а экипажи перевезены на паромах. Более трех часов посольство переправлялось, и уже пред закатом солнца стало на месте».

Из описания дальнейшего путешествия послов сообщим только о том, что нам кажется более достойным внимания. «Из Дорогобужа (7—8 октября) чрез Колпиту прибыли Послы Польские в Вязьму 9 октября. Тут Приставы вышли к ним навстречу и обещали дать все, чего ни потребуют, только бы не обвиняли их ни в чем пред Государем. А о воеводе Смоленском сказали: «Он не хотел вам сразу дать выгодного постоя, и за то на него крайне разгневался Великий Государь. Прежде мы вам давали 13 коров, а теперь дадим 14 или 15. Баранов прежде давалось 27, а теперь 30; гусей не было в реестре, а теперь будут; овса было 130 четвертей, теперь будет больше; подвод было 70, теперь будет — 90 или 100 — при этом постоянно твердили: — Приказывайте и все до излишества получите».

---

[1] Т. I. стр. 200.

[2] Kognowick, стр. 201.

Обещали заплатить и за удержанный постой. 10 октября Послы были в Зазерьи, 12-го в Можайске. Под Можайском по левой стороне, за полмили от дороги, приставы указывали на каменный монастырь на реке *Ваколочи*; подъезжая к самому Можайску, по правую сторону дороги (за милю и дальше от дороги), Послы видели дворец Государя Московского, построенный им, когда он был еще правителем, — дворец чудной работы: его называли *Бароново Городище*. 14 октября прибыли в Кубинск, 15-го — в Мамонов; за 4 мили пред Мамоновом, послы рассматривали прекрасный, собственный Государя Московского дворец, построенный наподобие замка, с острогом и бастионами кругом, во вкусе Московском: дворец этот также построен Государем в то время, когда он был только правителем; называется он — *Вязёма.* В виду самого дворца построена каменная церковь замечательного размера, с несколькими куполами, крытыми жестью, с позолоченными крестами. С позволения Приставов, Великий Канцлер с некоторыми другими спутниками вошел в церковь и слушал обедню; внутри церковь отделана чудно и необыкновенно богато. 16-го — отправились в дорогу к Москве. Под самою столицею у моста ожидали уже Послов Польских приехавшие верхом от имени Царя Князь Андрей Васильевич Елецкий и Дьяк Постник Дмитрович с свитою и 2000 лошадей. После взаимных приветствий Послов проводили чрез лучшие улицы Московские в назначенные им квартиры. На следующий день произошли небольшие споры и недоумения; прежде всего никому из посольства не позволено было выходить из своих квартир; затем аудиенцию откладывали со дня на день, под предлогом, что Государь занемог болью в ноге. Наконец объявлено было, чтобы при поднесении ему подарков не забыли и сына его. Послы согласились и тотчас представили список подаркам. Но лишь только Приставы увидели, что в списке опущен титул Царя, то очень оскорбились, и вследствие того опять несколько дней прошло без аудиенции.

16 октября сгорело несколько домов возле посольской квартиры. Послы жаловались Приставам Князю Елецкому и Дьяку Димитрию, что их держали в тесной квартире и что вокруг их дома было множество соломы, как будто для того, чтобы их самих сжечь; «Сохрани Бог нас от этого, — говорил Сапега, — трудно было бы избежать опасности; если еще далее будут держать нас в таком тесном месте, то мы принуждены будем сами подумать о себе». Приставы обиделись за выражение — подумать о себе[1] — говоря, что это слишком высокомерно и не к добру сказано; и на другой день, в Воскресенье, не были у Послов. Когда же они пришли к послам 20 октября, то споры и несогласия дошли до того, что уже Послы не хотели видеться с ними целые четыре дня. Наконец, при посредстве Государственного Дьяка Щелкалова, отведена была Послам квартира просторнее, и 20 числа назначена аудиенция у Царя.

26 октября, в воскресенье, утром, после молебствия, в сопровождении Приставов, посольская свита в первый раз поехала во дворец Царский; вместе с нею отправились и слуги их верхом, а также пешком и мальчики[2]. Вслед за Канцлером Сапегою и его помощниками ехали прочие Дворяне в два ряда, а между ими в средине пажи несли подарки: вся дорога, по которой Послы должны были проходить (от квартир их до дворца), уставлена была по обе стороны Московскими Стрельцами весьма часто, так что их можно было насчитать более полтретьи тысячи человек. Послы сошли с лошадей у самого главного Княжеского подъезда возле Благовещенской церкви, очень богато отделанной снаружи и внутри, с позолоченными куполами; и Приставы проводили их чрез притвор церковный прямо к царским палатам, где находился сам Князь с Думными своими Боярами. На протяжении всей лестницы по обеим сторонам ее и на крыльце, прямо до самых палат Царских, расставлены были Боярские дети и

[1] Przemyslać o sobie.

[2] По словам Когновицкого, послы ехали верхом, а впереди их шли пешком по 6-ти в ряд мальчики, которыми командовал на лошади Адам Лукашевич.

иностранцы[1]. Взошедши на крыльцо, Приставы настаивали, чтобы Дворянство шло не вперед, как это бывает у вас (поляков), а за послами. Пред палатскими сенями Послов встретили Князь Василий Михайлович Лобанов-Ростовский и Нелюб Семенович, а в самых сенях — Окольничий Князь Василий Дмитриевич и Дьяк Родион Васильевич, которые и проводили их в самые палаты Царские (сами, впрочем, шли впереди Послов). В палатах Царских застали Великого Князя сидящим на троне в венце; в руке у него были скипетр и держава; возле него по правую руку сидел сын его, а вокруг сидело много Думных Бояр и Дворян в парчовых одеждах[2]. Пред самым Великим Князем и его сыном стояли четыре оруженосца, два с одной стороны и два с другой, в белых горностаевых епанчах мехом вверх, в белых шапочках и сапогах, с топориками. Государственный Дьяк Василий Яковлевич Щелкалов доложил Великому Князю, что Послы Короля Польского Сигизмунда III, с согласия его, пришли поцеловать ему руку. После этого Канцлер Сапега начал объясняться с Царем: «Божиею милостию, Король Польский Сигизмунд III прислал нас (Послов) поклониться тебе Великому Государю и Великому Князю всея России Борису Феодоровичу, и велел наведаться о твоем здоровье». Потом Сапега подал письмо от Короля Государственному Дьяку Щелкалову, который читал его Великому Князю тихо. По прочтении письма Великий Князь привстал с места своего и спросил у Сапеги: «Здоров ли Король Сигизмунд?» Сапега отвечал, что он оставил его в добром здравии. Затем Василий Щелкалов сказал Послам: «Великий Государь Царь и Великий Князь Борис Феодорович, Самодержец всея Руси, прочел и понял письмо вашего Короля; говорите же дальше, что вам поручено...» Тут началась в полном смысле Царская аудиенция. Прежде всего Канцлер Сапега сказал следующую речь: «Ты прислал к нам Посланника своего Думного Дворянина и Ясельничего, — Можайского Наместника Михаила Игнатьевича Татищева и Дьяка Ивана Максимова с известием, что Божиею волею скончался зять твой Великий Государь и Великий Князь Феодор Иоаннович, последний потомок Великих Государей и Великих Князей Московских. А на трон Московский вступил ты, Великий Князь Борис Феодорович, и желаешь, чтобы все клонилось к благоденствию христианства. Зная, что сам всемогущий Бог избирает Государей и Князей и поставляет на царство кого хочет, а следовательно, и тебе, Борису Феодоровичу, даровал возсесть на великом престоле Московском единственно по святой Своей воле, и при том видя доброе твое намерение и доброе хотение, которое ты высказал пред нами чрез своего Посланника, поздравляем тебя с восшествием на этот престол, и желаем тебе много лет прожить в милости у Бога и благом союзе с нами. Божиею милостию Его Королевское Величество Великий Государь Сигизмунд III и проч… — велел сказать тебе Великому Государю и пр... Самодержцу всея Руси... Борису Феодоровичу: «Чрез того же Посланника… ты сказал, что ты, Самодержец всея Руси Борис Феодорович, желаешь всем христианам блага и сам желаешь быть с нами в мире и согласии. Видя, как важна и как выгодна для наших государств такая взаимная дружба и согласие, мы с радостию принимаем такую весть и рады быть с тобою, Великим Государем и Великим Князем Борисом Феодоровичем в мире, согласии, дружбе и любви».

После того Секретарь Посольства (Илья Пельгржимовский) говорил: «Божиею милостию Его Королевское Величество Великий Государь Сигизмунд III,

---

[1] По словам Когновицкого, на крыльце были расставлены Русские и Немцы без разбору, а в сенях отдельно: по одну сторону — Немцы, а по другую — Русские, в парчовых одеждах.

[2] По словам Когновицкого, изба или палата царская была довольно велика, но не убрана, а попросту выкрашена. Подушки и пол пред Царем были покрыты коврами. Трон, на котором сидел Царь, был обит красным бархатом; в руках — золотой скипетр, на голове — корона, на ногах — красные бархатные сапоги. Возле Царя, по правую руку, сидел сын его; на притронии по левую руку лежала Царская держава. По обе стороны, довольно поодаль, сидели Думные Бояре.

Король Польский, Великий Князь Литовский и других, приказал сказать тебе, Великому Государю и Великому Князю всея Руси Борису Феодоровичу, что об этом соединении и вечной дружбе уже давно до нас начинаемы были переговоры между предками нашими Королями Польскими и Великими Князьями Московскими. На этом основании мы, по совету и просьбе Панов Рад наших Короны Польской и Великого Княжества Литовского, шлем к тебе великих послов наших, Г. Канцлера Великого Князя Литовского, Старосту Слонимского, Пернавского и Могилевского, Державца Ретовского и Блудненского Льва Ивановича Сапегу, и Каштеляна Варшавского, Старосту Кобринского и Осецкого Станислава Варшицкого, и меня, Писаря Великого Княжества Литовского, Лесничего Юрбургского, Илью Пельгржимовского, давши нам наказ и уполномочивши говорить, утвердить и заключить договор о сохранении вечной дружбы и мира между нами и тобою и между Государствами нашими. А в чем они условятся с тобою, что постановят и присягою утвердят, то и мы нашею присягою хотим утвердить и соблюдать, равно и потомки наши».

По окончании аудиенции Послы подошли к руке Великого Князя и сына его; затем, указаны были стулья всем послам и дворянам. И великий князь вместе с сыном расспрашивал послов о здоровье их, как им нравится в их государстве. Послы отвечали, что здоровы, слава Богу, и хорошо живут в его столице. После этого тотчас внесены были подарки, которые Окольничий и Наместник Суздальский Михаил Глебович Салтыков тут же пересчитал в присутствии Великого Князя и сына его, поверяя по реестру; когда же были убраны подарки, Василий Щелкалов сказал Послам: «Великий Государь и Великий Князь хорошо понял цель вашего Посольства, ответ же на ваши слова получите после чрез Думных Бояр». Потом, переговоривши тихо о чем-то с Великим Князем, продолжал: «Великий Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Борис Феодорович, и сын его Царевич Феодор Борисович приглашают вас на обед». Затем в два часа Послам велено возвратиться в свои квартиры. Скоро к ним приехали Приставы Царские и сказали: «Великий Государь наш Царь (следует весь титул) и сын его Царевич прислали вам свой обед, кушанье и питье, также для угощения вас — Стольника своего Князя Бориса Михайловича Оболенского и Кравчего (фамилия опущена в рукописи)». После этого стол был накрыт узкою скатертью, на столе не было ни тарелок, ни ложек; разносили и ставили осетрину, белугу, семгу, лососину и разные другие рыбы; всего было наставлено больше ста мисок, и все это на серебре. Для питья были поставлены разные вина в бесчисленном множестве, а также разные сорта меду: привезено было 7 бочонков (бочек); обед этот продолжался почти два часа; затем русские, распрощавшись, оставили Послов одних».

Не излишним будет поместить здесь реестр подаркам, привезенным Послами Польскими Великому Князю Борису Феодоровичу и сыну его.

Вот он:

Божиею милостию Великому Государю и Великому Князю Борису Феодоровичу, Самодержцу всея Руси, и сыну его, Князю Феодору Борисовичу, от Послов Его Королевского Величества, Короля Сигизмунда III подарки:

I. От Канцлера Великого Княжества Литовского, Льва Ивановича Сапеги:

1) Золотая гривна (цепь) самому Великому Государю и Великому Князю Борису Феодоровичу, украшенная жемчугом и дорогими камнями.

2) 4 большие серебряные вызолоченные кубка.

3) Золотая цепь эмалевая.

4) Гнедая лошадь, убранная по-гусарски, с чепраком, украшенным жемчугом.

А сыну Государеву, Князю Феодору Борисовичу:

1) Золотой корабль (кораблик), украшенным жемчугом и драгоценными камнями.

2) Два серебряные позолоченные кубка.

3) Прекрасно откормленный жеребец каштановатый.

II. От Варшавского Каштеляна Станислава Варшицкого самому Великому Государю:

1) Золотая цепь на панцирь.

2) Большой серебряный кубок с позолоченною крышкою.

3) Два, немного меньше, серебряные кубка, тоже с позолоченными крышками.

4) Испанская лошадь — гнедая черногривая.

5) Носилки, сверху покрытые красным бархатом, а в средине обложенные парчою на меху в серебряной оправе, и при них шесть итальянских коней половых, с бархатною пунцового цвета сбруею, оправленною в серебро.

А сыну Государеву Князю Феодору Борисовичу:

1) Большой серебряный кубок с позолоченною крышкою, и в нем 500 червонцев.

2) Перламутровый кубок, осыпанный бриллиантами.

3) Гнедая итальянская лошадь — Дзянет.

4) Сивая лошадь турецкая с длинною гривою, с бархатным красного цвета седлом, оправленным в серебро; стремена серебряные позолоченные; узда серебряная позолоченная, и такая же при ней цепь или повод.

III. От Секретаря Посольства Ильи Пельгржимовского самому Великому Государю Князю Борису Феодоровичу, Самодержцу всея Руси:

1) Серебряный кубок с позолоченною крышкою.

2) Еще такой же кубок.

3) Кубок высокий, серебряный сверху, а внизу позолоченный, с такою же крышкою.

А сыну Государеву Князю Феодору Борисовичу:

1) Серебряный позолоченный кувшин с такою же умывальницею.

2) Турецкая лошадь, сивая волошская в яблоках.

От Дворянства Его Королевского Величества:

I. От Оршанского Земского Судьи Андрея Воропая самому Великому Государю и Великому Князю Борису Феодоровичу Самодержцу всея Руси:

1) Серебряный позолоченный кубок и 210 червонцев.

2) Гнедая белоногая лошадь цекельской породы.

А сыну его, Князю Государю Феодору Борисовичу:

1) Турецкая белоногая лысая лошадь.

II. Самому Великому Государю и Великому князю Борису Феодоровичу, Самодержцу всея Руси. Витебский Воеводич Иван Николаевич Сапега челом бьет:

1) Два большие серебряные позолоченные кубка.

2) Сабля в бархатных красных ножнах с серебряным позолоченным эфесом.

А сыну его — Князю Феодору Борисовичу:

1) Белый кубок, оправленный в серебро с позолотою.

2) Серебряный кубок в виде купидона или белого человека с крыльями и луком.

3) Два ручные пистолета.

4) Сабля с серебряною рукояткою, украшенною жемчугом и разными дорогими камнями.

III. От Старосты Усвятского Князя Ярослава Друцкого Соколинского, — самому Великому Государю и Великому Князю Самодержцу всея Руси Борису Феодоровичу.

Гнедая лошадь дунайская — волошская, с казацким серебряным седлом и с прочею сбруею казацкою, серебряною позолоченною.

А сыну его Князю Феодору Борисовичу: турецкий каштановый жеребец.

IV. От Николая Фронцкевича — самому Великому Государю и Великому Князю Борису Федоровичу:

1) Золотая кольчатая цепь.

2) Турецкий гнедой жеребец с гусарским бархатным седлом в серебряной позолоченной оправе, и с большим ошейником из красного бархата, и серебряным налобником.

3) Бунчук с серебряною булавою.

А сыну его Князю Феодору Борисовичу:

1) Кубок и два серебряные, позолоченные бокала, один больший, другой меньший.

2) Турецкий гнедой жеребец.

V. От Петра Дунина — самому Великому Государю и Великому Князю Борису Феодоровичу:

Складной кубок.

А сыну его Князю Феодору Борисовичу:

1) Сивая цекельская лошадь.

2) Сабля в серебряной оправе.

VI. От Ивана Боруцкого — самому Великому Государю и Великому Князю Борису Феодоровичу:

1) Цепь золотая.

2) Складной кувшин.

3) Гнедая русская лошадь с красным бархатным и с серебряными узорами седлом; при седле меч с серебряною рукояткой.

А сыну его Князю Феодору Борисовичу.

1) Один кубок в виде кисти виноградной.

2) Другой — наподобие яблока.

VII. От Ивана Пасека — самому Великому Государю и Великому Князю Борису Феодоровичу Самодержцу всея Руси:

Сабля с серебряною рукояткою, украшенною бриллиантами.

А сыну его Князю Феодору Борисовичу:

Вороной белогородский жеребец с гусарским седлом, на нем узоры серебряные; и у седла — меч с серебряным эфесом.

После этой аудиенции у Царя Послам действительно прибавлены под квартиру еще два подворья. Но когда Послы стали настаивать, чтоб им позволили рассуждать с Думными Боярами о делах Посольства и о составлении договора ко всегдашнему миру, согласию и дружбе между обоими народами, то Бояре все отвечали, что или Царь не совсем здоров, или праздничный день, или же Царь чем-нибудь занят на тот раз и т. п., — так что едва, наконец, после немалых трудностей, назначено было Послам для заседания 3 декабря в Воскресенье.

И действительно, 3 декабря явились к Послам Приставы и уведомили, что они должны идти на заседание. Когда вошли в палаты Царские, то там уже застали молодого Князя, сына Государева: он сидел на отцовском месте, на троне, окруженный множеством Думных Бояр и Дворян. Когда Послы вошедши поклонились молодому Князю, то он, с минуту обождав, обратился к ним с следующими словами: «Здоровы ли вы, Лев, Станислав, Илья?» Сапега отвечал: «Слава Богу, здоровы». Князь сказал после этого: «Великий Государь, Царь и Великий Князь Борис Феодорович, Самодержец всея Руси, и многих Государств Государь и владетель, велел своим Думным Боярам — Князю Феодору Ивановичу Мстиславскому, Князю Феодору Михайловичу Трубецкому, Степану и Ивану Васильевичам Годуновым составить с вами договор, а потому вы идите в ответную палату». Канцлер Сапега отвечал на это: «Мы очень рады и желаем этого: мы и приехали для того, а не на то, чтоб лежать и ничего не делать». Затем послов провели в ответную палату, куда незадолго пришли 10 Думных Бояр, именно: Боярин и Владимирский Наместник Князь Феодор Иванович Мстиславский, Боярин и Наместник Новогородский Князь Феодор Васильевич Трубецкой, Боярин, Правитель Двора и Наместник Псковский Степан Васильевич Годунов, Боярин и Наместник Тверской Иван Васильевич Годунов, Боярин и Наместник Коломенский Князь Феодор Андреевич Ноготков-Оболенский, Окольничий и Наместник Суздальский Михайл Глебович Салтыков, Казначей и Наместник Муромский Игнатий Петрович Татищев, Хранитель Печати (Печатник) и Государственный Дьяк Василий Яковлевич Щелкалов и два Думные Дьяка Велисарий Данилович сын Вылужкин и Афанасий Иванов сын Власьев. Когда собрались эти вельможи, то Послы хотели тотчас в первый же день

приступить к составлению условий на заключение всегдашнего союза между Россиею и Польшею, даже имели приготовленные бумаги с изложением своих мнений по этому делу; но Бояре, не приступая сами к делу и не допуская к тому Послов, в продолжение целого первого дня спорили только о том, как написать титул Царский, так что к другому дню приготовили только один отдел о титуле. В этом отделе довольно подробно описано, что еще Владимир Мономах признан был в звании Царя Константинопольскими Императорами и потом на Вселенском Соборе коронован четырьмя Патриархами; что такой титул Царя, как наследственный для всех потомков дома Мономаха, единогласно принят не только Христианскими Державами и Папою, но даже языческими и Магометанскими; и что, наконец, если Сигизмунд III не признает этого титула, то и Русский Царь не признает его Королем Польским и Великим Князем Литовским, а следовательно, нечего и надеяться на дружбу и согласие между этими двумя державами — Россиею и Польшею, а напротив — скорее быть тут вражде и пролитию крови христианской. На такой пункт Послы, основываясь на исторических выводах, более, впрочем, для шутки, нежели для подтверждения такой несомненной истины, дали надлежащий ответ; насчет же угрозы войною заметили: «Войну-то начать можете, но конец войны в руках Божиих».

4 Декабря заседание было во дворце Царском в ответной палате. Тут был молодой Князь и Послы в присутствии Думных Бояр, после некоторых совещаний, приступили к делу. Канцлер Сапега прочел следующие условия вечного мира.

Условия эти любопытны и характеризуют дух времени Сигизмунда III, посему считаем нужным передать их в целости.

Условия вечного мира и искреннего братства между Великими Государями: Божиею милостию Королем Польским и Великим Князем Литовским Сигизмундом III и следующими за тем Королями Польскими и Великими Князьями Литовскими, — и Божиею милостию, Великим Государем и Великим Князем, Самодержцем Всероссийским, Князем Владимирским, Московским и проч... и проч,... Борисом Феодоровичем, а равно и между их Великими Государствами:

I. Абы Наияснейший и Великій Господарь Зигмунд третий Божію милосцю Король Польскій и В. Князь Литовскій и иных и по нем будучіе Короли Польскіе и В. Князи Литовскіе з Божомилосци з В. Господарем и В. Князем Борисом Федоровичем всея Руси и по нем будучими Великими Господарями и Великими Князьями всея Руси завсегда были з собою в любови и в згодзе и статечной вечной пріязни; потомуж Паны Рады и вси инные станы духовные и светские Короны Польское и В.К.Л. и иных з Бояры Думными и зо всими станы Духовными и светскими Великого Господарства и Великаго Княтства Влодімирского, Московского и иных в згоде и в вечной нероздзельной милосци братерской были яко людзи одное Веры Хресцьянское, одного языка и народу Словенского.

II. Кто бы был непріятелем Великому Господару Королю Польскому и ВКЛ теперешнему и потом будущим также в Короне Польской и ВКЛ, Русскому, Прусскому, Инфлянтскому и инных, того мает мети за непріятеля сам Великій Господарь и В. Князь Борис Федорович и по нем будущіе Господары Великіе Князи всея Руси, также и вси Господарства их милости. А хто был бы непріятелем Великому Господару и В. К. Борису Федоровичу и по нем будучим В. Господаром и В. К. всея Руси и Великим Господарством их милости, того мает мети за непріятеля сам наияснейшій и В. Господаръ Зигмонт Король и В. К. Лит., и по нем будучіе Их Милости Короли Польскіе и В. Кн. Литовскіе, также Корона Польская и В. К. Литовское, Русское, Прусское, Лифлянтское и инных.

III. Змовы, перемирія, соединенія с постронными народы так Наясн. Король и В. К. его милость Господар наш и по нем будучіе Короли Польскіе и В. К. Лит. и Панства их милости, яко теж и В. Господар и В. Князь Володимірскій, Московскій и инных теперешніе и потом будучіе Великіе Господары и В. Кн. Володимірскіе, Московскіе и инных одзин ку шкодзе другого жадных чиници и становици не маюць, але се сполне о том первей з собою порозумевши и нарадзивши.

А если бы установеня и шкодливые которой стороне были, тогды таковые абы не были ни з ким держаны и овшем скасованы и в ништо обернены.

IV. Коли бы се который сусед альбо непріяцель постронный на которого бы кольвек с тых Великих Господарей и Господарств их повстал, тогды одзин другого за ознайменем щирже и жичливе верне без хитросци ратовацъ маецъ и повинен будецъ, подлуг набольших сил и преможеня своего.

V. Если бы што спольными силами з рук которого кольвек постронного неприятеля одыскали, тогды то, до чого бы здавна права корона Польская и В.К.Л., Земля Русская, Прусская, Жомойская, Лифляштская и инныя мели, то при Короне Польской и В.К.Л. зоставици маецъ. А чтобы теж здавна Господарством Володимірскому, Московскому и инных належало, то при тых Господарствах Володимірском, Московском и инных зостаци маецъ.

VI. Если бы которого Господарства, Королевства земли якое спольными силами набыли: то спольне держаци або по половицы межи себе роздзелици маюцъ.

VII. Людзіом народу Польского, Лит., Рус, Прус, Жомойского, Лифл. и инных всим подданным Наиясн. Короля его милости и В. К. Л. жебы вольно было ездзиць до В. Господара и В. К. Бориса Феодоровича и до Господарей по нем будучих и в землях В. Господаря служиць и выезджаць назад добровольно. Таковож и людзием народу Русского, Волод, Москов. и инных всих Господарств, жебы вольно было ездзиць до Наиясн. и Вел. Госп. Короля и В. Кн. Зигмунта III и по нем будучих, и в панствах его Кор. милости служиць и выежджаць назад добровольно.

VII. Людзіом Короля его милости и В. К. зо всих Панств, абы было вольно в землях и Господарствах В. Господара и В. К. всея Руси женитися, кревнитися, пріязни братерства з людзьми его милости набываць. Потомуж людзіом народу Русского, Володимирского, Московского и инных в Панствах его Кор. милости жебы вольно было оженитися, кревнитися, пріязни братерства з людзьми его К. милости набываць.

IX. Абы людзиом его Кор. милости Господара нашого вольно было маетносци, поместья в Господарствах Русском, Володимірском, Московском и инных выслуговати, куповаці, по жонах и инным вшеляким способом слушным набываци, з маетносцями своими выносицися и там оседати, мешкати и оных маетностей слушне набылых под такою вольносцю и правом, под якими тая маетносць лежати будет, спокойне уживати без вшелякое переказы. Потому ж людзіом Господара Волод. Москов. и инных абы вольно было в Панствах Короля его милости Коронных и В.К.Л. и инных маетносци, поместя выслуговати, куповаци и по жонах и вшеляким иншим способом слушным набывати, з маетносцями своими выноситися и там оседати, мешкати и инных маетносци набыць под таковою ж вольносцю и правом, под якими тая маетносць лежаци будет, непорушно держачи уживати без вшелякое переказы.

X. Абы теж вольно было людзиом народу Польского, Лит., Рус, Прус, Лифл. и инных слаци дзеци свои в службу альбо на цвичене в науку до Господарств Русских, Волод., Москов. и инных. Потому ж людзиом народу Волод., Московского и инных абы вольно было слаци дзеци свои в службу альбо на цвичене в науку до Панств короны Польское и В.К.Л., Русск., Прус, Лифл. и инных, где се кому подобает, и назад им добровольно одъежджати без вшелякое пакости и трудности зо всякою маетносцю.

XI. А яко людзіом Великого Господарства и всея Руси Володимирское Московским и инных, которые на службу альбо для науки до короны Польское и В.К.Л., Рус, Прус, Лифл. и инных пріежджати будуць, вольно будет держати Веру Русскую, и тым Москвичом, которые в короне Польской и В.К.Л., Рус, Прус, Лифл. и иных набудуць оседлосци, поместя з выслуги або иншим яким способом, вольно будет каждому в своим поместю церкви Русскіе ставици, надаваци и повольно Веру свою держаци; так теж потому людзиом короны Польское и В.К.Л., Рус, Прус, Лифл., Жомойского и инных, которые на службе альбо для науки до Господарств всея Руси Волод., Москов. и инных пріежджати будуць,

вольно будет держаци Веру Католицкую Римскую, и тым людзіом, которые пріехавши з короны Польское и В.К.Л. и инных набудуць в Господарствах всея Руси, Волод., Моск. и инных, поместя, оседлосци з выслуги альбо иншим яким пристойным обычаем, вольно будет каждому в своем поместю церкви Веры Римское ставити, надавати и повольно Веры свое уживати.

XII. А иж в короне Польской и в В.К.Л. и инных многих а мало не увезде во всих местах суць не только церкви Лацинскіе Римскіе, але теж и церкви Русскіе Греческого закону, же и Римляне до церкви Римских в Русь до церкви Грецких ходят по воли своей и набоженства каждый своего уживает; слушна речь, абы теж его милость В. Господар и В. Кн. Борис Федорович всея Руси так в столечном гродзе своем Москве, яко и по инших местах для людей, которые в службу на двор и у войску его милости пріежджати будуць, и для Послов великих Господарей Хресцьянских, которые не только до Короля его милости Польского и В. К Л., але и од инших многих великих Господарей Хресцьянских и его Господарскей милости часто бывают, как теж для купцов которых в Господарствах его милости з цудзых Панств каждого часу много есть, церкви Лацинскіе Римского закону побудоваци розказал: якобы людзи не только за доброго здоровья Пану Богу служици, але теж и часу остатнее годзины смерци своее, на которых тут Пан Бог смерть допусцит, з грехов своих перед презвитерами Веры своей Пану Богу справяли се, о душах своих печаловали се, а по смерти и погребы тел змерлых водлуг закону Веры своее Хресцьянское мети могли, и при тых церквах абы Господарь его милость школы, а по нашему коллегии фундовати и надати рачил, гдыж то з великою и несмертельною славою самого Господара его милости во всех народах будет.

XIII. Купецтва, торговли, людзи купцы всякіе зо всих Господарств вольно и безпечно одправовати маюць; а в мястах, местечках, где бы се видело в Панствах забопольных месца и пристани до одправованя торговли способные, слушные обрати, и постановити, порядок в том потребный учинить, старших способных для догледаня порядков купецких постановици, жебы яко людзиом Польском, Лит., Рус., Жомойским, Инфлянт. и инных Господарствах Волод., Московских и далей до Козулбаши Орд, где бы се им подобало, торговали, проводиць доброволько, продаваци и инших товаров набываци, и з ними доброволько назад се звраци. Потомуж людзіом купцом Господарство зем Русских Волод., Москов. и инных до Панств Польских, В.К.Л. Рус, Прус, Жомойского, Лифлянтского и далей до Немец, до Влох, до Англии, до Франции, до Ишпаніи, до Турек, до Волох, до Угров и где бы се им видело, а назад до земли своее вольное зврочанье. А мыто на людзех купецких по старине брано быци маець без прибавки.

XIV. Бегунцов, тацёв, розбойников, запалячов, выволанцовь и вшеляких шкодников, которые провинивши а уходзечи караня, до Господарств тых соединеных убегали, таковых на обе стороне без одволоки выдаваци.

XV. А иж его Королевская милость ховае завжды войско немалое на границы Подольской жолнеров за пенензы, которые на то само з доходов е. К. м. назначоны суць, и немаш иншого, тылько оборочаны бываюць для оброны од Татар поганцов, — слушна речь есть, абы великий Господарь Руси, Волод., Москов. и инных также войска, яко завжды на границах од Татар мели, доходы якіе на том одставали, иж если бы коли поганцы в которое Панство вторгнули, абы те войско Короля его мил. Польского и В.К.Л., также Вел. Господаря и В. Князя всея Руси з собою злучилисе и зодного процив Татаром стояли, однако берегучи обу Господарств.

XVI. Стараци се теж спольне маюць Король е. м. Пол. и В.К.Л. и В. Господарь и В. Князь всея Руси абы спольным коштом и накладом мели армату, кораблі воинские и людзи воинскіе на мору Литевском и на мору Великом, штобы Господарств своих границы што надалей розшеряли и прибавить могли.

XVII. Мынца во всех Господарствах обеюх Господарей маець быци однаково, одное цены, едное ваги.

XVIII. Для доскональго соединеня тых славных Господарств и освядченя пред всим светем маюць быци двоистые короны уробленые, которые бы зна-

чили двох Господарств и Господаров их нероздзельносць, вечносць, соединене. Одна корона в Польще, которая маець быци кладзена через Посла Великого Господара и В. К. Волод., Московского и инных на голову наяснейшого Короля его милости Польского и В.К.Л., а другая корона в Москве, которая маець быци кладзена через Посла Короля его милости Польского и В.К.Л. на голову Господара его милости и В. К. Володимірского, Московского и инных.

XIX. А иж Короли, Господары, Монархи так, яко и вси иншіе людзи смерци подлеглыми суць, тогды гдебы с его мил. Король Польскіи и В.К.Л. (что рач Господи яко наидалей оддалиць) з сего света преставился, маюць Панове Рады Польское и В.К.Л. о смерци Господара своего ознаймиць Великому Господару Русскому, Волод., Московскому и о обераню новаго Господара з неми се порозумети и нарадзити, не загорожаючи приступу сынови Короля его милости — жебы его народ Польскій и Литовскій и инные дотого належачіе за Короля и Господара вольными голосы обраць хцели. На которую элекцію ку обераню Короля его м. и В.К.Л. от станов короны Польское и В.К.Л., зложоную, маюць теж Послы свое послаць Великій Господаръ и В. К. Волод., Москов. и инных, з которыми Послы станы короны Польское и В.К.Л. и инных в обераню Господара зноситисе и порозумеватисе маюць, не уближаючи ни в чом вольное элекціи, которую здавна до сего часу корона Польская и В.К.Л. уживали, которую собе и вперод непорушне в цалосци заховуюць. А Король и В. Князь ново од Панов Коронных и В.К.Л. заразом тот же звіонзек, соединене, вечную приязнь и докончене межи Господарствы превечоными постановленные поприсягнуць маець и моцно ненарушене держаци повинен будець.

XX. Пржи коронаціи Короля Польского и В.К.Л. маець бываць Посел Господара и В. К. Волод., Моск. И инных, и по вложеню короны Польское через Арцыбискупа на голову Короля Польского маець теж Посел Господара его м. Волод., Москов. и инных класць другую корону, особно на то уробленную.

XXI. Если бы сына К его м. и В. К. Короля Господара нашего (чого Боже уховай) в живоце не стало, тогды не загорожаюць собе станы короны Польское и В.К.Л. обраць за Пана Господара Волод., Москов. и инных, который поприсягнувши права и вольности народом короны Польское и В.К.Л. и оставши Господарем добровольне обраным, пануючи двема Господарствам так Славным, широким и вельким, маець два годы в Польше и в Литве для одправованя справ Польских и Литовских, а год в Москве для одправованя справ Московских способом таким, якій згодне постановіон и намовлен будет.

XXII. Если бы (што Боже яко надолжей оддалиць рач) Господарь его милость Волод., Москов. и иных вперед змер, а сына Великим Господарем и В. К. пособ зоставил, тогды сын его милости тое соедінение вечное поприсягнуци и дзержаци непорушено маець Ведьже на поднесене его на тые Господарства за ознайменем Король его мил. и В. К. Господар наш послаць Послы свое, перед которыми Господар его мил. Волод., Москов. и инных тое соединене межи народы теми постановленное поприсягнуци и моцно дзержаци маець и повинен будет.

XIII. При коронованю або поднесеню Господара на тые Господарства Волод., Московское и инных, маець Посол Короля его мил. и В. Господара нашего класць на голову Господарскую корону, на то умысльне уробленную.

XXIV. Если бы (чего Пане Боже рач уховаць) по Господару и В. К. Волод., Москов. и инных сына не зостало, тогды Король его м. Польскій и В.К.Л., Русскій, Прусскій, Лифлянтскій и инных маець быць Господарем Володимірским, Московским и инных.

7 декабря, в четверг, Канцлер с Пельгржимовским (Варшицкий был болен) отправился во дворец, где застал уже молодого Князя на отцовском месте. Князь назвал того и другого по имени и спросил о их здоровье. Затем Канцлер просил Князя не держать их больше, а отправить, согласно обещанию, изложенному в письме к Королю, так как климат им там вредит («Вот уже Вершицкий заболел, — говорил Сапега, — да и Секретарь тоже, равно как и я, занемогает»). Когда их привели в ответную палату, то Бояре Думные прочитали им ответ свой на пред-

ложенные Послами договоры о вечной дружбе и союзе; но тотчас не отдали, а уже вечером прислала в Посольскую квартиру через Пристава.

В этом обширном ответе Думные Бояре сначала приводят все содержание предложенных Послами условий с выпискою всех Царских титулов. Затем большую часть из этих пунктов напрямик отвергают; условия, касающиеся условий наступательной и оборонительной войны, — картели в торговли, обещают лучше рассмотреть и обсудить по заключении вечного союза; но особенно протестуют против того, что Польша владеет Лифляндиею. «Лифляндская земля, — говорят они, — искони древняя вотчина Великих Государей Царей Русских, начиная от В. Государя Ярослава (Георгия), который назад тому 504 года завоевавши эту землю, основал там город, по имени своему Юрьев, а по-немецки — Дерпт; и подчинил своей власти всю ту землю, которая с тех пор была вотчиною Русских Государей и платила им дань...» Не позволяют также, чтобы Поляки в их краях женились, покупали имения, строили Римско-католическия церкви, не возбраняя, впрочем, свободного проживания у себя и исповедания своей веры. Что же касается коронования Царей, то говорят, что это дело Божие; что при обряде коронации искони одним духовным особам — а не светским — предоставлено касаться главы помазанника.

Итак, главнейшие цели посольства и надежда Сигизмунда III на достижение их кончились ничем, несмотря на то, что для достижения этих целей употреблены были все возможные средства — прозелитизм, лесть, мнимая покорность и истощена вся ловкость и рассчитанная хитрость иезуитов.

9 декабря, в субботу, Сапега с Пельгржимовским (Варшицкий был нездоров) отправились в четвертый раз во дворец. Опять то же приветствие от молодого Князя и расспросы о здоровье Послов. Поблагодаривши за внимание Князя, Послы отправились в ответную палату, где застали Думных Бояр. Тут Сапега прочел ответы свои или, лучше, опровержения возражений против условий вечного союза и вручил их Послам.

В этом опровержении всю вину безуспешности посольства Послы взводят на Бояр. Насчет Лифляндии и титулов замечают, что спор об этом решительно покончен при Короле Стефане. Но особенно распространяются касательно предметов религиозных, так что подобныя опровержения похожи больше на богословския прения, нежели на исследования политические. Видно по всему, что Сигизмунд III имел в виду больше религиозное, нежели политическое соединение двух народов».

Этим оканчивается рассказ Пельгржимовского (или, лучше, неполная рукопись его). Для дополнения его окончим сказание о посольстве словами Когновицкого[1]. «14 месяцев провел Сапега при посольстве этом и кончил дело тем, что успел наконец устроить договор, выгодный для своего отечества; хотя на 20 лет: один только Сапега, такой великий деятель своего времени, мог успеть в этом». Справедливо отзывается об нем в надгробном слове своем Ланщевский: «Этот человек был крепкою опорою (стеною) для отечества. Потомство с восторгом вспоминает о Сапеге как виновнике вторичного мира с Москвою и никогда не перестанет любить за то, что он успел отклонить Царя Бориса Годунова от опасных для Польши связей его с Волошским Князем Михаилом, чрезвычайно жаловавшим завладеть короною Польскою; завладевши ею, при помощи Годунова, он должен был, по договору, уступить Русскому Царю часть Польши. Лев Сапега до тех пор оставался в Москве, пока не вымолил у Царя Русского хотя 20-летняго союза и мира[2].

Лев Сапега после этого посольства прожил еще 32 года; скончался в Вильне, 7 июля 1633 года, на 77 году от рождения.

Подготовил к публикации Александр ВАЩЕНКО.

[1] Kognowicki. T. I, str. 310—311. То же самое подтверждает и Бродзинский (Dziela. T. VII, str. 7. Wilno).

[2] См. Kognowicki. T. I, str. 310.

Один из первых

Ромуальд Подбереский — публицист, литературовед, издатель и краевед — оставил значительный след в истории белорусской культуры. Уже одно то, что он написал первый очерк белорусской литературы нового времени («Беларусь и Ян Барщевский») навсегда оставило его имя в истории отечественного литературоведения. Его жизнь и творчество были полны противоречий: он часто поддавался чужому влиянию, нередко влезал в авантюрные предприятия, у него было много друзей, но еще больше врагов. Однако Суд Истории сделал свой вывод: творчество Подбереского способствовало становлению национального самосознания белорусов и развитию нашей культуры.

Ромуальд Андреевич Подбереский родился в 1812 году в Вильне. Он происходил из старинного, но обедневшего рода Друцких-Подбереских. В зрелые годы Ромуальд хотел подтвердить свое дворянское происхождение, но это ему не удалось. В 1830 году Ромуальд заканчивает Виленскую гимназию и поступает в Виленский университет. Однако проучился он там недолго: после восстания 1830—1831 годов российские власти закрыли этот «рассадник вольнодумства».

После этого Подбереский живет у родителей, в поте лица зарабатывает хлеб насущный, налаживает контакты с виленскими торговцами. Коммерческая жилка позволила ему во время учебы на юридическом факультете Московского университета (1836—1849) стать руководителем литовского торгового объединения. Но Ромуальда не привлекала юриспруденция, гораздо охотнее он общался с известным филологом Осипом Бодянским, славянофилами Киреевским и Самариным. В это время он пишет свой первый литературный труд «Жизнеописание Зориана Даленги-Ходаковского». Под влиянием славянофилов он делает перевод русских сказок и «Рассказов малороссиянина» П. Кулиша на польский язык. Однако Москва в начале 40-х годов становится центром воинствующего российского шовинизма, поэтому 4 мая 1841 года Подбереский переезжает в Петербург, чтобы заняться литературной и издательской деятельностью. Он хочет издать собственный литературный журнал, однако сталкивается с цензурными трудностями и неприязнью редакторов польскоязычных журналов. И тем не менее, 23 июля 1842 года Ромуальд получает разрешение на издание альманаха «Rocznik Literacki». На сотрудничество с ним согласились известные литераторы: Крашевский, Грабовский, Головинский, Штырмер. Сам Подбереский печатает в первом томе три белорусских народных песни («Зязюля», «Дзеванька», «Гарэліца»), две последние из которых — это произведения Яна Барщевского, который помещает в первом томе «Очерк северной Белоруссии», включенный позже в книгу «Шляхтич Завальня». Издание прекрасно украсили своими рисунками братья-художники Кароль и Рудольф Жуковские, а умелая реклама обеспечила значительный по тем временам тираж в более чем 500 экземпляров.

Одушевленный успехом альманаха, осенью 1843 года Подбереский едет в Белоруссию, где, благодаря стараниям полоцкого маршалка Людвика Беликовича, его издание имело наибольшее число подписчиков. Результатом этой поездки стали очерки «Письма о Беларуси», которые были напечатаны в 1844 году в газете «Tygodnik Peterburgski».

Подбереский целиком отдается издательской деятельности, которую успел досконально изучить. Юзеф Крашевский передает ему для издания рукопись сосланного на Кавказ поэта Тадеуша Лады-Заблоцкого. Сборник вышел в

1845 году и принес издателю массу неприятностей: его обвинили в недобросовестных финансовых расчетах. Скорее всего, Подбереский, который затевал все новые издательские проекты, не успел вовремя рассчитаться с автором.

В июне 1844 года Ромуальд подготовил к печати второй том «Rocznika Literackiego», куда включил много белорусского материала: разделы из работы М. Борха о Евфросинии Полоцкой, стихотворная повесть «Жонка» В. Реута и «Воспоминания о посещении родного края» Я. Барщевского.

1844 год был одним из самым плодотворных в издательской деятельности Подбереского. Он подготовил к изданию первый том «Шляхтича Завальни» и написал к нему знаменитое вступление «Беларусь и Ян Барщевский», написал большую статью «Письма о Беларуси», где дал отпор российским шовинистам. Поводом для написания была напечатанная в «Москвитянине» статья Петра Кушина «Гецыки», в которой автор унижал белорусский народ, издевался над его обычаями и языком.

Еще три года Подбереский работает в Петербурге. Здесь он познакомится с Тарасом Шевченко, будет писать о его творчестве в различных изданиях. Здесь он издаст третий том своего альманаха.

Финансовые трудности вынуждают Ромуальда перебраться в Вильню. Здесь он снова увлеченно занимается издательской деятельностью: выходит четвертый том «Rocznika Literackiego» (1849) и шесть журналов «Pamiętnika Naukowo-literackiego» (1849—1850), которые были очень популярны в среде местной интеллигенции. «Весна народов» отозвалась на страницах «Pamiętnika...» рядом публицистических статей Альберта Грифа (А. Мартинковского) и Адольфа из-под Бельска (М. Лавицкого). Подбереский помещает две статьи Виссариона Белинского, не называя имени автора, заменив примеры из русской литературы примерами из польской.

Осень 1850 года приносит Подберескому новые неприятности: цензура не разрешает напечатать седьмой номер журнала. Издатель вынужден ехать в Варшаву, чтобы там продолжить издание «Pamiętnika Naukowo-literackiego». Однако это не спасает: недавно назначенный виленский генерал-губернатор Бибиков вводит запрет на издание новых и распространение старых изданий Подбереского. За участие в некоем таинственном литературном обществе, якобы имевшем связь с эмиграцией, самого издателя арестовывают на одной из варшавских улиц и прямо во фраке и шляпе отправляют на четыре месяца в варшавскую цитадель. В этом же фраке его сослали в Архангельск — край бурь и лютых морозов. Неоднократные прошения о помиловании и возвращении на родину остаются без ответа: местные власти не имели права отменять приказ самого Николая I. Ссыльный умирает 10 октября 1856 года в психиатрическом госпитале Архангельска, так и не дождавшись царской милости...

Ромуальд Подбереский оставил значительный след в истории белорусской культуры, а его слова о том, что для того, чтобы служить народу, нужно писать для этого народа и на языке этого народа, стали краеугольным камнем нового белорусского литературоведения, новой белорусской прозы и поэзии. А лучшей памятью благодарных потомков было бы издание книги произведений человека, который так горячо любил свою отчизну.

Сотрудничество с санкт-петербургским еженедельником «Иллюстрация» в 1847—1848 годах нужно было Подберескому для того, чтобы познакомить российского читателя с историей своей родины и чтобы поправить финансовое положение, ибо в «Иллюстрации» платили хорошие гонорары. Плодами этого сотрудничества явились статьи исторического и фольклорного характера: «Взгляд на Инфлянты и белорусские древности» (1847), «Белорусская свадьба», два очерка о городе Борисове, «Литовские и жмудские предания», прозаический перевод из Адама Мицкевича «Вторник и пятница» (1848). Эти статьи теперь являются библиографическими редкостями и представляют исключительный интерес для всех любителей истории нашей родины.

Александр ВАЩЕНКО

Ромуальд ДРУЦКИЙ-ПОДБЕРЕСКИЙ

Город Борисов

Древность его торговли. — Жители. — Их занятия. — Нравы, одежда. — Исторический взгляд.

Борисов (уездный город Минской губернии) известен как главная точка *Березинской системы*[1)] водяного сообщения и торговли этой страны с южными провинциями государства, в особенности же с Кременчугом.

Город построен на низменных берегах исторической Березины, на пространстве песчаном, местами перемеженном плодородною землею. Живописный вид Борисова открывается с песчаных возвышенностей от большой Минской дороги. Небольшой деревянный городок, оживленный вечно движущеюся пристанью, на которой издали, как птицы, белеют тысячи торговых *байдаков* с распущенными парусами, разлегся на обширном пространстве. Множество рабочего народа, толпы подвод с обозами, расположенными в отдельных группах, — все это представляет картину, исполненную жизни и движения. Великолепный мост в 2000 аршин длиною соединяет пристань с городом. За городом, с северной стороны, виднеется бок крутой горы, охраняющей город от полуночных ветров и оканчивающейся плодоносной долиной. С левой стороны, среди сыпучих песков, открывается еврейское кладбище в затишье густого соснового леса. С правой стороны, на обширном пространстве, перерезанном двумя извилистыми рукавами Березины, привольно раскатились зеленым ковром богатые луга. На дальней синеве горизонта этот вид закончен линиею дремучего бора, характеристической черты векового достояния борисовской земли.

Весной, с поднятием воды, Березина широко заливает окружные луга и пастбища. Иногда наводнение поднимается до города и затопляет улицы, огороды, дома. Вода сбывает медленно, и только в конце мая река вступает в обыкновенное русло. Весенние ветры со стороны разлива увеличивают холод, уже довольно резкий по самому географическому положению города.

Герб, данный Борисову в 1792 году королем Польским Станиславом Августом Понятовским, представляет на белом щите старинные крепостные ворота между двух башен, сверху которых изображен Св. Петр, держащий золотые ключи.

Борисов в настоящее время все еще бедный деревянный городок. После стольких военных бедствий и пожаров в 1812 году доныне он не мог прийти в лучшее состояние и почти не изменил своего наружного вида.

Среди города на четвероугольной площади возвышается довольно красивой архитектуры православная церковь, отстроенная в 1834 году[2)] и составляющая почти единственное украшение города. В нем находятся: каменный, довольно старинный приходской католический костел и другая греко-российская церковь; две еврейские синагоги, три каменных казенных дома и 600 частных домов, в которых помещается до 5900 жителей, в том числе до 1560 евреев; приходское училище для борисовских мещан, которое содержалось прежде на иждивении

римско-католического костела, теперь перешло в ведомство Министерства Народного Просвещения.

В торговом и промышленном отношении здесь совершенный застой, общий, впрочем, многим городам западных провинций государства. Жители в уезде занимаются исключительно земледелием. Помещики не имеют ни малейшего влечения к промышленности, почти никакого понятия о мануфактурном производстве, о пользе машин, уменьшающих труд человека и совокупляющих дробные незначительные силы в народное богатство. В целом уезде нет ни одной фабрики, которая дала бы ход капиталам и привела в движение народонаселение.

Деятельность городских жителей, а часто и крестьян, сосредотачивается вся на реке Березине. Малороссийские купцы употребляют очень много рук для гонки леса по Березине и Днепру в Кременчуг, а после в Черное море — и обратно соли и хлеба. Еще более рук занимает торговля лесом с Ригою, которою почти исключительно завладели евреи. Лес, связанный в плоты, гонится посредством лепельских шлюзов, Лепельского озера и других водяных путей в Двину и ею в Балтийское море! Его вывозят на сумму до 200 000 рублей серебром в год. Немаловажное препятствие этой торговли заключается в затруднительности судоходства по Двине, фарватер которой, так сказать, затканный подводными каменьями, весьма замедляет доставку.

Березина, вытекающая из северо-западной стороны уезда и в 600 верст от истока своего впадающая в Днепр, в Речицком уезде представляет двоякого рода судоходство: вверх по течению к Днепру и обратно против течения; или из Борисова вниз против течения к Двине и обратно в Борисов. Туда гонят против течения силою рук *байдаки*, нагруженные солью, хлебом, водкой, пенькой, *ладами* или *клепкой* (мелочным лесом, как драницы, бочарные доски, куски для выделки посуды и пр.), тоже корабельные мачты, плоты и т. п. Все это идет из южных провинций: Могилевской и Смоленской губерний и уездов Минской губернии: Игуменского, Борисовского и Речицкого.

Из Борисова с течением байдаки идут или порожние, или легко нагруженные *мочалою* для рогож и камнем. Кроме того гонят еще смолу в бочках и мелкий лес для постройки домов и топки печей, называемый здесь *коравками.* Все это отправляется в *Николаевскую* на Черном море и в губернии: Киевскую, Полтавскую, Черниговскую и Херсонскую.

Из Борисова против течения к Двине до сих пор по причине мелководья и подводных камней нельзя было устроить правильного судоходства, а потому с Ригою нет беспосредственного водяного сообщения.

Попечительное правительство для поддержания торговли и промышленности составило в 1842 году проект канала от устья реки Сергуны, где Березина начинает быть судоходною.

Сухопутное сообщение совершается почтовою дорогой, с одной стороны в Петербург и Москву, с другой — в Варшаву и Вильно. Кроме них пересекают еще уезд военные пути: в Вильно, Полоцк, Динабург, Бобруйск и Могилев.

Из великороссийских губерний перевозят в Минск и Варшаву разный железный (*скобяной*) и фабричный товар. Отсюда в Вильно, Динабург и Ригу везут рожь, пшеницу, льняное семя, лен, пеньку, водку, медь и прочее.

Вообще *березинская* торговля приносит, между прочим, ту пользу, что владельцы поместий отпускают людей на заработки во время гонки леса, выручают на них податные деньги и избавляются от прокормления многочисленного народа в неурожайное время. Кроме того, земледельческий класс находит случай сбывать свои хозяйственные запасы и приобретать продукты, необходимые для первых потребностей жизни.

Русские купцы, привозящие товар из Малороссии, в желании удалиться от жидов, имеющих свои магазины в городе, построили на правом берегу реки 45 своих житниц, которые вместе с опрятными домиками для приказчиков представляют вид особенного городка и живописно украшают пристань.

Кстати, о древней *березинской* торговле. Она существовала с незапамятных времен. Следы ее находим в истории и законодательстве польско-литовском. Короли Польские, а прежде еще Великие Князья Литовские, начиная с Ольгерда до последних времен независимости Литвы, старались поддерживать торговые связи через Черное море с Константинополем. При всех политических договорах они всегда упоминали о том и вносили особые условия относительно этой торговли с Турциею. Уже и тогда, несмотря на чрезвычайно малоразвитые понятия о политической экономии, государственные умы весьма хорошо понимали всю важность торговли отечественными произведениями по Днепру, Бугу и Днестру.

Договор, заключенный в 1489 году между Казимиром Ягеллоном и Султаном Баязетом, дозволяющий Польше свободную торговлю на Черном море, был постоянно возобновляем всеми преемниками польского престола. Во времена Сигизмунда Августа папский легат, знаменитый *Комендони*, проезжая через Подольскую землю и убедясь в необыкновенном ее плодородии, сообразил местную систему рек и предложил Королю открыть торговлю с Венецией через Днестр и Черное море. Он даже взял на себя заключение торгового договора с Венецией (он был уроженец этой страны). Король и народ с восторгом приняли мысль, но наряженные для исследования Днестра комиссары объяснили, что навигация невозможна по множеству *порогов* или подводных камней. Тринадцать больших порогов, соделывая невозможным плавание, в зародыше остановили развитие великой мысли, обещавшей столько пользы грядущим поколениям.

В конце царствования Сигизмунда III возникла мысль о сообщении Черного моря с Балтийским через соединение Березины с Вильей посредством канала со шлюзами. Юный сын короля, Владислав IV, желая снискать расположение Литвы, предложил из собственной казны покрыть все издержки этого предприятия. Но проект этот, утвержденный Сеймом в 1631 году, был приостановлен тоже, как и многие другие полезные намерения, внутренними и внешними несогласиями. Известно только, что план этот, найденный в бумагах королевского архива, послужил впоследствии правительству к исполнению в 1806 году водного сообщения, известной *Березинской системы*.

Наружный вид Борисова совершенно общий всем небольшим литовским местечкам. Кроме приехавшего за домашним делом помещика и местного чиновника, все дома, площади и улицы заняты бедными, неопрятными евреями, которые вместе держат всю торговлю в своих ежовых руках. Вся мелочная торговля, аршинный товар, съестные припасы, горячие напитки, ремесла — все принадлежит им. Вот мещанин в длинном сером *капоте,* в опушенной бараньим мехом шапке важно бродит по площади. Он закупает из рук жидовских за высокую цену товар, который мог бы сам продавать другим дешевле с пользою для себя, если б не беспредельная непобедимая лень и беспечность, вечно удаляющая этот народ от промысла. Мещане наиболее занимаются ремеслами кузнечным и сапожным, преимущественно же рыболовством.

Борисов в летнее время движется новою жизнью: малороссийские чумаки, березинские матросы, рабочий народ и гоньщики из разных стран расхаживают по улицам и лавочкам. Среди групп этого народа всегда является еврей с хитрой рожей, с лукавым и пронырливым взглядом. Он тотчас завладевает умом простолюдина, а между тем несколько других евреев зорко подсматривают, и если этот человек ускользнет от первого, то неминуемо попадет в их когти. Иногда за приезжим, порядочно одетым помещиком, присматривают два, три еврея, осторожно приближаются, окидывают его взором с любопытством, составляют между собою совещания, делают наблюдения. Это, непременно, портные, совершающие курс своего учения на складе и одежде заезжего господина. Угадывая покрой платья, снимая мерку глазами, они при первом случае уверят любого борисовского *донжуана*, попавшегося в их руки, что в состоянии сшить ему пару платья по самой последней моде, точно такую, как у такого-то графа или франта… Вот едва ли не самые выразительные черты физиономии Борисова: везде жиды, везде простой народ.

В Борисове бывает две ярмарки, называемые здесь *кермашами.* Одна на новый год, другая — на десятую неделю после Воскресения Христова. Цель их — удовлетворение потребностей низшего класса. Мелкие торговцы из Минска и других городов располагаются на площади с мелочным товаром, состоящим из бронзовых и стеклянных подделок под драгоценности для невзыскательных. Все это, продаваемое за самую сходную цену, обезображивает природную красоту мещанок и *шляхцянок.* Аршинный товар, стеклянная и фарфоровая посуда расходятся в простонародье в большом количестве. В то же время местный чиновник и заезжий господин запасаются осетриной и голландским сыром. К этому времени собираются сюда мелкие фокусники и содержатели маленьких зверинцев. Иногда странствующая группа комедиантов в прилаженном на скорую руку театре дает свои площадные представления к великому восторгу собравшейся толпы.

Другая ярмарка исключительно посвящена покупке и распродаже лошадей и рогатого скота. Толпы евреев и цыган окружают гурты. Обман владычествует во всей силе на просторе. Добродушный чернорусс[3)], ошеломленный разглагольствованием жидов, или платит вдвое дороже за самую ничтожную скотину, или же даром отдает собственную лошадку. Характеристика ярмарки та же, что и характеристика города: везде жиды, везде простой народ.

Здешний простой народ по большей части хорошо сложен: рост средний, здоровье крепкое, но к постоянному труду нет способности и привычки. Лень причиною, что люди эти, с одной стороны, мало заботятся о сбережении своей собственности, с другой — не очень воздержаны относительно неприкосновенности чужой. Самое пагубное влияние на них производят жиды, находящиеся в помещичьих деревнях. Язык крестьян, их обычаи и нравы почти в целом уезде одинаковы. Есть различие в домашних занятиях, в способе заработка и, преимущественно, в одежде. Поэтому, например, Борисовский уезд следует разделить на две части: *лесную и полевую*, а жителей на два различных типа.

Жители южной и западной, богато-лесистой страны, обладающей водяным сообщением, зимой занимаются приготовлением и вывозкой леса, а летом — гонкой судов по рекам, что составляет главный предмет и доход их заработка. Почти каждый из зажиточных крестьян имеет по нескольку хороших лошадей и небольшие стада, пасущиеся по лесам. Жилые хижины и хозяйские строения, по большей части, в весьма дурном состоянии и крайне неопрятны. Крыши разрушены и полугнилы, заборы в каждую зиму обращаются на топку печей, а летом возобновляются. О лесе здесь не заботятся: каждый крестьянин имеет его сколько ему угодно, потому, никого не спросясь, он идет в прилегающий лес и рубит себе вволю. Сверх того заготовляет для продажи смолу, деготь и уголья. Странно, что изобилие леса производит здесь совершенно противное действие, нежели в странах, в которых в нем нуждаются. Замечено, что там строения всегда хороши. Эта небрежность в содержании жилищ всегда поражает путешественника и представляет картину бедности, которой, в сущности, нет. Сельское хозяйство в очень дурном состоянии, полей не много. Сеют лишь столько, сколько необходимо для пропитания. Запасов никаких не делают, зерновой торговли почти не знают. Зато занимаются рыбною ловлей и охотой, имеют много бортей и ульев по лесам, потому-то жители и не опасаются голода. Если страну и постигает неурожай, то кожа дикого зверя, дичь или трудолюбивая пчела всегда дадут средство приобрести кусок хлеба и необходимую соль у Березинской пристани.

Картинка верно изображает одежду крестьян из окрестностей Борисова. Мужчина носит, обыкновенно, сермягу серого или темного, бронзо-бурого цвета из крепкого сукна, сотканного по обыкновению тамошних крестьян, *в три нити* с узкой выпушкой. По мере приближения к Белоруссии сермяги эти делаются беловаты, покрой их всегда одинаков у мужчин и женщин. Они не слишком широки, так что пола едва закрывает полу, редко они бывают ниже колен. У женщин они длинны, почти до пяток. Сермягу употребляют зимою и летом и назы-

вают, как в Малороссии, *свитою.* Другую часть одежды составляет род капота из толстого полотна такого же покроя. Эту одежду называют *насов*, потому что она надевается, или *насовывается,* сверх сермяги во время снега или дождя. Во время морозов носят тулуп, на который надевают *свиту и насов.* Опоясываются *дзягой,* поясом из ремня с металлическою пряжкой, у которой висит калита, мешочек с ножиком, кремнем и трутом. Нижнее платье, суконное зимой, полотняное летом, стягивается шнурком, что называется *на учкурни.* Для обуви употребляют лапти из липового или ивового лыка, и ногу, до колен обернутую полотном кругом, опоясывают черным ремнем, что на их языке называется *на оборучь.* Шапка из толстого сукна с опушкой из бараньего меха, черного или серого, с длинными ушами, летом бывает круглая, в виде белорусского *бриля* (шляпы без полей, суженной к верху, из белого сукна). Как и у русских мужиков, шея у здешних зимой и летом открыты; рубаха не завязана, как у литовских крестьян, но застегнута блестящею запонкой.

Женщины употребляют ту же одежду, только без *дзяги* или пояса. Вместо лаптей носят сапоги, а летом ходят босые. Замужние драпируют голову куском полотна или, по-тамошнему, *наметкой*, которая скрывает часть щек, подбородка и ушей, немножко поднимается над головой, а сзади опускается на шею двумя длинными концами. Девушки завязывают голову платком, украшенным каким-нибудь огородным цветком или радужным концом павлиньего пера, изпод которого опускаются на плечи две длинные косы, тоже украшенные цветком или лентой. *Шнуровка,* обхватывающая талью девушек, всегда цветная, равно как и их *андарак,* или шерстяная или полотняная юбка, стягивающаяся шнурком. Они носят полотняный передник, на шее много бисера, но серег почти не знают. Опрятность особенно поражает, когда летом они идут к барскому двору на работу. Веселый вид резвых девушек и молодежи, их бесконечные песни, щеголеватость одежды, важность стариков, собравшихся у барского крыльца во время *дожинок* — сельского праздника после окончания жатвы — все это производит на приезжего из столицы самое приятное впечатление, представляя картину, истинно достойную кисти художника.

Бросим теперь взгляд на историю города Борисова[1].

Начало основания Борисова, скрываясь в глубокой древности, не представляет ничего особенно любопытного. Никакие местные события не запечатлелись на стране, ничего не известно о жителях первобытных, живших по лесам вместе с дикими зверями. Никакой местный баян, по-здешнему *войделота*[4)], не нашел предмета для поэтической легенды, героической песни или баллады, ничто не оставлено современникам преданием.

Основателем Борисова историки называют князя полоцкого *Бориса Ганвилловича.* Во второй половине XII века он означил границы своего государства брошенным в Двину камнем с насеченною на нем надписью[2]. Летописец Данилович полагает основателем минского князя Бориса Всеволодовича в 1102 году.

Борисов, город пограничный между Польшей и Русью, никогда не проявлял полной самостоятельности: некоторые следы ее обнаруживаются лишь с того времени, когда, получив привилегии от королей польских, город этот начал восставать против угнетений своих старост и вести свободную торговлю на Березине.

Следы походов Великого князя Литовского Витольда через борисовскую землю сохранились и до сих пор в местных названиях урочищ. Недалеко от села князя Радзивилла *Массалае* есть источник, окруженный каменьями. Народ называет его *Витовым колодцем.* Предание говорит, что этот колодец вырыт на том самом месте, где Витольд обедал во время похода. Что тогдашние жители этой деревни за гостеприимное пожертвование нескольких волов получили от *Короля Вита* грамоту на свободу, что грамота эта долгое время сохранялась между

жителями, но что будто бы за уничтожением ее в пожаре они снова впали в рабство. Это предание так глубоко вкоренилось, что и до сих пор сохранилось между крестьянами.

Литовскому князю Свадригеллу был представлен в Борисове князь Юрий Семенович Гольшанский, после, в 1435 году, по его повелению утопленный в Витебске, в Двине.

В 1500 году Великий князь Литовский Александр во время войны с Иоанном Васильевичем, князем московским, долго стоял с войсками в Борисове.

Во время войны с Василием Иоанновичем, князем московским, Сигизмунд I, король польский, был в Борисове, принимал посланника от папы Льва X, *Ивана Пицо*, которого польские историки называют *весьма ученым человеком.* Папа старался примирить враждующих государей, но Сигизмунд отвечал, что Князь Московский упрям, горд и неточен, а потому, не надеясь заключить мира через переговоры, он хочет принудить его к тому оружием[3]. Отправив посла и выслушав обедню, Король выступил из Борисова. Весело шла армия, потому что вороны и орлы летели следом за обозом, что считалось предвестием победы. Однако ж, вняв увещаниям сановников, Король воротился в Борисов и там простоял на зимних квартирах в продолжение московской войны.

Получив тайное письмо от изменника князя Михаила Глинского, который в досаде на князя Московского обещал Королю изменою возвратить Смоленск и сам повиноваться ему как законному властелину, он собрал совет, которому сообщил это обстоятельство, но вельможи литовские, опасаясь влияния Глинского в Литве, отсоветовали Королю принять предложение. Между тем, тайное послание князя огласилось, корреспонденция Короля с Глинским была перенята, и он погиб в заключении, сообщники же его подверглись пытке.

В борисовской земле осталось наиболее следов походов Короля Стефана Батория около 1580 года, т. е. времени второй войны с Москвою. До сих пор существует много местных названий и воспоминаний, перешедших даже и в народную поэзию.

Так, например, Король остановился в одном месте отдохнуть на поляне, только что вырубленной в лесу. Это место и построенная на нем мыза поныне называются *Королевской Станицей,* или в сокращении *Стань-Король.* Она принадлежит теперь помещику *Трацевскому.* В нескольких верстах находится имение графа *Тышкевича,* называемое *Мильч.* К этим местам относится следующее народное предание, повторяемое нами по рассказу автора *Литовских скиццов (Obrazy Litewskie) Игнатия Ходзько:* «Король с войсками шел вперед, вырубая широкий путь в лесах, которыми Борисовский уезд изобилует и теперь, а тогда был совершенно покрыт. Повсюду были устроены плотины, устланные из бревен на болотах и тундрах, и колодцы, поныне называемые в народе *Баториевскими.*

Однажды армия остановилась на ночлег вблизи мызы какого-то шляхтича. Раскинули палатки и расположили обоз на полях и лугах бедного шляхтича. Измученные ратники, не обращая внимания на его жалобы и сетования, вырезали коров и ягнят, опорожнили амбары и житницы. Наутро шляхтич, лишившийся всего, мог только разве следовать за войском, чтоб не умереть с голода. Взяв за руку детей и жену, он вышел на большую дорогу ждать Короля и дождался его.

Баторий приближался верхом, окруженный польским рыцарством. Шляхтич встал на самую дорогу и, схватив поводья лошади Короля, сказал: «*Стань, Король!*»

Удивленный Король спросил, чего он желает. Тогда бедный рассказал ему обиду и разорение. Жена и дети плакали, шляхтич смело исчислял убыток…

— Чем могу я тебя наградить? — спросил Баторий.

Подумав несколько, шляхтич отвечал: «Землей, на которой стоишь, Король, потому что она твоя: это *староство*».

— *Бери и молчи!* — сказал ему щедрый Баторий, широко очертя рукою круг в воздухе, как бы в означении границ даруемой ему земли.

— Vivat rex! — закричал обрадованный шляхтич.

— Vivat rex! — повторило рыцарство.

На дарованной земле шляхтич построил две мызы. Одну на том месте, где стал Король, он назвал *Стань-Король,* другую наименовал королевским словом *мальчь* (молчи). Обе существуют поныне».

Вблизи *Стань-Короля*, в 715 шагах от барского двора, к северо-восточной стороне на скате горы лежит серый камень твердой породы, обделанный на вид креста: 2 арш. ¾ высоты, 1 арш. ¾ ширины в поперечной перекладине. Его называют *королевским камнем.* На нем изображен рыцарь с мечом в правой, со щитом в левой руке. На перекладине два маленьких крестика. Над головой рыцаря королевская корона, внизу буквы R. S. B., а еще ниже вычеканенные два концентрических круга. Народное предание говорит, что Король, расположась здесь обозом, обедал на этом камне. Походные чеканщики, чтоб увековечить память этого события, дали камню вид креста. Рыцарь изображает Короля-воина, а буквы означают Rex Stephanus Batoreus; два круга — символ обеда — блюдо или тарелка.

С милю (7 верст) от Стань-Короля Баторий переправлялся через реку *Поню*, на которой был растянут мост из лошадиных шкур. Корчма на берегу этой реки называется и до сих пор *Скураты.* Она принадлежит помещику *Герловичу.* Недалеко отсюда другая корчма *Батурина.* За *Батуриной* в пяти верстах есть болото, называемое *Белая Лужа.* Здесь во время перехода Короля усыпали белым песком дорогу, которую показывают и до сих пор. Простой народ прибавляет, что эту плотину войска королевские выложили всю своими шапками для означения многочисленности его армии.

Вот воспоминания о походе Батория к *Великим Лукам.*

Сигизмунд III был в Борисове во время похода в Смоленск.

Борисовский замок, построенный по правилам тогдашней фортификации, впоследствии обратился в жилище старост, начальствовавших над городом, пока вместе с *Борисовщизной* не перешел во владение князей Радзивиллов. Еще в недавнее время показывали развалины на острове Березины. Впоследствии они были обращены в другую постройку.

В 1645 году во время войны короля Иоанна Казимира с царем Михаилом Алексеевичем по поводу отпадения Богдана Хмельницкого от Польши Борисов был взят русским приступом[4].

В 1660 году Стефан Чарнецкий осаждал русских в Борисове, но после двухмесячной осады должен был отступить[5].

Здесь должно заметить ошибку Вольтера, будто бы в 1708 году Карл XII расположился с войсками против Борисова. Местные предания, русский историк Полевой и, наконец, *Маркевич*[6] определили ясно, что он проходил Березину гораздо ниже, к югу, именно — вблизи города Игуменя.

Староство Борисовское вместе с городом, считающее около 10 000 душ мужского пола, искони составляло народную собственность. Короли польские давали его в виде наград за заслуги или в пожизненное владение или только на несколько лет, знаменитейшим из государственных сановником, которые тогда и носили название *Старост.*

После второго раздела Польши, когда Борисов перешел во владение России, император Павел подарил староство Борисовское, за исключение города, в потомственное владение князю Михайле Мартыновичу Радзивиллу. Таким образом, князья Радзивиллы сделались вотчинниками обширных земель, изобилующих лугами, пастбищами, пахотными полями и лесами[7].

Городу Борисову привилегиями королей Польских Сигизмунда Августа, Стефана Батория, Сигизмунда III и Владислава IV были даны права как городу

вольному, с собственной юрисдикцией. Наконец, Станислав Август в 1792 году привилегиею *renovationis* подтвердил прежние права борисовских граждан. Привилегия эта хранится до сих пор в городской думе. Граф *Тышкевич* вполне приводит ее в своем сочинении.

* * *

Комментарии автора обозначены арабскими цифрами, а комментарии Александра Ващенко — арабскими цифрами с дужкой.

[1]При составлении этой статьи мы пользовались материалами, собранными графом Евстафием Тышкевичем в недавно изданной им весьма дельной книге «Описание Борисовского уезда в отношении статистическом, историческом, геогностическом, хозяйственном и проч.», Вильно, 1847.

[2] Известие об этом камне и самое изображение его смотрите в статье о белорусских древностях в № 36 «Иллюстрации» за 1847 год.

[3] Летопись Бельского и Стрийковского

[4] Описание древней Польши, Свенцкого, стр. 277.

[5] Записки современные. Иоанна Хризостома Паска. Стр. 100.

[6] Военно-Энциклопедич. Лексикон, 1838 г., стр. 280.

[7] Архив князей Радзивиллов.

1) Знаменитая Березинская водная система, соединявшая бассейны Балтийского и Черного морей. С 1833 по 1839 годы секретарем канцелярии инженерного управления при Березинском водном канале в Лепеле работал вернувшийся из десятилетней сибирской ссылки, куда он был осужден за участие в обществе филоматов, Ян Чечот.

2) Церковь была отстроена благодаря стараниям борисовского протоиерея Петра Боричевского (отца историка, журналиста и краеведа Ивана Петровича Боричевского, 200-летие со дня рождения которого было отмечено 1 ноября 2010 года). В своем прошении от 25 августа 1816 года в Минскую духовную консисторию (ф.156, о. 1, ед. хр. 4059) он просил о выделении денег на строительство новой соборной церкви, потому что старая церковь во время войны 1812 года была разорена неприятелем. Было выделено 10 000 рублей ассигнациями.

3) Черной Русью называлась юго-западная часть Белоруссии, которая вошла в состав Великого Княжества Литовского на начальном этапе его формирования (середина XIII столетия). Главными центрами Черной Руси были города Новогрудок, Гродно, Волковыск и Слоним.

4) Вайделоты — мифологизированный образ жрецов у пруссов. Это слово стало общим обозначением языческого жреца у балтов.

Эпизод Березинской битвы

В № 9, стр. 134 «Иллюстрация» сообщила подробности о городе Борисове. Описание Березинского сражения должно быть отнесено к этой статье. Но оставляя до времени это описание, мы представляем здесь частный эпизод, не лишенный занимательности, и вместе [с тем] оканчиваем статью о Борисове.

Чрез *Молодечно, Сморгонь и Вильну* Наполеон сам спешил во Францию, чтоб отдать народу грустный отчет о гибели, окончившей эту кампанию; войска в беспорядке следовали за ним.

Чудным предназначением одинаковая участь постигла двух необыкновенных полководцев, следовавших одним путем, с одними надеждами и намере-

ниями. Столетие разделило их. Карл XII, король шведский, исполненный огня и жажды военной славы, тоже через Вильно, Молодечно и Сморгонь в 1708 году нес войну в Россию, самонадеянно уверенный в победе. Этим же самым путем остатки громкой победами армии Наполеона в 1812 году возвращались в свое отечество. Судьба сравнила их на земле русской; оба великие полководца, грозные целой Европе, должны были в отечестве нашем встретить ту преграду, которой не могла им поставить Европа и которая, остановя их славу и гордость, должна была бедственно доказать им, что всякому положен предел, *его же не прейдешь.*

Страшное зрелище представляла деревня Сцюдзионка: по переходе французской армии она была совершенно истреблена, жители были разогнаны, поля облиты кровью и усеяны трупами. Ни помощи, ни помилования не было и ни от кого не могло быть падшим.

В ужасный день этот судьба разделила мужей с женами, дочерей с матерями, сестер с братьями. Счастлив, кто избежал страшной смерти; счастлив, кто погиб прямо, быстро окончив страдания, не быв долго зрителем происходившего. Дети, девушки, малютки, оставшиеся без матерей, лишившихся тут жизни, скитались прозяблые, голодные, без всякого пристанища… и непостижимым жребием спасались! Бог охранял невинных в винах людей сирот, и многие из них были принесены в помещичьи дворы, попались к людям сострадательным, которыми были презрены, воспитаны и впоследствии поставлены в приличное место в обществе. Другие, и этих было гораздо больше, скитавшиеся по дорогам и поднятые крестьянами на самом поле битвы, пригретые и накормленные, после обращены в предмет торга… Борисовские мужики маленьких девушек продавали по 10 злотых и дешевле, а крошечных детей отдавали желающим даром. Покупающие обращали их в слуг. Между девушками, осиротевшими и проданными, было много, как после оказалось, детей высокого происхождения. За некоторыми, лишь только узнавали о их существовании, несколько лет кряду из Франции приезжали родственники. Другие, о которых там не имели известий или которых не отыскивали, остались в крае и до сих пор живут в Литве, усвоив себе быт, язык и ее обычаи. Многие вышли замуж за людей, по большей части среднего и низшего класса, за служителей и приказчиков. Они не помнят ни родины, ни судьбы своей, многие не помнят и поля битвы, не знают родного языка. Из рассказов только сохранили в памяти, что некогда вышли из Франции с родителями в Россию и потеряли тут родителей, имущество, имя, общественное положение и будущность, к которой предназначались происхождением.

Мы приведем здесь два эпизода дивной игры судьбы с французскими сиротами на берегах Березины. Простой рассказ об этих происшествиях, известных повсеместно в Борисовском уезде и слышанный из уст очевидцев, может послужить содержанием для занимательной повести.

На другой день после перехода французских войск через Березину *Леонард Сутович,* чиновник из Борисова, привез в Плещеницы завернутую в тулуп промерзшую и голодную 12-летнюю девочку, которую он нашел на полях Сцюдзионки. Графиня Софья Тышкевич из сострадательности приняла на свое попечение ребенка. Девочка помнила свою фамилию: она называлась Мария Коло (*Marie Colau)*. Она лишилась отца на Березине, имела двух маленьких братьев… Более ничего нельзя было узнать от нее. Мария Коло была включена в число детей графини во всех отношениях, получила отличное образование. Она выросла образованной и милой девицей. В 1817 году для окончания образования своих детей графиня отправилась в Вильну. Мария Коло сопутствовала ей. Удивительным случаем в Вильне на попечении у г-на *Шостовицкого* было двое мальчиков той же самой фамилии. Близкое знакомство обнаружило, что это

были потерянные братья Марии. Отец их, главный интендант аптек при большой армии, после переправы через Березину, потеряв жену и дочь, сам с двумя сыновьями следовал за армией в Вильно. Здесь он заболел горячкой и умер. Г-н Шостовицкий, тогда главный надзиратель военных госпиталей, принял обеих сирот, потерявших все со смертью отца. Впоследствии Мария Коло поступила гувернанткою в дом помещика Коверского, а от него в дом предводителя Зеновича. Между тем, графиня Тышкевич во время путешествия за границей в каждой столице, почти в каждом городе печатала объявления о Марии Коло. Наконец, в 1824 году начали отыскивать сироту. По переписке с Зеновичами договорились о месте свидания, назначили время, даже день в Кенигсберге, куда и явилась из Франции какая-то дама в богатом экипаже с многочисленной прислугой. Г-жа Зенович вручила Марию приезжей, и с тех пор не было о ней никаких известий. Кто-то из знакомых видел ее во Флоренции, где она, как говорили, вела жизнь великолепную. Впоследствии были слухи, будто она принадлежала к королевской крови и что высокое происхождение ее тщательно скрывали. Мария Коло добротой сердца, нравом и милым обращением снискала такую любовь всех, с которыми судьба свела ее, что и теперь еще о ней остались в стране самые приятные воспоминания.

Вот и другой случай, почти всем известный в этой стороне. После переправы Наполеона русский офицер нашел на трупе женщины девочку, голодного ребенка, который губками хватал грудь матери. Сердце благородного молодого человека сжалось, он взял ребенка. Но за первым порывом сострадания пришло раздумье: что делать с грудным ребенком, когда нет уверенности и для себя в наступающем часе? Пользуясь пребыванием отряда в *Метличицах,* имении г-жи *Жижемской,* он принес дитя во двор, рассказал, как оно досталось ему, и, вручив ребенка помещице, дал 100 рублей серебром на воспитание, прося, чтоб при крещении девушку назвали Екатериной. Армия шла далее, желание русского было исполнено. Ребенка держали в доме госпожи Жижемской до двадцати лет. Выросла прекрасная, но не образованная девица. Никто не занимался ее умственным воспитанием. Войдя в лета, она сделалась служанкой в доме Жижемской. В 1822 году какой-то офицер квартировавшего тогда в Вильне войска, познакомясь с помещиками Борисовского уезда, узнал, что дитя, им оставленное, живо и находится в том же самом доме. Он взял девушку, как свою собственность, и с этой минуты Катенька исчезла. Только более нежели через двадцать лет священник приходского костела в Околове получил из Петербурга бумагу о выдаче свидетельства о крещении ребенка, найденного на поле Березинского сражения.

Много подобных случаев помнят сторожилы. Существуют примеры, слишком близкие и известные, чтоб рассказывать о них подробно. Девица *** найдена точно так же. Она стала после женою достойного помещика, чиновника. Теперь окружена детьми и пользуется в обществе столичном уважением, вполне заслуженным ею.

Молоденькие девушки, может быть, довольно высокого происхождения, делались маркитантками. Портрет одной из них, набросанный карандашом знаменитого Орловского, сохранился еще в стране. Мы передаем его здесь, как рисунок вдвойне любопытный.

Город Борисов после занятия русскими представлял печальное зрелище разрушения обгорелых остатков и множества трупов. Раненые больные всех наций, двинутых с севера, востока и запада этой гигантской борьбой, наполняли дома. Полицейского порядка еще не могло быть. Толпы народа, истомленные болезнями, голодом и морозом, как стада животных, волновались из стороны в сторону. Ни достоинство, ни воспитание, ни пол, ни возраст не спасали. Бедствия и ужасающие крайности не могли даже возбуждать сострадания.

Обезоруженные, истомленные французские *мародеры*, застигнутые на дороге, гибли толпами. Страдания и ужасы претерпевших вторжение извиняли даже и жестокость, горькое следствие кровавой войны. Французские офицеры, оставшиеся ранеными, больными или военнопленными, большею частью, впоследствии, после окончания войны, отправились во Францию. Солдаты, мародеры, ремесленники, выздоравливающие и по человеколюбию жителей получившие приют и помощь, не оставляли края, в который были занесены судьбою. Эти были счастливее всех: то дядьками при помещичьих детях, то гувернерами в домах, то учителями в школах, они жили трудом и в новом отечестве приобрели почет, спокойную жизнь и состояние. Из них осталось много ученых и опытных врачей, хороших ремесленников, искусных машинистов, отличных дистилляторов (*людей, занимающихся очищением водных смесей при помощи перегонки и разделением их на фракции)* и т. п.

Борисов, оставленный французами, наполнялся русским войском, которое, не останавливаясь в городе, переправлялось на паромах (моста не было) для преследования бегущего неприятеля. Фельдмаршал князь Кутузов перешел Березину и по правому берегу ее, чрез Минск, пошел на Вильно.

Земская и полицейская власти занялись очищением поля сражения в Сцюдзионке. Из целого уезда собирались люди для захоронения тел и освобождения от них Березины, в которой погрязли горы лошадей, обоза и пожитков. Доставали из Березины кареты, экипажи разного рода. Из них вынимали трупы женщин, матерей, кормилиц с грудными младенцами, военные фургоны, подвижные аптеки, богатые домашние принадлежности, сервизы, ящики с амуницией и пр. и пр. Конечно, уже все, что народ добывал из воды, что находилось на поле сражения, на трупах, — делалось собственностью искателей. Экипажи обдирали, а находившиеся в них сокровища, пожитки и драгоценности вынимали, нагружали возы амуницией, оружием, мундирами, седлами и отвозили каждый к себе. После 1812 года в дворянских домах, в шляхетских и обывательских мызах, даже в крестьянских хижинах находилось множество вещей, принадлежавших *большой армии.* Долго-долго, многие годы, военные вещи, оружие всякого рода, снаряды, книги, превосходные часы, столовые приборы, стеклянная, фарфоровая и серебряная посуда, золотые кольца, дамские серьги, богатые шпаги, великолепно отделанные пистолеты почти за ничто приобретались от крестьян. Разного рода железо в деле, шины, обручи, оси, походные мельницы и всякого рода ремесленные принадлежности, снаряды и инструменты были в таком множестве, что в домах некоторых соседних помещиков в продолжение 20 и более лет после не употребляли другого железа, кроме найденного на месте страшного побоища.

Через несколько лет весь этот скарб, переделанный, перешитый, перекованный из мундиров в *андараки* (женская юбка), из снарядов в хозяйственную утварь, из саблей в поварские ножи и вертела, из лат в сковороды и пр., исчез — и этот огромный, казалось, неисчерпаемый запас вещественных воспоминаний о великой армии, о страшной внесенной ею эпохе, уничтожился. На нашу долю пришлось видеть мало: остались только ручные военные безмены и ручные маленькие мельницы для молотья зерна. С этими полезными во вседневной жизни снарядами можно еще и теперь встретиться в домах здешних помещиков.

Такого рода массы сокровищ были вынесены с поля битвы. Без сравнения, многочисленнее должны были быть те, которые остались затопленными в волнах Березины и занесенными песком. Так, однажды добыли ящик с огромным количеством ассигнаций, совершенно испорченных водой. Другой раз вытащили мраморные статуи. Еще и теперь воды Березины подчас вымывают что-либо принадлежащее тому времени. Еще и теперь мальчики, купаясь, находят в песке

какое-нибудь металлическое украшение. Несколько лет тому назад крестьянин деревни Сцюдзионка, купаясь, нашел золотой крест с цепочкой, по форме должно было полагать, что он принадлежал духовному лицу высшего сана, а что он был золотой, это несомненно, потому что еврей, арендатор корчмы, искуснейший в целой деревне ювелир и знаток, определил его ценность в 8 рублей серебром и заплатил их крестьянину, не считая водки и угощения. Земля, кажется, поглотила самую значительную часть сокровищ в наличных деньгах. Французы, отступая от Москвы, предвидели свою страшную будущность. Начиная от Смоленска к Вильно и далее в местах, которые казались им возвышенными, они зарывали деньги, драгоценные металлы в надежде, может быть, что когда-нибудь найдут их. О таких сокровищах в Борисовском уезде до сих пор множество преданий. Говорят о таких кладах под Кохановом, об очень значительном будто бы под Веселовом, Зембином и Плещеницами. После переправы через Березину, ближе к Вильно, когда отступление французских войск совершалось в беспорядке, они не имели времени зарывать что-либо в землю. Лошади в фургонах падали с голода, и бочонки с золотом просто бросали на месте. В Вильно они валялись на улицах. Прозорливые люди, которые в эти минуты думали об обеспечении своей будущности, собирали их и присваивали себе. В самом деле, эти сокровища не принадлежали уже более никому.

Множество слухов носилось и носится еще и теперь о зарытых в борисовской земле французских кладах. Они утвердились в народных преданиях в преувеличенных и украшенных воображением размерах и останутся такими навечно. Многие, подстрекаемые местным преданием, испытывали счастье: рыли усердно землю, искали чего не положили в нее и уходили с пустыми руками. Не было слышно, чтоб кто-нибудь нашел клад. Впрочем, и теперь есть очень зажиточные люди, которые до Березинского сражения и борисовского разорения были экономами и приказчиками, а после вдруг сделались очень богаты. Может быть, они и поживились французскими фургонами, а может быть, они только желают, чтобы этому источнику было приписано их обогащение.

Немного лет тому назад какие-то пришельцы из-за границы, одни скрытно, другие — с официальным позволением и пособием, имея географические и топографичные карты с указанием мест зарытых будто бы денег, широко и глубоко раскапывали землю. Искали по указаниям своих планов, но ничего не находили: тридцать лет так переменили места и окрестности, что ни поверить их с рисунками, ни согласить с преданиями не было возможности. Искатели сокровищ возвратились как прибыли. Единственное верное и важное сокровище земли осталось и останется в ней навсегда: слава народа, мужество и чувство достоинства и патриотизма, сокрушившие неслыханные полчища врагов несметных и избавившие Европу [от угнетения].

Подготовил к публикации Александр ВАЩЕНКО.



ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

Во весь голос...

Эссе

Говорят, что жаворонок, эта маленькая удивительная птичка, живет до того времени, пока поет. А когда пропадает голос, то камнем падает на землю и умирает. Нередко с большими поэтами происходит нечто подобное. Пока им поется, они живут, радуют стихами читателей и радуются сами. А когда внезапно их оставляет вдохновение, что-то происходит с голосом, для них начинается трагедия. Например, после написания знаменитой «Гренады» некоторое время мучительно молчал известный поэт М. Светлов. Был творческий перерыв и у наших мастеров поэтического слова А. Кулешова и А. Велюгина. А популярный поэт А. Вознесенский даже посвятил этой драме стихотворение, в котором с горечью восклицал: «Я — в кризисе. Душа нема». Трудно, конечно, сказать, был ли на самом деле у А. Вознесенского творческий кризис или всего лишь небольшая пауза. Во всяком случае, он смог пережить эту душевную драму и снова заговорил во весь голос.

А вот удручающее молчание, которое охватило одного из наших самых талантливых поэтов-новаторов Алеся Навроцкого, угрожающе затянулось. Что-то настолько крепко «заклинило» в его душе, что он, видимо, не может с этим справиться и по сей день. И все, кто переживает и тревожится за его талант, с надеждой ожидают, что вот-вот к нему вернется второе, как говорят в таких случаях, дыхание и мы вновь с большим интересом будем читать его новые поэтические или прозаические произведения. А пока хочется поразмышлять о том, чем вызван творческий кризис А. Навроцкого. Обратимся к книге «Беларускія пісьменнікі». В этом своеобразном «кондуите», как сказано в небольшеньком предисловии, «паведамляюцца асноўныя біяграфічныя факты: даты нараджэння пісьменнікаў, месца нараджэння, адукацыя, жыццёвы шлях, пералічваюцца навуковыя і ганаровыя званні, рэспубліканскія, саюзныя і замежныя прэміі, адзначаюцца ўзнагароды ордэнамі і медалямі…». Как видим, цель и замысел книги четкие, честные и благородные. Но, знакомясь с биографией А. Навроцкого, мы вдруг узнаем такие подробности, которые вызывают недоумение и вопрос: зачем они? Хотя, скажем, тот факт, что поэт «пратэстуючы супраць прымянення псіхіятрыі ў палітычных мэтах, выйшаў з Саюза пісьменнікаў», не только не унижает поэта, но даже возвышает его в наших глазах! Но это уточнение, скорее всего, приведено для того, чтобы далее порезвиться, сказать о том, что выходит за рамки интеллигентной деликатности и тех приличий, которых должны придерживаться уважающие себя люди. С каким смаком и скоморошьим упоением, видимо, в ожидании гомерического хохота и неудержимого веселья, сказано о том, что А. Навроцкий «в 1981 г. прымацаваны да псіханеўралагічнага дыспансера і пазбаўлены працы ўрача». Тут не только открытое зубоскальство (мол, видите, за что боролся, на то и напоролся), но и непростительное раскрытие врачебной тайны, которое должно быть осуждено с точки зрения моральных и этических норм и соображений. Думается, что без определенного нажима сверху вряд ли пошли бы на это составители книги. Или это месть за что-то обидное, сказанное когда-то А. Навроцким в

адрес тех или других личностей? Ведь он, в отличие от некоторых своих коллег, с поразительной смелостью мог резать правду-матку прямо в глаза даже тем, кто занимал в чиновничьей иерархии высокие места! И вот, наконец, представился удобный момент свести счеты и сполна расплатиться с обидчиком! Но каким образом? Потешиться и поюродствовать над болезнью писателя! И хочется спросить: не усугубил ли вот этот беспрецедентный выпад его состояние?

Все это вместе взятое и то, что Алесю Навроцкому исполнилось 75 лет со дня рождения, заставило еще раз обратиться к творчеству поэта, посмотреть на его произведения с высоты достижений нашей поэзии, увидеть, что выдержало испытание временем, а также вспомнить, как он пришел в литературу. Нужно отметить, что свое первое стихотворение «Ранак ідзе» начинающий семнадцатилетний автор напечатал в самом «толстом» и представительном нашем журнале «Полымя». Наверное, в незамысловатых строках сельского паренька, который к этому времени окончил Бобруйскую школу санитарных фельдшеров и начал работать в деревне Вышково Кореличского района, в редакции журнала увидели нечто такое, что свидетельствовало о его творческом даровании, и к слову сказать, не ошиблись. А что касается стихотворения, то в нем говорилось о природе. Вот как оно начиналось: «Чырвоная стужка за лесам далёкім, зара разлівае пажар. Яснеюць у змроку далёкім аблокі і дыхае свежасцю ў твар». Это был удачный дебют. Теперь, казалось, будущее А. Навроцкого предопределено: он сделает все возможное, чтобы заниматься стихами и найти работу поближе к «горячему» цеху поэзии. Но у поэта была иная судьба, — жизненная стезя привела его в Минский медицинский институт. Однако любознательный паренек с противоречивым характером и сложной натурой нисколько не изменил музе и не отстранился от поэтического слова. Когда он стал заниматься на первом курсе института, на страницах «Полымя» снова появились его стихи. Но какие стихи! А. Навроцкий оставил традиционную манеру поэтического письма, отказался от ритмической напевности и стал писать совсем по-иному. К примеру, вот эта строфа, внешне как будто непрезентабельная и в техническом отношении даже несколько тяжеловесная и неуклюжая: «Рукі мазалямі пакрыты век цэлы. Мазалёў тых хапіла б усіх гультаёў надзяліць. Варта абхапіць даланямі кацёл вады зледзянелай — і кацёл вады закіпіць». Нетрудно заметить, какая огромная дистанция лежит между первым напечатанным пейзажным стихотворением и этой строфой о рабочих ладонях, от которых может закипеть в котле ледяная вода. В приведенной строфе свободная и раскованная интонация и ритмика, минимум художественных средств, нарочито прозаическое звучание и отсутствие каких-либо сравнений и образов, хотя вся строфа представляет собой одну целостную многогранную и многоцветную метафору, которая вызывает сложную гамму чувств и множество ассоциаций.

Откуда все это взялось в стихах А. Навроцкого? Так вот, поэт как будто сам позаботился об ответе и в книге «Пакаленні і папялішчы», куда вошло все лучшее, что появилось из-под его пера за двадцать лет творчества, вслед за выше приведенной строфой о рабочих руках дает то ли пояснение, то ли уточнение: «Гм… Здаецца, вершам такоўскім можна ўзрушыць нямала душ. (Пазней я зразумею, што Маякоўскага прымяраў капялюш».) После этих строчек все становится на свои места. Занимаясь в медицинском училище, А. Навроцкий не только постигал врачебные тайны, но и проникал в поэтические секреты В. Маяковского, учился мастерству у поэта-новатора и поэта-горлана. Это еще более видно в двух следующих строфах из стиха о рабочих руках, которые поэт по каким-то причинам решил опустить, может быть, они показались натуралистическими и не вполне благозвучными. Но сами по себе они представляют определенный интерес не только тем, что были написаны поэтом в начале творческого пути, но еще и «густым сілом метафар», с которыми, как говорил А. Велюгин, нелегко было в то время «пробиться» на страницы печатных изданий. И тем не менее, это «густое сіло» присутствовало в упраздненных строфах. Вот как они звучат:

«Нібы барозны, пралеглі маршчыны, жылы — канаты ўдоўж і ўпапярок. Пальцы — жалеза гатовы камечыць, як гліну, пальцы камні скрышаць на парашок. Мыюцца яны машыннымі масламі. Ручнік замяняе само лета, сама зіма. Калі такія рукі ў цябе, значыць, ты — з рукамі. Калі рукі іншыя, значыць, — рук у цябе няма».

Эти строфы, кажется, украсили бы сегодня стихи любого требовательного к себе автора. В них присутствует неторопливая разговорно-бытовая интонация, умение говорить о главном и существенном, выделить его перед читателями так, что оно вызывает не только интерес, но и наводит на раздумия и размышления. Такова природа таланта А. Навроцкого, благодаря которому уже своими первыми стихами он разрушал стереотипы и штампы, которые, казалось, намертво прижились и должны были остаться незыблемыми в тогдашней поэзии. Не все были согласны с поэтом. Находились и такие, кто открыто выступал против его стихов, с пеной у рта доказывал их надуманность и несостоятельность. Но на стороне А. Навроцкого было время. Ко всему, его поддерживал А. Велюгин, этот чародей поэтического слова, который работал в журнале заведующим отделом поэзии, к чьему мнению прислушивались даже признанные мэтры. И конечно же, не остался в стороне и тогдашний главный редактор «Полымя» М. Танк, авторитет которого был высок и неоспорим. С их легкой руки стихи А. Навроцкого и появлялись на страницах этого издания. В них присутствовали густая образность, свежесть и новизна. Они были относительно просты по своему синтаксическому построению, как вот эта строфа, хоть в ней использован такой, не всегда желательный поэтический прием, как инверсия: «Пчала — кароўка ў параўнанні з любой кароваю. Карова прыносіць малако. Пчала малако прыносіць дадому. Пасвіцца пчол выганяе на лугі мядовыя сонца-пастух, працадні не патрэбны якому». По своей незатейливости и разговорной интонации строфа напоминает начало поэмы А. Кулешова «Сцяг брыгады», где говорится: «Як ад роднай галінкі дубовы лісток адарваны, родны Мінск я пакінуў, нямецкай бамбёжкаю гнаны». Из строфы видно свободное обращение поэта с материалом, умелое владение им. А. Навроцкий не использует какие-либо художественные ухищрения или технические изыски, которыми в то время вряд ли и владел. С прежней интонацией он продолжает: «Так гаворыць мой бацька. Ён доіць мядовыя соты. Яму гэты занятак па сэрцы з маладых гадоў. Эх, і напрацуецца, бывала, да сёмага поту, і ніяк не адгоніць ад сябе хлапчукоў». Кто не обратит внимание на вот эту блестку-золотинку, подсвечивающую всю строфу: «Ён доіць мядовыя соты». Образ с первого взгляда бросается в глаза, врезается в память и не выходит из нее. Неудивительно, что через несколько лет этот образ повторит такой серьезный, взыскательный и строгий к себе поэт, каким был А. Пысин, сказав о ягодницах, собирающих клюкву: «купіну даілі». Многозначительно звучат и строчки о ребятах, которые не отстают от пасечника, видимо, просят у него меду. Но самой удачной и значительной по содержанию и художественной оснастке является строфа, где говорится о жатве: «Чытач, не здзіўляйся, што ніву заву я таксама кароваю. Калі ніва паспее, жаць наступае пара, тады з раніцы да вечара доіць малако жытнёвае у камбайнавы бункер-дайніцу сястра». Какая объемная и выпуклая метафора о жатве комбайном! Не в обиду будет сказано для поэта, яркий образ «малако жытнёвае», кажется, навеян поэтикой С. Есенина. Но это нисколько не говорит о каком-либо заимствовании или подражании. Образ самостоятельный, разве что в нем присутствует немного знакомая окраска. И она свидетельствует всего лишь о том, что А. Навроцкий хорошо знал не только поэтическое наследие В. Маяковского, чей голос звучал наподобие набата, но и С. Есенина, обладателя и волшебника лирической свирели.

Подходила пора «оттепели», которую потом назовут хрущевской. Она принесет раскрепощенность как в жизни, так и в поэзии, а также и возможность говорить правду о наболевшем. Это хорошо понял и почувствовал и А. Навроцкий. Понял и то, что появилась возможность искать в поэзии новые формы стиха,

экспериментировать, пробовать открывать что-то новое. А. Навроцкий был, кажется, одним из первых молодых авторов, кто обратился к белому стиху. И заговорил в нем о родной природе, рассказ о которой настолько удачно смог переплести с переживаниями лирического героя, что все сливается в единое целое. Этот стих, где отсутствует связующая рифма, которая иногда может соединить, кажется, несоединимые вещи и понятия, создан на едином дыхании и читается так, что из него нельзя вырвать ни одной фразы, чтобы не нарушить свободно льющуюся исповедальную речь лирического героя. Этот стих хочется привести полностью: «Чашы яблык напоўнены сокам. Ціха застылі яліны, каб сок не разліць. Я — увесь напоўнены вялікаю журбою і журба разліваецца па твары маім. Можа, таму разліваецца, што елка вяршыняй-штыком заходзячае сонца рассякае напалам? Не, таму што мне чуваць, як белым бінтам бяроза бінтуе рану, якую пакінуў цяжкі асколак, што хацеў загубіць і гэты вечар з цішынёй пявучай, і мяне, што слухаю гэту цішыню…»

Поэт обладал каким-то удивительным чутьем и интуицией, благодаря которым искал он там, где имелись еще неоткрытые поэтические пласты золотых залежей, в которых таились находки, как в отношении формы стиха, так и его содержания. Продолжая обращаться к теме природы, поэт вдруг заговорил о маленькой росинке, в которой В. Солоухин в свое время увидел целый мир. А. Навроцкий сделал это по-своему оригинально и даже в некоторой степени мудро. Сначала поэт как бы набрасывает для нас общую картину: «Яблыні галінка звычайную расінку трымае, і блішчыць расінка — сястра іншым росам». А вслед за этим он обращается к росинке: «Расінка, адкуль ты з’явілася? З якога краю? Я стаю і думаю над тваім лёсам». Хотя ничего особенного не случилось, но мы чувствуем, что нас определенно что-то задело, как говорят, зацепило за живое и заинтриговало. Оказывается, что и у простой росинки может быть интересная судьба. Тем временем поэт продолжает свой разговор: «Ты стамілася, адпачыць прысела пасля падарожжа па ўсіх кутках планеты… Э, чакай! Цябе няма! Загаварыўся, а ты паляцела… Расінка, вярніся! Дзе ты? Дзе ты?..» Тут обращает на себя внимание разговорно-бытовая речь, ненавязчиво и колоритно передающая душевное состояние и волнение лирического героя. Казалось, на этом можно поставить точку. Но А. Навроцкий не был бы тем поэтом-открывателем, которым его принято считать, если бы не сказал вот это: «Што ж, ляці!.. Падарожжа жадаю сусветнага, хай жа з прыгодамі шлях будзе твой! Праз тысячу год у паэта, як я непрыкметнага, ты, магчыма, бліснеш слязой». В строфе нет звучных и высокопарных слов и фраз, изощренных в синтаксическом отношении оборотов, но какое глубокое чувство сопереживания вызывает сказанное у читателей, как они остаются благодарны автору за художественное мастерство, с каким он сказал об обыкновенной росинке!

Стихотворение о росинке можно считать небольшой миниатюрой, посвященной природе. Но вот у поэта появился замысел воссоздать картины всех пор года, весны и лета, осени и зимы. Сколько о них написано произведений: стихов и поэм, песен и кантат! Кажется, что уже и браться не стоит за это дело. Но А. Навроцкий по-своему воссоздал красочную и неповторимую панораму всех четырех пор года. Он и назвал свое стихотворение оригинально и броско «Чатырохгранная ваза», дав подзаголовок, похожий на пояснение: «Чатырохгранная ваза — гэта прырода, дзе чатыры грані — поры года». А дальше в восьмистишиях с заглавиями «Зіма», «Вясна», «Лета», «Восень» поэт делает яркий набросок каждой поры года в отдельности. Автор склонен к конкретике и не любит «растекаться мыслию по дереву». Образность, емкость каждой фразы, претендующей на крылатое изречение, — вот что характерно для этого произведения, которое можно назвать маленькой поэмой. Разве можно лучше сказать о зимнем снеге, идущем в который раз: «Зноў заснежыла. Можа, ў раз соты. Хоць бы угледзіць душу адну. Белыя скруткі калючага дроту кідае мяцеліца мне на спіну». Картина идущего снега представлена почти по-маяковски: «весомо, грубо, зримо». Каждая деталь

на виду, бери любуйся и удивляйся краткости изложения, графике рисунка! А вот этому неповторимому, будто увиденному при ярком свете молнии, образу «белыя скруткі калючага дроту кідае мяцеліца мне на спіну», кажется, нет цены. Почему? Здесь новое, по-современному смелое творческое осмысление того, чем огораживали контрационные лагеря и тюрьмы. И оно вдруг приобретает совсем другую, да еще какую, окраску! Метафора не просто входит, а въедается в наше сознание и память, и настолько крепко, что можно только удивиться!

Творческие открытия, которые можно сравнить с золотыми слитками, мы находим и в следующих восьмистишиях. Например, весна А. Навроцкому видится вот в таких красках: «Не мыльная пена зляцела з коней былінных — дзе-нідзе бялее набраклы вадою снег. І не шабельны звон зазвінеў над лагчынай — ручаі звіняць, з узгорка ўзяўшы разбег». Как видим, автор воссоздает картину прихода весны при помощи отрицания, того художественного приема, который используется в устном народном творчестве. Уместно звучат и слова, употребляемые в народных песнях и сказаниях: «коні былінныя», «шабельны звон». Переходя от одной поры года к другой, А. Навроцкий не меняет размер стиха, но появляется ощущение, что в строчках как будто звучит новая мелодия, появляется иная палитра и полифония. Густая акварель переходит в броские, но немного по-аскетически скупые черточки и линии, не теряя при этом своей выразительности. И какое-то легкое, прямо-таки воздушное дыхание чувствуется в каждой строке, где говорится про лето: «Знаёмы малюнак, сэрцу блізкі: прападае сцежка ў прасторах палёў. Жыта то нахіляецца нізка, то выпрамляецца зноў». Нельзя не заметить, что в строфе нет сложных образов, но присутствует какая-то магически притягательная сила. Так в чем она? Возможно, в ритмической раскрепощенности и музыкальности каждой строчки, которая, как лесной ручеек, прыгая по корням и камушкам, переливается из одной ложбинки в другую, несет с собой и дарует и травам, и встречным людям успокоение и свежесть. И как после этого нам не воскликнуть и не вздохнуть легко и светло на полную грудь вместе с поэтом: «Эх, як жа пасля ўсмешак маланкі лёгка дыхаць зямлі». Это значит, после того, когда скошена в лугах трава, а на полях убраны хлеба. Да и немало сделано еще чего! Вместе с тем надо отметить, что А. Навроцкий первый подметил и сказал о том, что «неба ўсміхаецца маланкай». Потом вслед за ним, но уже по его лекалам, пойдут открытия других авторов. Но вряд ли он обращал на это внимание. Желание говорить свежо и емко жило в его душе, не оставляло его ни на минуту. Не что иное, как внутренняя интуиция подсказала ему простое, почти на уровне разговорно-бытовой речи, звучание строфы о наступлении осени: «Лета, зматвай вудачкі! Дрэвы выплаўляюць руду. Вецер свістаў спачатку ў дудачку, потым у дудку, а ўжо затым у дуду». И далее поэт переходит к более медленной и спокойной интонации, нагрузив строчки усложненной образностью, чтобы показать такую пору года, как осень. Вот как говорит поэт о ней: «Адзвінелі промняў сонечныя прыіскі, адзвінеў дажджоў серабрысты апад, адзвінелі лісты і ляжаць залацістым прыіскам, што прайшло, не вернеш назад». Последняя строчка звучит, как заключительный аккорд в симфонии, посвященной четырем порам года. А повторение подзаголовка: «Чатырохгранная ваза — гэта прырода, дзе чатыры грані — поры года», — становится кольцом, которое помогает еще туже стянуть все сказанное в единый узел, способствует тому, что стихотворение звучит как торжественная ода или гимн нашей матушке-природе.

Следующим шагом в овладении сложными поэтическими жанрами является произведение «Палячыце нас, доктар!». Эта своеобразная повесть состоит из отдельных рифмованных и нерифмованных частей, которые можно назвать и балладами, и фресками, и зарисовками с натуры. Объединяет их в одно — тема войны и страданий, вынесенных людьми, в том числе и одним из рядовых бойцов, который признается: «А мяне, доктар, трывожыць пякучы боль, нібы ў мае мазгі насыпана соль. Вось і зноў гэтай ноччу, як і ўчора, мяне разбудзіў рокат матора. Я прачнуўся. Галава разламваецца. Думкі мяне пераносяць на поле бою.

“Месершміт” зніжаецца, зніжаецца нада мною і валасы мае прычэсвае куламетнай чаргою. Я ўсхапіўся. Бягу. Пралятае свінцовы град. Мне пашанцавала: кулі толькі паранілі вінтоўкі прыклад… У сне кожны раз “месершміт” за мной гоніцца… Доктар, палячыце бяссоніцу!»

Обращение к доктору с просьбой о помощи звучит в конце каждой части этого довольно объемного произведения. И становится своеобразным рефреном, к которому привыкают читатели и каждый раз воспринимают его как заклинание от военного лихолетия. Само это произведение хочется рассматривать как документальное повествование людей, прошедших через ад войны, с которым тесно переплетается и авторское свидетельство о тех ужасах, что он видел собственными глазами и пережил во время войны и после нее. Он с болью говорит: «Я хацеў засмяяцца, каб мой смех усюды пачулі, — але замест смеху ад гора зайшоўся плачам. Я вочы свае раскрыў, каб убачыць усмешку матулі, — але акрываўлены нож над вачамі убачыў». В таком вот ключе резкого противопоставления одного другому, человеческого звериному, и построено стихотворение от начала и до конца.

Разделы представляют собой различные картины, где показано, какие издевательства пришлось вынести людям не только от врага, но и от своих. Вот рассказ одного из них: «Аглушыла мяне ўзрывам і — я зведаў палон: крэматорнага дыму грывы і пяшчотны патэфон. Не знаў і пасля спакою, сібірскую зведаў пургу. Пілаваў ручною пілою кашлатую тайгу. Я вораг быў. Як гэта горка! Як выжыў — не знаю сам. Аднолькава зубы аўчаркі шчэрылі тут і там». Такие вот строчки носят отпечаток документальной правды, и она порой оказывает на читателей большее воздействие, чем самые изысканные поэтические находки. Автор не гонится за внешней привлекательностью стиха. Ему важны факты, сказанные кратко и четко, будто вырубленные топором, как в этом случае: «Доктар! Я падпольшчыца. Я сядзела ў барысаўскай турме. Шомпаламі грэлі мае цела, стала я за вугаль чарней. Пасля вайны дасталося не меней. Нядоўга цешыў жаданы мір. Каласоў калгасных сарвала жменю — і трапіла ў Сібір». Имеются в этом неординарном произведении и такие документальные странички, где поэт говорит об очереди за хлебом в послевоенное время, делает это выпукло, гротескно: «Бывала, ля магазіна стаіш рана. Хлеб трэба ўхапіць, такі пракручваеш план. А за тваёй спіной аж да Ціхага акіяна бушуе людзей кіпучы акіян». Чтобы найти вот такую, можно сказать, глобальную метафору, нужно было не только самому поэту постоять в этой бесконечной очереди, но и иметь незаурядный талант.

А. Навроцкий в редких случаях прибегал к фантазии, он создавал свои стихи на основе собственных наблюдений и переживаний, или же его подталкивали к этому события и явления, что происходили в стране. Он, как и многие другие поэты, отозвался стихотворением о первой в мире ракете на Луну. Радует то, что оно не стало скороспелкой-однодневкой, сделанной наспех и с одной целью — только бы не отстать от коллег! Автор нашел ключ к теме и начал стих с того, что было перед его глазами: «Малюнак звычайны», который бывает на сельском дворе. Это — «Сад. З’ясі антонаўку — на месяц аскоміна. Лычам свіння тузае дзверы. А дым уецца з коміна». Заметим в скобках, что в первом варианте вместо «Свіння тузае дзверы» было: «Дым з хаты ідзе не праз вокны і дзверы, а з коміна», что гораздо лучше и в стиле раннего А. Навроцкого. Далее действие развивается по своим художественным законам. Автор говорит: «Засумаваў я, пазіраючы на малюнак гэты, дзе дажджы ў гразі месяцца. І раптам навіна — наша ракета даімчала да Месяца». Вот он, переломный момент в однообразной картине. Для другого автора хватило бы и этого. Но А. Навроцкий чувствует, что нужна какая-то незначительная, едва заметная, но с волшебной окраской черточка-подсветка. И он находит ее, а может, она и сама приходит к нему. И ему остается только запечатлеть ее на бумаге: «Захацеў хлапчука я падкінуць вышэй весніц! Рукі мае да малога пацягнуліся самі. Няўжо гэта я дакрануўся да Месяца сваімі рукамі?» Кажется, ничего особенного не случилось, а на самом деле произошло чудо.

В одно целое соединился полет ракеты на Луну и то простое, что сделал поэт, подбросив «хлапчука вышэй весніц», и историческое событие превратилось в поэтическое чудо.

Отозвался А. Навроцкий и на полет первого космонавта в космос, Ю. Гагарина, и сказал об этом так образно и колоритно, что едва ли кто и сейчас может сделать это лучше: «А тут навіна. Я ўзбуджаны прахапіўся. Сэрца майго — мацней стук. Чалавек з космасу апусціўся на тры мільярды угору паднятых рук». Под этими строчками обеими руками подписались бы даже поэтические снобы и мэтры, увенчанные лавровыми венками и государственными наградами. Умение говорить с планетарно-космическом размахом и не терять при этом душевной теплоты поэт продемонстрировал и в стихотворении «Размова з Уладзімірам Ільічом». Не будем уточнять, что заставило такого далекого от политики поэта, каким был А. Навроцкий, обратиться к вождю пролетариата. Он никогда не высказывал своих отношений к ленинским идеям. Возможно, эта была отписка перед теми, кто руководил в республике идеологической работой. Ведь поэту нужно было издать книжку стихов, а о нем шла молва как об авторе, который не очень считался с официальными установками. А перед этим, когда критика вдруг обрушилась на одну из книг рассказов Б. Саченко, тот печатно поклялся перечитать всего Ленина и придерживаться линии партии. Так или не так было с А. Навроцким, неизвестно. Но стих был создан. Поэту надо отдать должное, он не пошел протоптанными стежками, а нашел нужную интонацию в разговоре с вождем и, обращаясь к нему, в одном месте стиха он говорит: «Чакайце, я лепш раскажу Вам пра грушу, што ў нашым садзе стаіць. Звычайнае дрэва, якіх на свеце шмат. Ды ўвосень на ім — не галіны, а грушы адны. Іх калацілі не раз я і меншы мой брат у імжастыя дні. І вось знаходзяцца істэрычныя душы на тым баку планеты. Зморшчылі лоб, крычаць: “Карэнне вашай грушы шар зямны прараслі і перакуляць небаскроб…”» Невозможно не удивиться, что произошло при поэтическом переосмыслении простых жизненных вещей и явлений. Они превратились во что-то грандиозное, просто фантастическое! Действительно, как это можно, чтобы корни обычной груши могли угрожать небоскребу! А разве это не было так? Разве воинствующий коммунизм не заставлял дрожать акул капитализма, и в первую очередь в Америке? Не будем говорить, реально было это или желаемое выдавалось за действительное, но подано оно было настолько убедительно, что невольно хотелось верить в его достоверность. Такова, видимо, сила убеждения художественного слова.

Проникновенно и с какой-то необыкновенной живинкой сказал А. Навроцкий свое слово и о К. Марксе. Строками, в которых говорилось о способности Маркса проникать в сущность вещей и явлений, был взволнован в свое время и наш классик В. Короткевич. Вот что он писал, давая рекомендацию А. Навроцкому для вступления в члены Союза писателей СССР: «Па-сапраўднаму люблю вершы паэта. Такі верш, як “Размова з Уладзімірам Ільічом”, і такую паэму, як “Стрэл у твар смерці”». И дальше приводятся строки из этой поэмы: «…Маркс! Ты калісьці ля гэтага акіяна паставіў свой пісьменны стол. Гэта быў чалавечых дум акіян кіпучы. О, натхнення салодкі боль. Больш за сорак гадоў ты адмучыў, каб з акіяна вылавіць соль. Ты паміраў, а заводы і фабрыкі ў дыме патоплі, з паравозных печаў вырываўся агонь. Ты паміраў, і апошнія той солі кроплі твая сціскала далонь».

Сегодня вполне можно понять то ли удивление, то ли восхищение поэтессы В. Вербы, которая однажды в семидесятые годы, придя в редакцию журнала «Полымя», где в то время присутствовал и автор этих заметок, сказала, что была в «Ленинке», республиканской библиотеке, читала в «Известиях» поэму А. Твардовского «Василий Теркин на том свете» и видела А. Навроцкого, который с карандашом в руке штудировал «Капитал» К. Маркса.

Прирожденная любознательность А. Навроцкого помогала ему добираться до глубины жизненных ситуаций и явлений, проникать в их суть, определять еле

заметные признаки драматизма, которые происходили даже в такой безобидной и мирной среде, как природа, и выделять их на фоне других. Так случилось и с маленьким зернышком. Что, казалось бы, можно сказать о нем? Но поэт на то и поэт, что имеет богатую фантазию и может увидеть то, что не видно другим. Впрочем, вряд ли можно назвать фантазией, а не жизненной действительностью все то, о чем рассказал автор: «Я — Зерне. Ляжаць на камені змушана, замярзаю на ім, сонцам аглушанае. А навокал калоссем звоніць поле, не ўсім аднакая выпала доля». Вчитываясь в стихотворение, где заключен значительный философский смысл, так и хочется воскликнуть: мал золотник, да дорог! Хотя дотошный буквоед может отыскать в нем что-то вроде неточности. Например, как это может замерзать на камне зернышко, «сонцам аглушанае»? Оказывается, в поэзии может происходить и такое. Разве иссушенное солнцем зерно не может дрожать на рассвете от холода, когда появляется первая роса? Как видим, внешне ничем не примечательное четверостишие на самом деле требует определенных раздумий, проникновения вглубь сказанного. А разве это плохо, когда поэзия не убаюкивает, а требует от читателей активной работы мысли, душевного напряжения, пробуждает нас от духовной спячки. В строчках говорится о драме, постигшей Зерно, которое должно давать новые колосья и зерна. Сколько вместе с ним погибло нерожденных зерен, а значит, и чьих-то душ, судеб и жизней, возможно, принесших бы счастье для многих, в том числе и для нас. Да разве только этим ограничивается тот круг размышлений, на которые наводят четыре скупые, но поэтически полновесные строчки.

Алесь Навроцкий хорошо знал, что краткость — сестра таланта, и, «абдумываючы план і мэту», как говорил М. Богданович, каждого нового стихотворения о таком неуловимом и загадочном чувстве, каким является любовь, стремился говорить экономно и сжато, как и в этой вот строфе: «Асенняй раніцай, асеннім днем гарыць каліна пад яе акном. Глядзіць задумліва яна ўдалечыню, ці грэе рукі ля твайго агню? Пайшла… Не хоча ў бок мой нават паглядзець, пакінула на тым агні гарэць». Сколько тут многозначительности, душевной щедрости и много еще того притягательного, что бывает в настоящей поэзии. Немало душевного трепета и юношеского волнения мы находим в строчках, обращенных к той, что была и остается мечтой: «Няўжо да цябе, нібы да аблачынкі лебядзінай, што бялее на небасхіле, у канцы трамвайнага пуці, няўжо да цябе, такой далёкай-далёкай, і адзінай-адзінай, мне ніколі-ніколі не дайсці?» Несмотря на то, что строфа представляет собой длинную фразу с несколькими повторами одних и тех же слов, которые усиливают их смысловое значение и звучание, складывается впечатление, что она не просто произнесена, а мгновенно выдохнута влюбленным юношей, и при этом с болью, которая передается и нам, читателям. Иногда стихотворение, где говорится о любви, напоминает тонкие узоры на стекле окна, которые оставляет утром крещенский мороз, как, например, в этой строфе: «Мяцеліца круціцца, мяцеліца верціцца. Шмат хто ловіць яе. Але ж хто мяцеліцу зловіць? Толькі я не лаўлю. Я збоку стаю і ніяк не магу слова прамовіць. Мы расстанемся. І я уздрыгну не раз за будзённаю мітуснёй-бегам: якое шчасце было жыць яе абсыпаным снегам».

Что касается любовной лирики А. Навроцкого, то она по-своему интересна и любопытна с точки зрения того, как его лирический герой относится к девушке и женщине. Поэт воспевает не только целомудрие, но также замечает в девушке и те чисто женские черты, как это видно из стиха, где говорится о том, как молодой врач приезжает в районный городок на практику и встречает медсестру, о которой сказано так: «Здароўе яе толькі стала палаць, а ўжо і намёкі на пышны палац. Пад кофтаю — два анёлы». И дальше все идет как и нужно. Медсестра сама влюбляется в парня и не скрывает своего чувства. Дело остается за ним. Но он почему-то медлит. И чтобы ускорить любовную развязку, хозяйка, у которой квартируют влюбленные, уезжает на день-другой к сыновьям, давая молодой паре возможность остаться наедине. Что же между ними происходит? Вот как

воссоздает эту картину поэт: «Мой ложак — побліз. Заснуць не магу. Расчынена спальня справа. Маланкі бліскаюць у мазгу. У думках-то я ў спальню бягу, а на самай, на самай жа справе…» О чем идет речь? Возможно, у лирического героя своенравный и противоречивый характер, который подводит его и в этой, казалось бы, простой ситуации. Может быть, он недоволен сам собой и окружающим его миром, поэтому все время ищет согласия и гармонии с ним, но получается так, что всем, с кем он общается, приносит только душевную горечь, разочарование и боль.

Разве не о сложности его мировосприятия свидетельствует стихотворение, в котором поэт от своего имени говорит: «Я ўяўляю, што я — бацька. З ношай сена іду да сядзібы. Пот градам. Займае дух. І насустрач сын мой маленькі выбег: “Тата, ношу давай панясем удвух!”» Дальше поэт подхватывает его и сажает «на ношу сена». И что же чувствует в это время? А то, что не соответствует законам физики и земному тяготению, да и здравому смыслу. Автор признается: «Усмешка за нос мой чапляецца ў тую ж хвіліну. І лёгка так маёй натруджанай спіне, нібы нясу я не ношу з сынам, а сын разам з ношай нясе мяне». Может ли быть вот такое на самом деле? Прочитав стих, конечно, хочется верить, что так оно и было. Да и все свидетельствует о том, что великие чудеса с человеком происходят во время подъема и взлета его духа, окрыленности, как вот и в этом случае с сыном, о котором рассказал поэт.

Желание сказать не так, как говорили до него и при нем, заставляло А. Навроцкого пробовать, искать и, в конце концов, находить что-то новое. А возможно, оно само легко и непринужденно приходило к нему, шепнув: бери перо, записывай! Кажется, именно так было и с небольшим стихотворением об уборке зерна на целине. Но удивительное дело: читая строчки, появляется чувство, будто автор ставит своего лирического героя в положение, близкое к комическому. Посудите сами! Разговор о работе на комбайне поэт начинает с того, что «па Акмолінскім стэпе вецер хадзіў-гуляў, капялюш саламяны з маёй галавы сарваў. Крыкнуцуь ветру хацеў я: “Што ты робіш? Не руш!” Пакаціўся далёка мой капялюш». Ну прямо-таки юмористически-водевильная картинка, которую впору показывать по телевизору в передаче Петросяна. А дальше: «Праганяючы стомленасць, праганяючы сон, на камбайне пагнаўся я за ім наўздагон. Дзе шастае пшаніц меднабронзавы сплаў, трыццаць дзён на камбайне яго даганяў. Даганяў — не дагнаў. Знаю сам: не бяда. Але стэп як успомню — чагосьці шкада». И что же, можно спросить, в итоге получилось? Ко всеобщему удивлению, на наших глазах произошло невероятное. Перед нами серьезное и оригинальное стихотворение, со своими особенностями и, если хотите, странностями. Но в нем нет ни комического, ни иронического. Просто поэт употребил форму иносказания, где чувствуется неуемная авторская сила и задиристость, когда от избытка чувств хочется веселиться, по-детски шутить и каламбурить.

Нужно сказать, что поэт нередко использовал в своих произведениях такие художественные приемы, которые сегодня называют провокационными, парадоксальными, абсурдистскими. Таких стихов у него десятки. Можно привести множество строчек, фраз, где он со всем блеском проявил способность говорить по-своему, оригинально: «…не раз зажураным вокам я на ўсмешцы тваей павіснуў», «...а з-за станцыі таварнай ляцела-ляцела і на галінку каліны белай прысела вясна», «Ты паграждаеш лыжкай у лоб пацалаваць гарэзу», «А годы прымярзаюць мне да сэрца», «Я камень шыбану ў проса, што вераб’ямі зарасло», «Цеплатраса ж: давай вязі жалезабетонныя латкі», «Месяц майскую цемру разбоўтаў. Жоўта», «І ўсё стукае ў раму акна тваё імя», «У неба блакітнае чарніла елка вярхушку сваю памачыла», «Зябкім холадам асіны сагрэтыя», «Белы вецер поўзае па газонах», «Неба шэры меніск грозіць марозамі», «Снег з ветрам калючым шныраюць. А я ледзь чутна прашу: «Трава, прыляці з выраю, прысядзь на лугі і шашу».

Нельзя не сказать, хотя бы кратко, о такой довольно крупной вещи А. Навроцкого с многозначительным названием «Папялішча», которую можно назвать

повестью в стихах. Она автобиографична, представляет собой, скорее всего, исповедь. Автор постепенно знакомит нас со своею жизнью, жизнью врача и поэта, со всеми трудностями и сложностями, которые ему пришлось перетерпеть и перенести. Но самым сложным для него оказалась семейная жизнь. Ах, как он раньше ошибался: «З любой буду жыць, як у казцы, — сам сабе я бажыўся. Няма на свеце той трасцы, з якой бы я не ўжыўся». Как там было дело с «трасцай», никто не знает, а вот с женой жизни у героя произведения, от имени которого ведется повествование, не получилось. Автор подробно рассказывает о тех нелепостях, из-за которых в семье происходили так называемые нелады, перераставшие в скандалы: «Вяселле — дзень самы яркі, а пасля яго — звады. Адразу ж грымнулі сваркі і — з-за губной памады». Ко всему этому, видимо, постоянные ссоры настолько подействовали на дочь, что в конце концов, как говорит поэт: «Нібы вулканнай лавы звярыны ашчэр, загрукатала слова — слова псіхдыспансер». Нужно ли говорить, как воспринял эту весть отец. Он свидетельствует: «Дачка да мяне — шчакою, праз слёзы не бачыць света. Дачка абвіла маю шыю: “Ратуй мяне, тата!”» На этой трагической ноте и обрывается драматическое произведение, оставляя читателей наедине с раздумьем о дальнейшей жизни его героя.

Своеобразным продолжением этой исповеди можно считать стихотворение «А маятнік шчоўкае…», в котором поэт замечает: «Маятнік адшчоўквае мне пяцьдзясят трэці», и дальше: «Зірнеш за акно, — а там век дваццаты, век суровы без меры. Мушу прызнацца, што я прывязан канатам… Да чаго б вы думалі? Да псіхдынспансера! Па гэтай прычыне сяджу я дома, узвышаюцца кнігі акрай стала. Хто ж мяне прывязаў? Камісія, вядома. Яна ж і халат з мяне зняла». Посмотрите, в строчках нет образов, сравнений, но читая их, у кого не подступит к горлу горький ком. Но и это еще не все. Рассказав о том, чем поэт занимается, он продолжает: «Ды часам находзіць журбы хвілінка, і я камечу паперы ком. Непадалёку ад Мінска, ў Навінках, за агароджаю высіцца дом. У доме тым на першым паверсе танцуюць, галёкаюць, у бубен б’юць, рагочуць, спяваюць. І нібы чэрці, здаецца, на вас нападуць і прыб’юць. І думка мая мне скроні ломіць. І я згубіў ужо рэшткі надзей. Мая дачка жыве ў тым доме, жыве яна сярод тых чарцей». Какая драма, какое безвыходное положение! Но лирический герой не падает духом и мужественно говорит: «Шмат яшчэ будзе наперадзе солі! Дзе ты, небасхілу блакітны шоўк? Ці дайду да цябе, сабраўшы сілы? А маятнік шчоўкае — шчоўк ды шчоўк…» Словом, жизнь идет своим чередом, продолжается, невзирая ни на какие препятствия и беды!

И хочется верить, что придет время, когда все невзгоды оставят Алеся Навроцкого, отойдут в сторону, и он снова вернется к творчеству со своей, только ему присущей, манерой письма и почерком, который не спутаешь ни с каким другим, и из-под его пера появятся новые строки, наполненные, как и прежде, удивительной жизненной силой и правдой своего времени.



Татары в Великом княжестве Литовском

Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje — Литовские татары в истории и культуре. Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas / Adas Jakubauskas, Galim Sitdykov, Stanislav Dumin. — Kaunas: Lietuvos totorių bendruomenių Sąjunga, 2012, — 436 p., iliustr.

Еще в начале 14-го века Великие князья ВКЛ Гедимин, Кейстут, Альгерд приглашали татар из Золотой Орды на службу, для совместной борьбы с Тевтонским орденом. Попадали в ВКЛ и татары пленные. На землях современных Беларуси, Литвы, Польши, Украины находили убежище татарские ханы, претенденты на ханский трон. После Куликовской битвы (1380 г.) в ВКЛ эмигрировала группа мурзов во главе с Мансур-Киятом Мамаевичем, который считается родоначальником Глинских. Большое внимание оказывал татарам Витовт, который видел в них искусных воинов, при нем татары селились на западных границах государства и в окрестностях крупных замков. В 1395 году в Лиде поселился хан Золотой Орды Тохтамыш. Конец XIV века считается началом расселения татар в Беларуси.

Существует целый ряд исследований, раскрывающих разные этапы жизни татар в Беларуси и вообще в ВКЛ. Вспомним хотя бы некоторые из них: «Исследование о происхождении и состоянии литовских татар» А. Мухлинского (Санкт-Петербург, 1857; факсимильное издание — Минск, 1993); «Польско-литовские татары: наследники Золотой Орды» Я. Гришина (Казань, 1995); «История и культура белорусских татар» И. Конопацкого, А. Смолика (Минск, 2000); «Библиографические материалы по истории татар Польши, Литвы, Белоруссии и Украины» Л. Кричинского (Петербург, 1917); «Белорусские татары: Прошлое и настоящее» С. Дунина, И. Конопацкого (Минск, 1993).

Новая работа, которая служит хорошим дополнением к теме, — «Литовские татары в истории и культуре» — увидела свет в Литве, в Каунасе. Авторы — Станислав Думин, Галим Ситдыков, Адас Якубаускас. Издание 2012 года является вторым, дополненным и исправленным. Первое выпущено в 2009 году. В предисловии «Книга о великих предках» Галим Ситдыков отмечает следующее: «Настоящая книга представляет собой собрание кратких биографий знаменитых представителей литовских татар, оставивших след в истории и культуре Литвы, Польши, России, Белоруссии и других стран, где по воле изменчивой судьбы приходилось им жить и исполнять свой долг». И далее: «Литовские татары — это уникальная этническая группа татар, которая поселилась в Великом княжестве Литовском более 600 лет назад — в XIV—XV веках. Синонимичен с термином «литовские татары» термин «польские татары» или вариант — «польско-литовские татары». Литовские татары, проживающие в современной Беларуси, именуются, соответственно, «белорусскими татарами». Однако они также родственны по происхождению с литовскими (поль-

ско-литовскими) татарами, поскольку во времена возникновения и расцвета Великого княжества Литовского территория Республики Беларусь являлась составной частью средневековой Литвы».

Многие биографические статьи, вошедшие в книгу, посвящены уроженцам Беларуси. Обратимся хотя бы к некоторым из белорусских персоналий. Из дворян Минской губернии — Константин (Хасень) Яковлевич Якубович (родился в середине XIX века). Действительный статский советник. Работал на железной дороге. Кавалер ордена Св. Станислава 2-й ст. Награжден бухарским орденом Золотой Звезды 3-й ст. В 1903 г. был назначен начальником Сызрано-Вяземской железной дороги. 11 октября 1853 года в Гродненской губернии родился Иосиф (Юзеф) Степанович (Пустафович) Якубовский. Генерал-лейтенант. Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Участвовал во многих боях. За разгром армии Осман-паши 3—5 января 1878 г. награжден орденом Св. Анны 1-й степени с надписью «За храбрость». За отличие в сражении под Филиппополем — орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Получил Высочайшее позволение принять персидский орден Льва и Солнца 2-й степени.

Из потомственных дворян Гродненской губернии — генерал-лейтенант Яков Давидович Юзефович. В июле 1908 года совершил полет на воздушном шаре воздухоплавательной роты Варшавского укрепленного района на высоте 200 метров. В 1917 году командовал 12-й армией. Занимал пост начальника штаба Кавказской армии, созданной 21 мая 1919 года под командованием генерала П. Врангеля. Из Ляховичей (родился 16 апреля 1884 года) — муфтий мусульман Польши, доктор философских наук, ориенталист Якуб Шинкевич. Участвовал во Всемирном конгрессе мусульман в Каире в 1826 году. В 1930 году посетил Египет, Хиджаз (сейчас территория Саудовской Аравии), Сирию и Палестину. Ему дал аудиенцию король Египта Фауд I. В том же году совершил хадж (паломничество) в Мекку и Медину. Якуб Шинкевич знал 10 языков, в том числе турецкий, арабский, персидский. Из дворян Гродненской губернии — генерал-майор Яков Степанович Туган-Барановский (родился 15 апреля 1810 года). 13 января 1873 года родился в Гродно генерал-майор, георгиевский кавалер Александр Степанович Мильковский. Участвовал в русско-японской войне. Был награжден орденами Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й степени с мечами. Участник Первой мировой войны. 10 ноября 1915 г. пожалован орденом Св. Георгия 4-й степени. В Крымском правительстве занимал должность помощника военного министра. С 1921 года — в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Из дворян Минской губернии — генерал-лейтенант Константин Яковлевич Бицютко. В ноябре 1915 года был назначен командующим 3-й Кавказской стрелковой дивизией с причислением к Генеральному штабу. 7 марта 1916 года во время тактических учений 12-го Кавказского стрелкового полка в районе позиции К. Бицютко был ранен осколком гранаты в правую височную область. 13 мая 1916 года при обходе передовых позиций частей дивизии у Свентян смертельно ранен пулей в живот. 19 июня 1916 года генерал-майор К. Бицютко произведен в генерал-лейтенанты (посмертно).

Знакомство с такими яркими судьбами убеждает в особой значимости исследовательской работы, проведенной авторами в архивах и библиотеках Литвы, России, Польши и, конечно же, Беларуси. К сожалению, далеко не обо всех персонажах книги «Литовские татары в истории и культуре», имеющие отношение к Беларуси, можно узнать из белорусских энциклопедий и энциклопедических справочников. Сейчас продолжается издание многотомной «Культуры Беларуси». Возмож-

но, на ее страницах найдется место для биографий военного деятеля и публициста Хасана Конопацкого, архитектора Степана Самуиловича Кричинского, скрипичного мастера Александра Мустафовича Мухли, Игната Ибрагима Смайкевича, религиозного публициста Юзефа Соболевского, общественной деятельницы, мемуаристки Дротлев Зули Янович-Чаински и других литовско-белорусских татар.

Книга С. Думина, Г. Ситдыкова, А. Якубаускаса показывает широкомасштабность участия татар в социальных, общественных преобразованиях не только в Литве, но и в других соседних государствах. «Уже в начале XIX в. некоторые татары, — пишет С. Думин, — занимали посты в местной администрации литовско-белорусских губерний. После восстаний 1830—1831 и 1863—1864 гг. русское правительство последовательно устраняло из этой администрации католическую шляхту, однако попытки заменить ее русскими чиновниками часто оказывались неэффективными из-за незнания ими местных условий и языка. В этой ситуации литовские татары активно привлекались на различные губернские должности, и процент их в числе чиновников Гродненской, Минской, Виленской губерний оставался довольно высоким вплоть до революции 1917 г. Многие из них, получив образование и чины, продолжали службу и в других регионах Российской империи. Можно отметить, в частности, военную и гражданскую службу некоторых литовских татар в Поволжье, на Кавказе, в Крыму, их контакты с местными единоверцами».

Еще одно обстоятельство, на мой взгляд, должно усилить внимание к книге «Литовские татары в истории и культуре». У многих из ее героев настолько интересные судьбы, что это не может не заинтересовать художников слова. В том числе — и белорусских писателей. Взять, к примеру, архитектора Степана Кричинского. Ведь это именно он построил дом бухарского эмира. Степану Самуиловичу принадлежит идея строительства в России городов-садов. Несомненно, большого исторического полотна достоен и такой персонаж, как генерал-лейтенант Матвей Александрович Сулькевич.

Максим ЖЕЛЕЗИНКА



Где эта улица, где этот дом…

История одного неприметного гродненского дома
при внимательном прочтении позволяет
не только ознакомиться с жизнью его обитателей,
но и во многом понять, чем был наполнен
XX век для Гродно и всей огромной страны.

В. Черепица

Чтение книг доктора исторических наук, профессора Валерия Черепицы — отдельная увлекательная история. Ученый владеет особым даром прикасаться к страницам прошлого, воскрешая его, наполняя живыми картинками, воссоздавая события минувшего.

«Гродно, Студенческая, 3: история дома и жизни его обитателей. Век XX» (Гродно: НрГУ, 2012) — так называется его новая книга. Заголовок красноречив, он обещает сюрпризы, интересные встречи, приглашает жителей города, а также всех любителей истории пройтись по гродненским улицам в различные периоды прошлого столетия.

Каким же был ушедший двадцатый век? В книге лик его виден в отражении судеб гродненских семейств — Кугач, Наумюк, Тиминских, Бахмутских, — где тесно переплелись общественные и частные события, происходившие в губернском Гродно, сопричастные с Первой мировой войной, революцией, смутой гражданской войны, жизнью в предвоенной Западной Беларуси, под немецкой оккупацией, в послевоенное время…

По словам автора, материалы для этой книги накапливались не один десяток лет. Еще подростком он обратил внимание на этот дом: «*Впервые дом № 3 по улице Студенческой попал в поле моего зрения летом 1958 года*».

Приведем данные из недавно вышедшего историко-архитектурного справочника о гродненских улицах: «*Студенческая улица — улица без названия, скорее проезд к складам табачного товарищества Шерешевских со стороны улиц Софийской (*ныне Ленина. — *В. Ч.), переулок Зелены, Zielona, Ielinka, Studentcka, Loetzener Str*».

В предисловии к книге автор кратко описывает свою первую встречу с гродненским старожилом, родственником первого домовладельца Петром Александровичем Наумюком, их давнюю прогулку «*от здания главного корпуса университета (и далее по улицам Ленина, Антонова) к главному объекту нашего внимания — старому православному кладбищу «по Иерусалимской улице… По дороге к кладбищу мы останавливались у зданий, которыми некогда владели чиновники Воевники и помещики Ознобишины, некий поляк Куява. Возле дома №19 по улице Ленина он рассказал немало интересного о гродненцах Преображенских и Мозалевских. Напротив здания штаба армии (бывшего Крестьянского поземельного банка) внимание Наумюка привлекли дома судьи еще царской поры Гедройтя, врача Тальгейма, польского сенатора Церликовского, замечательного певца-баритона Шилейко…*».

Сколько сразу узнаем фамилий горожан, названий городских объектов! Перед нами знакомые улицы исторического центра, где каждый дом хранит свою отдельную, удивительную историю. И тогда время, неумолимо исчезающее в забвении, вдруг причуд-

ливо оживает и звучит неожиданными датами, именами, встречами, невероятными историями и бытовыми подробностями. Наш город становится ближе и понятнее нам, современникам, живущим в дне нынешнем.

К примеру, дом № 6: стиль «модерн», известный, как «*дом со львами» построен в 1906 году грузинским князем Челокаевым. В 30-е годы им владел, а может быть, снимал часть дома некий доктор Алшибая*». (До сего дня в Свято-Покровском соборе сохранилась серебряная табличка с надписью «*Киот сей сооружен в дар роте командиром ея Капитаном Кн. В. Г. Челокаевым в 1912 году. Строили его рядовые М. Митюрев и П. Титов. Освящен 20 октября 1912 года*».)

Книги историка-краеведа — настоящие путеводители в прошлое, где скрыто много городских тайн, легенд и загадок. Почему бы не организовать для гродненских школьников экскурсии по городу? Учебный материал усваивается не только на традиционных уроках, но и здесь, на старинных мостовых, во дворах, на улочках древнего Гродно, среди позеленевших домов столетней, «царской» кладки, под сводами узких подворотен, в проемах подъездов с хорошо сохранившимися резными массивными дверями...

Постройка дома — всегда целое событие в жизни семьи. Исследователь приводит в книге много документов по оформлению земельного участка в Софийском переулке. В самой стилистике первоисточников хорошо чувствуется дух и колорит времени. «*Выписки из крепостной Гродненского Нотариального Архива по городу Гродно за 1902 год*».

Мне, человеку неравнодушному к художественному слову, нравятся все эти архаичные, давно вышедшие из употребления обороты: «*определено главную выпись выдать на гербовом листе бумаги ценою в 08 рублей сорок копеек*», «*и разрешает постройку по оному каменного одноэтажного дома и такого же с ретирадом сарая*». За красивым французским словом retiarde смущенно прячутся всего лишь дела житейские — «уборная».

В документах есть что-то и от диалогов героев из пьес А. Островского «*...нотариус Оскар Фриш, канцелярский служитель, бывший житель Царства Польского Антон Александрович и Амалия Николаевна Воевники, свидетели крестьянин Мухамеджан Асфандиярович Брондуков... Антон Александрович и Амалия Николаевна супруги Воевники продали Ивану Петровичу Кугачу собственное свое благоприобретенное имущество*». Завораживает.

Выясняется, что имущество (дом) обременено залогом банка *«...1200 рублей, по которой заемщики должны платить Банку в каждое полугодие вперед, не позже 13 июня и 31 декабря согласно параграфа 34-го устава Банка по 39 рублей*». Таким образом, покупатель И. П. Кугач приобретал не только земельный участок в 97,92 сажени, одноэтажный дом с сараем, но и ссуду в придачу.

Бывшие владельцы Воевники остро нуждались в деньгах, хотели получить ссуду под строительство дома, о чем узнаем из официального письма: «*…Правление Виленского Земельного Банка имеет честь покорнейше просить Вас прибыть в Банк лично или уполномочить кого-либо для совершения залога означенного имущества и получения ссуды по номинальной цене 4,5 % закладными листами 38,5 лет в размере одной тысячи двухсот (1200) рублей…*»

Да, так во времена империи говорили и писали не только банковские конторщики, телеграфисты и купцы. Для нашего уха звучит немного непривычно и витиевато, но это был общепринятый язык публичных выступлений, газетных объявлений, театральных афиш. А какие в приложении к книге есть образцы так называемых «открытых писем» — ни одна женщина не останется равнодушной. Половинка листа украшена тонким профилем какой-нибудь грустной барышни в роскошной шляпе, а рядом мелким, быстрым почерком слова: «*Скучаю и думаю о тебе, где ты и что с тобой... Целую тебя крепко-крепко. Пиши мне, моя ненаглядная Ирусечка. Твой Юрик. 25.10.1912*». Или с многозначительным

намеком: «*Я къ вамъ пишу, чего же болѣ*?» Куда нашим торопливым, безликим SMSкам до писем былой эпохи, разве можно сравнить.

Но возвратимся к делам хозяйственным. С приобретением семьей Кугач земельного участка появилась возможность временно проживать во флигеле и строить новый дом. Хозяина не смущала долговременная, кабальная ссуда. Иван Петрович служил в царской железнодорожной жандармерии, служба обещала стабильность и достаток. Из частной переписки: «*Чтобы построить наш гродненский дом, дедушка и бабушка держали корову, которую пасли около речки Городничанки…»* Сто лет назад такое было возможно. И это в каких-то двух шагах от центральной, Муравьевской улицы, теперь Э. Ожешко, которая вела к зданию вокзала, где происходило много важных событий. «*После осмотра войск гарнизона и парада в августе 1879 года, который принимал в Гродно Александр II*», или «*1 ноября, ровно в 10 часов утра императорский поезд плавно остановился у дебаркадера гродненского вокзала. Из салона-вагона вышел государь в сопровождении военного министра Сухомлинова и лиц императорской свиты. На перроне вокзала Николай II принял рапорты от коменданта крепости М. Н. Кайгородова и гродненского губернатора генерал-майора В. Н. Шебеко…*»

Сегодня район улицы Э. Ожешко — визитная карточка Гродно, европейского уютного города, с фонтанами, цветниками, скамеечками, фонарями, мостиками, арками, ботаническим садом, заложенным еще гродненским старостой Антонием Тизенгаузом.

Из книги можно почерпнуть много информации. Автор подробно рассказывает читателям, например, о работе жандармской полиции С.-Петербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорог, а также приводит статистику преступлений, хищений грузов. Жандармерия, в переводе с французского «люди оружия», — всего лишь полиция, которая занималась охраной общественного порядка и безопасностью на транспорте.

Осенью 1906 года семья Кугач наконец-то переезжает в новый дом, но хозяева не стали вдруг богаче, наоборот, им пришлось сдавать комнаты внаем, чтобы гасить ссуду. Так что сто лет назад, как и в наши дни, на строительство жилья выдавались кредиты, люди в чем-то себе отказывали, экономили, нередко с трудом сводя концы с концами.

Вот еще одна историческая справка, рядом с домом «в *1909 году была построена гарнизонная Свято-Покровская церковь в честь гродненцев, погибших в русско-японскую войну 1904—1905 годов*». Православный хозяин вместе с детьми посещал службу в церкви, а его «*жена евангелического-аугсбургского вероисповедания»* шла в лютеранскую кирху, которая располагалась в одном квартале от собора.

В 1914 году германские войска приближались к городу, становилось тревожнее. Гродно перешел на военный режим. В 1915 году началась массовая эвакуация жителей в центр России. Семье Кугач пришлось уехать в Петроград. Думали, уезжают временно, никто и не представлял, какие события произойдут в ближайшем будущем.

На этом заканчивается первая глава книги. Не менее интересны остальные семь.

Одна из них посвящена российской династии живописцев Кугач. Внук гродненского домовладельца И. П. Кугача Юрий Кугач — народный художник России, действительный член Академии художеств.

«*К истории дома в разные годы имели отношение: директор народных училищ Гродненской губернии, член Гродненского церковно-археологического комитета В. А. Тиминский (1856—1917); настоятель Свято-Владимирской церкви в г. Гродно, протоиерей Афанасий Тиминский, видный инженер-металлург и ученый Ю. В. Тиминский (1887—1961); балерина Мариинского Императорского театра в Петербурге И. В. Тиминская (Ротару, Димитрашку) (1888—1980); преподаватели Гродненского лицея Цесаревича Алексея — братья Бахмутские; товарищ народного писателя Беларуси*

Василия Быкова по работе в редакции «Гродненская правда» художник-ретушер В. И. Фридрихсон и др.».

В 1935 году улица Зеленая была переименована в Студенческую.

Читатель найдет на страницах книги много любопытных сведений о жильцах дома, например, о народном артисте БССР Дм. Орлове (фильм «Часы остановились в полночь»).

После войны он проживал с семьей в этом доме. «*В доме на Студенческой улице, он (Орлов) познакомился с моей мамой, Вдзеньконьской Викторией*, — сообщает в письме автору дочь Орлова Софья Дмитриевна. — *Интересно то, что три жены из четырех были польского происхождения, все как одна красавицы, при том, что самого папу к «видным» мужчинам отнести трудно… но у женщин пользовался «бешеным» успехом*»[1].

В предвоенный 1940 год дом попал под так называемую муниципализацию (национализацию), его передали на баланс коммунального хозяйства. К тому времени прямые наследники и домовладельцы по улице Студенческой стали обычными квартиросъемщиками. Вот данные статистики: «*В 1940 году только по одной Белостокской области, в состав которой входил и город Гродно, было муниципализировано (т. е. переданы советским государством права собственности частных лиц на землю, строение и т. п. органам местного самоуправления (горисполкому) 10 338 домов*».

Но вот что примечательно. По окончании советско-польской войны в 1921 году, когда был подписан Рижский мирный договор, дочь домовладельца Надежда Кугач вышла замуж в Петрограде за Александра Наумюка, и молодая семья начала хлопотать о выезде на родину. Гродно к тому времени оказался в составе Польской Республики. Как беженцы они выехали в Польшу, но по приезде узнали, что дом уже заселен чужими людьми.

И что же, владельцы остались без прав на домовладение? Нисколько. Были затребованы архивы в городе Януве Подляском, подтверждавшие их имущественные права на дом, и споры разрешились в пользу молодой семьи Наумюк. Правда, перед Виленским банком за эти годы накопился значительный долг, который надо было срочно погашать. Вот вам и войны, социальные потрясения, передел границ, мировой кризис, а банк исправно работал, начислял проценты и потом все свое вернул. Общественный строй остался прежним, значит и законы, охранявшие частное право, были незыблемы.

Семья Наумюк поселилась в квартире с мезонином, а остальное жилье сдавала внаем местным чиновникам и офицерам гарнизона, при этом они могли позволить себе держать прислугу. «*В 1927 году пошел в школу сын Петя (обучение было платным), периодически осуществлялся текущий ремонт дома с необходимой реконструкцией, шла закупка и обновление мебели, имелся велосипед, радиоприемник как атрибуты успешной семьи того времени*».

Сегодня многие из нас через законодательные акты 90-х годов превратились во владельцев недвижимого имущества. Представьте, если бы к вам вдруг пришли, забрали все ваше кровное, «*благоприобретенное имущество*», объявив революционное решение? Трудно представить. Но люди, многое испытавшие, прошедшие через лихолетье войн, голод, немецкую оккупацию, допросы НКВД и другие лишения, выходили в дальнейшую жизнь закаленными и сильными. Другие времена, другое поколение.

Они, конечно, любили свой родной дом, семейное гнездо, но намного больше ценили иное — тепло человеческих отношений, взаимопомощь, дружбу, поддержку в трудную минуту. Как сделала это семья Александра и Надежды Наумюк, сохранив во время немецкой оккупации жизнь еврейскому мальчику Ионе Зарецкому. Они скрывали его в своем доме почти пол-

---

[1] В приложении есть фотографии, где на крыльце дома среди цветущих георгинов мирно сидят две женщины. Подписано — «Жены Д. А. Орлова».

тора года, с февраля 1943-го по июль 1944 года.

Перед отъездом в Вильно Иона писал: «*Дорогие тетя Надя, папочка и Боба! Мои дорогие! За великие дела не следует благодарить, потому что это выглядит как попытка уравнить что-то неизмеримо большое с чем-то безусловно малым. Всегда, всегда я останусь Вашим должником, и дай Бог, чтобы никогда мне не пришлось равноценным образом платить за все то, что каждый из Вас и Вы все вместе сделали для меня. Это было свыше человеческих сил и возможностей, и только Бог может соответствующим образом вознаградить за все переживания, опасности и тот постоянный риск, на который Вы шли ради меня. Целую Вас. Гродно. 22.VII.44 г.*».

В 2009 г. А. Наумюк и Н. Наумюк посмертно были удостоены звания «Праведник Мира».

В 1944 году по доносу Наумюк-старший был арестован, а его жену с сыном выселили из квартиры их собственного дома. Еще одна горькая страница жизни. «*В 1944—1945 гг. А. В. Наумюк и П. А. Наумюк подвергались необоснованным репрессиям, арестам и содержанию в тюрьме. В 1990 годах были полностью реабилитированы*».

Работа историка требует поиска все новых и новых архивных документов. Поэтому В. Черепица обратился с письмами к людям, которые проживали в доме по улице Студенческой. Одним из первых на его обращение откликнулся его коллега, известный в городе краевед, преподаватель лицея № 1 А. П. Гостев. В его подробных воспоминаниях многие гродненцы встретят знакомые фамилии — Савины, Мезенцевы, Литвинцовы, Чайка, Фих…

Работу В. Черепицы над архивными документами стоит отметить особо. Тем более что из них, из этих писем, купчих, протоколов допросов, различных справок, лицевых счетов, домовых книг, чертежей, технических паспортов, старых фотографий, почтовых открыток проступают черты всего XX века. Приложение книги насчитывает почти 200 страниц.

В конце книги Валерий Черепица предлагает придать старому дому № 3 по улице Студенческой статус музея, где можно будет разместить картинную галерею, хранилище и фонды. Начинать можно с малого, с памятной доски «*Дом как культурно-историческая ценность охраняется государством*», которая привлечет к нему внимание горожан и туристов.

«*Автор будет благодарен всем, кто откликнется на выход в свет этой книги*».

Я присоединяюсь к предложению уважаемого профессора и своей небольшой рецензией хочу поддержать его доброе и полезное начинание.

Ирина ШАТЫРЕНОК



Выбор Сергея Юрьева

КУПАЛА И КОЛАС, ВЫ НАС ГАДАВАЛІ: ДАКУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ.
У 2 кн. Кн. 2. 1939—2009. Ч. 2/ уклад.: В. Дз. СЕЛЯМЕНЕЎ, В. У. СКАЛАБАН.
Мн.: «Літаратура і Мастацтва». 2012.

Простое и сердечное обращение составителей книги к двум выдающимся белорусским классикам «вы нас гадавалі» вполне можно перевести из прошлого времени в настоящее. Практически все приведенные в книге свидетельства о Якубе Коласе и Янке Купале настолько нравоучительны, что представляются современными, ни в коем случае не устаревшими. Безусловно можно сказать: вы нас растите. Такие свойственные двум великим белорусам качества, как любовь к Родине и забота о ее настоящем и будущем, милосердие, желание протянуть руку помощи людям, нуждающимся в ней, и отважные поступки в связи с этим, умение вникнуть в проблему и доказать необходимость ее решения не только коллегам, но и верховной власти, личная скромность, несмотря на литературную славу... это и другое, распахнутое в жизнь, заостряет внимание читающего, трогает его сердце, заставляет думать о себе, о своих мыслях и делах, которые бы совпадали с солнцем увиденного или преломлялись в нем.

Перечисленными характеристиками можно было назвать отдельные главки книги о наших классиках. Но тогда, наверное, труднее было бы хронологически выстроить документы: отзывы о них других людей, выступления их на высоких трибунах, правительственные постановления, конкретные действия по увековечиванию памяти народных поэтов Беларуси Якуба Коласа и Янки Купалы. Поэтому составители книги правильно предпочли хронологию публикаций документов. А это письма и телеграммы, биографические материалы, тексты выступающих на бюро ЦК КП(б)Б и правлениях Союза писателей БССР, постановления этих органов и т. д.

Многое в книге поражает. Не оставляет читателя равнодушным судьба рукописного наследия Янки Купалы. Похищенное германскими фашистами, оно было найдено и возвращено после войны, вначале на Украину. 34 года не публиковалось из опаски перед народом предсмертное письмо Якуба Коласа членам Бюро ЦК КП(б)Б о пренебрежении белорусским языком в литературной и социальной жизни общества. Как не переживать, читая письмо Р. Б. Эйдинова секретарю ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко о встрече с Янкой Купалой перед самой его смертью. «Перед отъездом я виделся с ним, тепло, задушевно беседовали, и он как бы невзначай, вскользь обронил такую фразу, что вряд ли увидимся еще, но потом много шутил, и как-то эта фраза затерялась в разговоре. А вот теперь случилось такое. Жаль старика очень и тяжело (...)»

Но есть и такое, что восхищает. Например, памятники, поставленные нашим народным поэтам в разных городах Беларуси, России, даже в американском Арроу-парке (120 километров от Нью-Йорка). А на их малой родине выросли уже две специально посаженные дубовые аллеи. Ну разве два тома книги «Купала і Колас, вы нас гадавалі», выпущенные к 130-летию классиков, не походят на два дополнительно посаженных крепких, высоких дуба?!

ЛАГЕРЬ СМЕРТИ ОСВЕНЦИМ: ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ /составители А. В. Борисова; К. И. Козак; Г. Л. Стучинская.
Мн.: «Літаратура і Мастацтва», 2012.

Lutum non omnia finit — со смертью не все кончается, — говорили древние римляне. А у тех, хочется добавить, кто

видел ее, смерть, рядом, кому она самому неминуемо грозила, но кто все же остался жив, может быть, случайно, — для них в этом есть особый смысл. Более того, напрягаясь памятью и сердцем, они в рассказах своих воплощают ад, который сумели пережить. Недаром Александр Блок в поэме «Возмездие» написал: «Тебе дано бесстрастной мерой // Измерить все, что видишь ты». Все это подтверждает книга о лагере смерти «Освенцим». 160 его жертв из Беларуси (из тех, кто остался в живых) оставили воспоминания, как оставляет страшные ожоги на теле огонь.

Вот пишет Ольга Вербицкая (Бутько) из деревни Струпень Борисовского района: «Умирало — не пересчитать. Как могли, так мылись и стирали свою одежду. Болезни были всякие: воспаление, тиф, понос. Кровь брали из вены, увозили куда — не знаю. Выбирали красивых девушек, тоже не знаю куда. Побеги были, но мы не знаем, чем они закончились. Среди заключенных были предатели. Охрана немецкая. Непослушание — значит убьют или сожгут в крематориях... Очень трудно было с маленькими детьми. Многие из них умирали. Среди них и моя дочка. Ее также сожгли в крематории 23 декабря 1944 г.».

Через месяц и четыре дня Освенцим был освобожден Красной Армией. Из камер, шатаясь, вышли 2 814 узников. После долгих и скрупулезных послевоенных подсчетов выяснилось, что в Освенцим были депортированы 1,3 миллиона человек, из них 1,1 миллиона евреев. 200 тысяч заключенных разных национальностей выжили, но вскоре, за немногим исключением, умерли от истощения или даже были застрелены во время маршей к железнодорожным станциям (их перегоняли к другим лагерям), не выдержали перевозок в угольных вагонах.

В один из таких лагерей, Сахальвальд, пригнали из Освенцима цыганку Рузию Белолипецкую (Брилевич) с мужем и маленьким сыном. Вот что последовало дальше: «Мужа расстреляли, так как он отказался снимать золотые украшения с заключенных. Моего годовалого сынишку забрали, якобы на лечение. Больше его я не видела».

Как выжила эта женщина и тысячи других в таком ужасе? Вот что об этом сказал минчанин Лев Адамович Адамович: «...в адских условиях поражала человечность узников по отношению друг к другу. Кто имел возможность оказать посильную помощь товарищу по несчастью, соседу по нарам или рабочей команде — оказывали ее».

Думая о духовном величии таких людей, вспоминаешь, как точно в предисловии к этой книге написал Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет: «И если каждый человек — это целый мир, то умение ценить каждую человеческую жизнь и дорожить ею становится сегодня обязательным условием исторического здравомыслия и сильных, и слабых мира сего».

АЛЕСЬ КАРЛЮКЕВІЧ. ДАЛЁКІЯ І БЛІЗКІЯ СУРОДЗІЧЫ: З ДЗЁННІКА КРАЯЗНАЎЦЫ.

Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2012.

«Літаратурнае краязнаўства — тая рака, што выводзіць да шырокіх і бязмежных марскіх, акіянічных прастораў гісторыі літаратуры і нават літаратуразнаўства і літаратурна-мастацкай крытыкі». К такой точной метафоре прибег, оценивая свою книгу «І марам волю дам», вышедшей в прошлом году, ее автор Алесь Карлюкевич. Как писатель и краевед, он не спеша, с любовью ко всему окружающему прошелся по своей родной Пуховщине, родине многих белорусских поэтов, писателей, критиков, ученых, преподавателей, артистов, искусствоведов… Подробно рассказав о жизненной и творческой судьбе каждого из них, об их достижениях и потерях, автор тем самым, казалось бы, дал волю своим мечтаниям. И вдруг совсем недавно у Алеся Карлюкевича выходит книга «Далёкія і блізкія суродзічы». На первый взгляд, задача ее выглядит точно такой же, как у прежней. Но она, несмотря на меньший объем (34 фактологических исследования), расширяет пер-

вую. Лишь истории нескольких героев прошлогоднего издания, повторяются и развиваются в этом: прозаика и драматурга Алеся Пальчевского, «першага міністра друку» Льва Стронгина, поэта-сатирика Захара Бирала, поэта Сергея Граховского… Остальные же родились не в Пуховичах и не в их окрестностях — в других местах Беларуси. Камерная певица Ольга Николаевна Бутома-Названова, например, — в Быхове. Практически она не известна у нас. Зато сумела, пишет автор, «...славай сваёю, жыццёвымі здабыткамі поўніць суседнюю (российскую. — *С. Ю.*) культуру. Але што паробіш, так з намі, беларусамі, заўжды. Траціць мы прызвычаіліся. А вось шукаць, знаходзіць...».

И не только в разных книгах и энциклопедиях ищет своих героев Александр Николаевич. Интуиция не раз подсказывала ему, с кем познакомиться, с кем поговорить. Однажды сердце подсказало ему встретиться с Е. М. Акуличем, директором Тобольского государственного музея-заповедника. «Калі б не адбылося маё знаёмства з Яўгенам Міхайлавічам Акулічам, то, відаць, і імя Аляксандра Дуніна-Гаркавіча — нашага земляка (местечко Ружаны Пружанского района. — *С. Ю.*) — яшчэ доўга заставалася б асабліва для мяне тайнай «за семью печатями». А Дунин-Гаркавич, как теперь выяснил наш читатель, — выдающийся исследователь Сибири, изучивший предметы труда и быта коренных народов Севера, его природные богатства.

Тяжело читать о нежелании нашего брата задуматься о том, что на территории собственного проживания жили или хотя бы родились люди, забывать которых просто грех. Сколько, например, человек в Молодечно знают, что там родился Меер Моисеевич Аксельрод, известный график и художник, с успехом выставлявшийся в России, Америке, Голландии, Германии, Англии, Франции? В Беларуси же 100-летний юбилей знаменитого художника вовсе обошли вниманием. Приблизительно так же поступили и с Михаилом Вольпиным, создавшим не менее полусотни детских мульфильмов, известных всему миру. «Нарадзіўся ён ў Магілёве ў 1902 годзе. І хаця беларускія энцыклапедысты забыліся пра гэтае імя, вядомасць у нашага земляка была па ўсёй савецкай прасторы».

«Все сущее увековечить», — кто из краеведов не знает этой строки Блока? Лучшие же из них стремятся увековечить память обо всем достойно существовавшем в прошлом. Именно так поступает и Алесь Карлюкевич, который уже много лет продолжает «збіраць матэрыялы пра землякоў, пра іншаземцаў і іх дачыненні да нашай Айчыны. Вось рухавік апантанасці ў краязнаўстве!» Он занимался этим, когда работал в Ашхабаде, когда служил военным газетчиком на Кубе. И вот две документальные книги, опубликованные одна за другой, еще раз подтверждают это. Но не только это. Он не скрывает и того, что ему неприятно. Ведь порой умаляется то, чем нужно гордиться. Память об Отчизне всегда должна быть молодой. А иначе и тех, кто всем своим талантом служит ей сегодня, через 50—100 лет будут знать только единицы. Или вовсе никто.



Память

Александра Великая, или Запомните нас веселыми

Осень щедро рассыпала по дорожкам и тротуарам лакированные хлебцы каштанов. Александра Ивановна легонько подфутболила один туфелькой… Мы идем из театра к ней домой, и она продолжает жаловаться, что сын не любит, в театре не уважают. Я молча слушаю, иногда, не выдержав, резко возражаю. Я знаю, сын ее обожает, сейчас заканчивает книгу о ней. В театре, несмотря на непростой характер Александры Ивановны, все, от билетера до директора, понимают, что рядом с ними работает великая актриса. Ве-ли-ка-я, потому что в каждой роли достигает такого накала страстей, такой высокой исповедальности, такого градуса искренности, что все ее партнеры тянутся за ней и становятся интереснее, выше, талантливее.



Я всегда, при малейшей возможности, зову Александру Ивановну в свои телепередачи, особенно в «Театральную гостиную». Ее участие в разговоре всегда делает его взволнованным, горячим, интеллектуальным. Она создает особую атмосферу, и все участники стараются превзойти самих себя. А где есть атмосфера, есть и успех передачи.

Мы дружны с Александрой Ивановной Климовой, я люблю ее, знаю о ней многое и любуюсь ею. Природа щедро одарила Александру Ивановну изысканной нежной красотой с еле уловимой грустинкой. Она хрупкая, изящная. При этом у нее бешеный, мятежный темперамент, особая нервная энергетика, магнетическая женская притягательность и голос, проникновенный, звонкий.

Александра Ивановна Климова, народная артистка СССР, великой, но уже несуществующей державы, абсолютное дитя своего времени, а у каждого времени своя правда.

Эпоха благоволила тому, чтобы девчонка из бедной крестьянской семьи смогла пробиться к своему призванию. Климова родилась в 1921 году, подрастала в годы первых пятилеток, ее отец, взяв свою многодетную семью, подался в Магнитогорск строить Магнитку. И все возможности города и комбината, которые возводила вся страна, открылись перед талантливой и любознательной девочкой. Она училась в музыкальной школе, занималась в балетной студии. Видела выступления Галины Улановой, Сергея Лемешева, Леонида Утесова и стала мечтать о театре…

Вообще вся жизнь Александры Ивановны — это цепь каких-то невероятных мистических совпадений и закономерностей. Война. Отец и братья — на фронте. А она, оставшись старшей в семье, пошла работать на завод. Но мечта о театре даже в те годы не угасла. Была самодеятельность, а потом и студия при Магнитогорском театре. И именно над этим коллективом шефствовал Малый театр СССР, эвакуированный из Москвы в Челябинск.



Клеопатра.

Конечно, Саша Климова не пропускала ни одного спектакля «шефов». Однажды она увидела Веру Пашенную, исполнявшую сцену двух королев из трагедии Шиллера «Мария Стюарт». Номер потряс Сашеньку. Они стояли с подружкой в переполненной служебной ложе. «Кончится война, и я буду у нее учиться», — сказала Саша, будто клятву произнесла.

И правда, уже летом 1945 года поездом, который вез с востока на запад не танки и вооружение, а счастливых людей, она приехала в Москву. И в тот год в Щепкинское училище курс набирала Вера Николаевна Пашенная. И Саша поступила к ней на курс. Ну разве не мистика?

Александра Ивановна не раз показывала мне письма Пашенной. Они долго переписывались. Вера Николаевна считала Шурочку Климову одной из самых талантливых своих учениц. С третьего курса круглая отличница Климова получала персональную стипендию им. Садовского. О ее дипломных работах писал в 1949 году журнал «Огонёк»: «В пушкинском спектакле в роли Земфиры мы увидели молодую актрису А. Климову. Вся она — огонь, порыв, движение. Она с удивительной непосредственностью воплощает свободолюбивую дочь степей. Но вот в спектакле «Бедность — не порок» неприметная гостья старухи Торцовой шмыгнула в двери, вороватo озираясь, бочком присела в кресло, беспрерывно жуя и тряся головой. И это та же Климова! Увидев ее в таких разных ролях, можно смело сказать, что перед нами настоящая актриса».

Итак, природа наделила ее всем необходимым для сцены, отличная школа отшлифовала ее талант. К тому же Саша Климова обладала глубоким врожденным интеллектом. Над каждой своей ролью актриса работала как тонкий исследователь.

После окончания училища Александра Климова по распределению поехала в Одесский русский драматический театр им. Иванова. И здесь ждал ее первый настоящий успех в роли Веры в спектакле «Обрыв» по Гончарову. А потом столь же успешные Катарина в шекспировском «Укрощении строптивой», Лидия в «Бешеных деньгах» А. Островского. Одесские любители театра сразу же оценили талант молодой прелестной актрисы.

Александра Ивановна рассказывала, какой удивительный «гонорар» получила она однажды. Шла после репетиции по Ришельевской. Продавец гастронома выскочил из двери, сказал значительно: «Шурочка, зайдите», — и преподнес ей большущий пакет макарон. В послевоенные голодные годы это было ценнее огромного букета роз.

Александра Климова так неповторимо ярко сыграла роль немецкой актрисы Греты Норман в спектакле «Жизнь начинается снова» по пьесе В. Собко, что художественный руководитель Киевского театра им. Леси Украинки К. Хохлов пригласил ее в свой театр на эту же роль. Потом был Харьков. Климова искала «свой театр», и таким стал Минский русский театр им. М. Горького, где Александра Ивановна в 1956 году дебютировала в роли Комиссара из «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского. Успех был оглушительным, триумфальным. Эта тоненькая женщина в черной кожанке, с летящим газовым шарфом была одержима идеей революции и своей одер-

жимостью могла и сдержать, и увлечь разболтанную матросскую братию, превратить орущую массу в дисциплинированный революционный полк, стоящий насмерть.

Роль Комиссара принесла Климовой широкое признание. Она стала лауреатом Всесоюзного конкурса театров и лауреатом Прибалтийской театральной весны. Комиссаром выходила она и на сцену Кремлевского театра.

А когда сыграла Нилу Снижко в спектакле «Барабанщица» по пьесе А. Салынского — одну из лучших своих ролей, — стало ясно, что именно в гражданской теме наиболее ярко выявляется ее мощный драматический темперамент.

Нила Снижко — разведчица, действующая в немецком тылу и работающая у немцев. Соответственно, ее презирают в родном городе все окружающие. Неимоверная тяжесть ложилась на хрупкие девичьи плечи, ведь легче год прожить среди врагов, чем один день считаться врагом среди своих. Образ Нилы был созвучен характеру самой актрисы. Снижко — девушка дерзкая, гордая, своевольная, и если нужно, то даже нахальная.

Более 300 раз прошел спектакль на сцене Русского театра. Однажды его играли для делегатов комсомольского съезда. В первых рядах сидели пионеры, которые должны были преподнести цветы делегатам-комсомольцам. Но услышав последние слова Нилы, идущей на смертный бой, один из мальчишек разревелся и бросился к Ниле со своим букетом. Он поверил театру безоговорочно.

Взрослые же любители театра ходили «на Климову» по нескольку раз на один и тот же спектакль. А она все сетовала на нехватку хороших ролей.

Между тем, я не могу назвать другую актрису, которой бы так повезло с репертуаром. Она сыграла лучшие драматические роли в пьесах советских авторов и самые интересные трагедийные роли мировой классики.

Была несгибаемой гордой фру Альвинг, дающей смертельный яд единственному сыну, чтобы он не впал в безумие («Привидение» Г. Ибсена). Мятежной и неистовой шекспировской леди Макбет, считающей, что ее муж — лучший, а значит, и должен быть королем.

Александра Ивановна каждую свою роль, каждый создаваемый ею образ изучала досконально. Знала характер любой своей героини до самых последних мелочей. Чутко выстраивала основную линию поведения, и тогда все остальное, все нюансы становились оправданными. Ее сценические создания были совершенными, а каждое произнесенное по роли слово казалось только что рожденным.

Она умела объяснить и оправдать даже совершенно необъяснимые вещи. Так, в роли шекспировской Клеопатры объясняла ее предательство и побег во время морской битвы при мысе Акций тем, что царица, отдавая своим кораблям приказ покинуть сражение, хотела поражения Антония. Считала, что проигравший полководец стал бы ненужным Риму и принадлежал бы только ей. Она боролась за свое



Сцена из спектакля «На Золотом озере» (с Ростиславом Янковским).

женское счастье. Но в этой роли актриса была так прекрасна, что понятно было, отчего Антоний потерял голову.

В роли шиллеровской Марии Стюарт Климова показала такой мятежный дух, такую чисто русскую распахнутость, такую неукротимость и безоглядность… Ведь промолчи она, смирись — и была бы спасена. Но нет, все, что думала, она бросила в лицо королеве Елизавете, обличала, стегала словами — и обрекла себя на гибель. И это тоже мистика — повторить роль своего педагога.

Каждая ее классическая роль звучала современно. Обладала она таким даром — делать классику интересной сегодняшнему зрителю.

В «Бесприданнице» А. Островского Александра Ивановна сыграла трагедию попранного доверия, драму растоптанной артистической души. Ах, как пела она романс Ларисы «Он говорил мне, будь ты моею…». Климова была уверена, что при иных условиях стала бы бесприданница Огудалова актрисой.

Александра Ивановна воплотила на сцене целый ряд актрис. Среди них были Патрик Кэмпбелл, великая английская актриса, муза и вдохновительница Бернарда Шоу («Милый лжец» Д. Килти), безжалостно казнящая себя Гульджан («Восхождение на Фудзияму» Ч. Айтматова), голливудская кинозвезда Александра дель Лаго по прозвищу Принцесса Космонополис, переживающая кризис среднего возраста, ужаснувшаяся первым морщинам («Сладкоголосая птица юности» Т. Уильямса), и незабываемая Гелена Модлевская из спектакля «Варшавская мелодия» Л. Зорина. В этом спектакле Климова показала просто чудеса перевоплощения. За два часа спектакля она проживала три десятилетия. Вначале молодая польская панна, студентка консерватории, талантливая, ироничная, прелестная в скромном клетчатом костюмчике, влюбленная и счастливая. Потом — известная певица, но несчастливая, с этим полувопросом-полувскриком: «Можно так жить?!». И в конце всеми признанная знаменитая артистка, «потому что певица — это ведь не только голос, но и творческие принципы, и своя тема», знаменитая, но одинокая, утратившая главное в жизни — любовь.

Предложили Александре Ивановне и главную роль в спектакле «Старая актриса на роль жены Достоевского». И это была, очевидно, единственная возрастная роль, если не считать старухи в дипломном спектакле. Она не перешла на роли комических или характерных старух. Не захотела. Была Героиней и осталась ею.

Климовой никогда не предлагали маленьких ролей. У нее они всегда были главные. И чтобы она могла их сыграть, в репертуар включались соответствующие спектакли, и очень интересные режиссеры приезжали в Минск, чтобы поработать с Александрой Ивановной.

Я помню ее в одном из последних представлений «На золотом озере». Как она в скромных брючках и уютной кофточке посмотрела вдаль, близоруко сощурившись, и сказала своему партнеру: «Смотри, гагары». Была в ней какая-то гипнотическая магия, потому что, клянусь, мы увидели и это озеро, и этих птиц, и почудилось, что она стоит не на сцене, а на берегу. У нее были дублерши. Они произносили те же слова, но под их ногами не зеленела трава, а так и оставались доски помоста.

Александра Ивановна отпраздновала на сцене родного театра свое 80-летие моноспектаклем «Мой театр», а до следующего юбилея не дожила. Ушла в мае 2005 года.

Общественница, преподаватель, председатель и участница многих комиссий и комитетов, она была абсолютно созвучна своему времени и не намного пережила его...

Я часто прохожу мимо дома над речкой, где жила Александра Ивановна, думаю о ней, вспоминаю прощальные слова ее Нилы Снижко: «Запомните нас веселыми!»

Грустно, что уходят великие актеры нашего театра. Они заставляли нас печалиться не своими печалями и радоваться не своими радостями. Они трогали наши души. Они очищали и просветляли их. И какое счастье, что мы жили рядом с ними.

Мая ГОРЕЦКАЯ

Из почты журнала

Партизаны-евреи Белоруссии в боях за Родину

В начальный период Великой Отечественной войны на оккупированной территории из оставшихся здесь евреев выжила только незначительная часть. Некоторые выдавали себя за неевреев или были спрятаны местными жителями. Но большинство уцелевших скрывались в лесах. Они оказались там, спасаясь от угона в гетто, или лагеря уничтожения, или сбежав оттуда.

В лесах стихийно образовывались довольно обширные еврейские семейные лагеря. Для их охраны и жизнеобеспечения формировались вооруженные группы и отряды. Такие группы и отряды постепенно превращались в чисто партизанские формирования, которые вели вооруженную борьбу с немцами и их приспешниками.

Второй формой еврейского Сопротивления были национальные партизанские отряды, выполнявшие только боевые задачи, главным образом, диверсионно-террористического плана. Такие отряды создавались в основном не из стремления их бойцов обособиться: зачастую на это их толкала невозможность вступления в уже существовавшие отряды. Кроме этого, немало бойцов-евреев было в партизанских отрядах и соединениях, разведывательно-диверсионных группах центрального подчинения и подпольных организациях, действовавших на оккупированной немцами территории.

Согласно воспоминаниям партизан и командиров еврейских формирований, отрывочным сведениям из официальных советских источников, работам различных авторов, появившимся за рубежом, в том числе Моше Кагановича, Гирша Смоляра, братьев Тевье и Зусе Вельских, Иехиеля Гранатштейна, Ружки Корчак и других, количество партизан-евреев, непосредственно и активно принимавших участие в боевых действиях против немцев и их пособников, определяется числом 45—50 тысяч человек. Уже в 1941 году многие из них были награждены орденами и медалям (следует учесть, что в 1941 году боевые награды давались скупо, да и партизанское движение еще только развертывалось).

Наибольший размах на всей оккупированной территории партизанское движение приобрело в Белоруссии. Много евреев обитало в семейных лагерях — в большинстве случаев эти люди были беглецами из гетто и концлагерей, которых на белорусской земле имелось множество (только в крупных городах и райцентрах было 110 гетто). Одним из самых крупных было гетто в Минске, где находилось более 100 тысяч местных и депортированных евреев. Несмотря на строжайший надзор, репрессии и акции массового уничтожения, в Минском гетто уже в августе 1941 года была создана подпольная боевая организация. Воспоминания ее членов, особенно книга Гирша Смоляра «Мстители гетто», дают возможность восстановить некоторые аспекты деятельности этой тщательно законспирированной организации. Она была разбита на так называемые «десятки», которых вначале было всего 12, а в самый разгар борьбы их число выросло до 45.

Руководили этими подразделениями Михель Гебелев, Лев Гуревич, Михаил Каган, Израиль Лапидус, Лена Майзелис и др. «Десятки» проводили диверсии и организовывали саботаж на тех предприятиях, где работали их бойцы, совершали террористические акты, добывали и накапливали оружие, боеприпасы и взрывчатку. Штаб организации сопротивления в гетто возглавляли Наум Фельдман, Гирш Смоляр, Натан Вайнгауз. Они разработали план действий, в котором кроме диверсионно-террористических акций и накопления

оружия предусматривалось наладить связь с городским подпольем и партизанами в лесах. Одной из основных задач было обеспечение бегства возможно большего числа обитателей гетто в леса и организации там партизанских отрядов.

Для этой цели собирались оружие, боеприпасы, теплая одежда. Боевой организации гетто помогали городские подпольщики Минска, которыми в это время руководил Исай Павлович Казинец. Он был евреем, родом из поселка Геническ на юге Украины. Его, по профессии инженера-нефтяника, война застала в Белоруссии. Он добрался до оккупированного немцами Минска, сформировал здесь группу, совершавшую диверсии на железной дороге. Казинец наладил связь с действовавшим в окрестных лесах отрядом капитана Быстрова, через его рацию отправлял в Центр развединформацию, пополнял отряд подпольщиками с оружием.

И хотя Исай Казинец не принадлежал к числу партийных руководителей, в тех условиях его назначили секретарем Минского горкома партии. Казинец увеличил количество диверсионных групп до 25-ти, нашел шрифт, бумагу и организовал регулярный выпуск листовок. За полгода было выпущено более трех тысяч. В них сообщалось о деятельности минских подпольщиков, об акциях немецких палачей, помещались сводки Совинформбюро. Под руководством Исая Казинца было проведено более ста диверсионных операций, убито 11 немецких офицеров и 135 солдат, взорвано и сожжено около 100 боевых и транспортных машин, похищено много оружия и часть его переправлена партизанам.

Гитлеровцы ответили на развертывание этой подпольной деятельности в Минске усилением репрессий и активизацией сыска. В феврале—марте 1942 года гестапо и фельдполиция провели серию облав и арестовали более 400 подпольщиков, а 27 марта предатель вывел немцев на квартиру, где скрывался Исай Казинец. При аресте он отстреливался, убил двух и ранил трех гестаповцев. Взяли его, когда он, раненый, потерял сознание. Казинца долго пытали, но, изуродованный палачами до неузнаваемости, он не выдал ни одной явки, не назвал связей, не раскрыл шифров. 7 мая 1942 года Исай Казинец был повешен в городском сквере Минска. В 1965 году, накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, Исаю Казинцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в Минске.

Одним из первых в апреле 1942 года ушел из Минского гетто активный боец-подпольщик, командир «десятки» Израиль Абрамович Лапидус. Он увел с собой еще несколько человек. Эта группа стала костяком отряда им. Кутузова, который вскоре уже насчитывал более 60 бойцов, и почти все они были беглецами из гетто. Оттуда все прибывали и прибывали люди, и через год в отряде Израиля Лапидуса было уже 270 бойцов.

Первой крупной операцией, которую провели партизаны этого отряда, стала засада на участке шоссе между Пуховичами и Старыми Дорогами, где они обстреляли из пулеметов и забросали гранатами автоколонну гитлеровцев, а потом в рукопашной схватке перебили почти всех уцелевших немцев. Были убиты 74 солдата и офицера, 8 взяты в плен. Вражеское оружие и боеприпасы существенно пополнили арсенал отряда. Кроме засад, нападений на гарнизоны местных полицаев и немецкие комендатуры отряд Израиля Лапидуса провел немало других операций. Особенно отличалась команда подрывников Абрама Халявского. Он и наиболее опытные подрывники — Лазарь Носик, Наум Борушанский, Ефим Агинский и Иосиф Янкелевич наладили изготовление самодельных зарядов из артиллерийских снарядов и противотанковых мин. С помощью таких самодельных устройств были подорваны за время действий этой команды 23 эшелона с солдатами и боевой техникой.

Под руководством смелого и изобретательного командира отряд им. Кутузова не раз ускользал из окружения, уходил от облав, которые проводили немецкие каратели, встревоженные боевой активностью партизан. Один раз Израиль Лапидус увел отряд от немцев, пристроив бойцов в хвост вражеской автоколонны. Выйдя следом за ней из зоны облавы, партизаны скрылись в окрестных лесах, не потеряв при этом ни единого человека.

За два года из Минского гетто убежали около 10 тысяч человек, и почти все они влились в уже действовавшие партизанские формирования или создали собственные отряды и семейные лагеря. Одним из таких отрядов командовал Евгений Финкельштейн (партизанский псевдоним Миранович. — *М. К.*), потерявший в гетто всю свою семью. Этот подпольщик в лесу проявил выдающиеся военные качества. Его отряд, состоявший на 60 процентов из бывших узников гетто, наводил страх на гарнизоны немцев и местных полицаев. Партизаны отряда Финкельштейна, которого они звали Батя, внезапными атаками уничтожили 7 таких гарнизонов, пустили под откос 12 воинских эшелонов и истребили в засадах до 170 оккупантов и их приспешников. За голову Финкельштейна гитлеровцы назначили большую награду, на которую, однако, никто не польстился. Боевое мастерство и личная храбрость Евгения Мирановича (Финкельштейна) были так значительны, что командование партизанского соединения представило его к званию Героя Советского Союза. К сожалению, к высокому званию так представлен и не был. Уже после войны было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Партизанский командир Шолом Зорин организовал в Налибокской пуще два крупных формирования: партизанский отряд им. Пархоменко, в котором было до 500 бойцов, и семейный лагерь «106». Многие партизаны и обитатели семейного лагеря бежали из Минского гетто. Тевье Вельский командовал еврейским отрядом, который специализировался на подрыве вражеских эшелонов. Его бойцы проявляли большую изобретательность, систематически меняя способы подрыва, так что немцы вынуждены были усилить охрану железной дороги, патрулируя более протяженные участки пути. Несмотря на это, партизанские подрывники умудрялись пускать под откос воинские эшелоны. Именно этот вид диверсий наносил наибольший ущерб оккупантам. На белорусской земле в еврейских боевых формированиях славились команды подрывников во главе с Михаилом Тамаркиным и Петром Ходошем. Несколько воинских эшелонов пустила под откос партизанка Циля Ботвинник.

Беглецами из Минского гетто в значительной части был укомплектован и партизанский отряд Давида Кеймаха, который носил конспиративный псевдоним Дима. Отряд Димы совершил немало славных дел, среди них наиболее известно убийство гитлеровского гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе, совершенное в ночь на 22 сентября 1943 года. Непосредственному исполнителю этого акта Елене Мазаник было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако мало кто знает, что сама Мазаник и члены ее группы действовали, поддерживая связь с отрядом Димы. Именно через Кеймаха им было передано задание, в его штабе детально был проработан план покушения, там же Мазаник получила мину замедленного действия, которую она установила в постели гауляйтера. И эта отважная женщина после выполнения задания ушла в отряд Кеймаха.

Командиром еврейского партизанского отряда «25 лет Белоруссии» стал один из руководителей подпольщиков Минского гетто Наум Фельдман, боец одной из «десяток» Хаим Александрович — заместителем командира партизанской бригады, а Гирш Смоляр в 1944 году — членом командования Южного партизанского округа.

Многие евреи в Белоруссии командовали партизанскими отрядами, укомплектованными бойцами разных

национальностей, преимущественно белорусами и русскими. Этим людям при вступлении в командование, как правило, приходилось скрывать свою национальность, для чего они зачастую меняли имя, отчество и фамилию. Так поступил и Яков Чирман: партизаны отряда, которым он командовал, знали его под фамилией Шилов. Этот отряд вырос потом в бригаду, в которой воевало около 200 евреев.

В отрядах белорусских партизан было немало рядовых бойцов-евреев, воевавших доблестно и отважно. Можно назвать в их числе и женщин. К примеру, Рену Гуз — подрывника в отряде майора Собесяка, которая имела на своем счету 4 взорванных воинских эшелона. Известный хирург доктор Мясник бежал из гетто города Лида и организовал в лесу партизанский госпиталь, в котором спасли жизнь сотен бойцов, в том числе и командира бригады Булака. Старый минский резник Лайман, с наганом пришедший к партизанам, несмотря на возраст, оказался бесстрашным бойцом. На его боевом счету около 30 лично уничтоженных немцев и полицаев, за что этот пожилой человек был награжден орденом Красной Звезды и партизанской медалью.

Не могу не отметить особо случай, когда белорусский партизанский отряд провел операцию по освобождению евреев. Речь идет о нападении летом 1942 года крупного партизанского формирования — 450 бойцов — на местечко Косово Брестской области. Командовал отрядом 25-летний лейтенант Красной Армии Павел Пронягин, создавший этот отряд из таких же, как он, окруженцев. Партизаны спасли от гибели сотни людей.

Конечно, в масштабе всего партизанского движения число участников партизан-евреев составляет сравнительно небольшую величину. И все же мы затронули вопрос о роли евреев в партизанском движении. Но это сделано не затем, чтобы как-то подчеркнуть эту их роль, которая к тому же относительна и невелика, а потому, что их участие в этой борьбе часто замалчивалось в советских СМИ и официальных документах. Да и воспоминания самих евреев опубликованы в основном за рубежом.

В годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии погибло сыше 600 тысяч евреев. Злодеяния фашистских оккупантов и их пособников из местного населения по отношению к евреям не знали границ.

Многие газеты мира обошла фотография, на которой педантичные фашисты запечатлели участников минского подполья, которых они ведут на казнь. На переднем плане фотографии видна девушка с гордо поднятой головой. Имена подпольщиков многие годы были неизвестны. И только недавно стало известно имя этой девушки. Это подпольщица — ученица 9-го класса Маша Брускина — еврейская девушка.

Иерусалимский музей Катастрофы «Яд ва-Шем» (память и Имя) с суровой правдивостью рассказывает об истории Холокоста и о том, как сотни тысяч ни в чем не повинных людей — женщин, стариков и детей — гибли с единственным, застывшим на устах вопросом: «За что?!»

В музее «Яд ва-Шем» хранятся документы на Праведников мира, спасавших евреев в годы фашистской оккупации, рисковавших собственной жизнью и жизнью близких людей. Среди них 527 Праведников мира — белорусы. И белорусский народ может ими гордиться!

Михаил КАН, историк.
Израиль

Книжная полка

Сохранить непосредственность

Подводя итоги 2012 года — Года Книги, нельзя обойти вниманием один из самых интересных и необычных книгоиздательских проектов — сказку Геннадия Авласенко, проиллюстрированную маленькими читателями.



«Каждый ребенок — художник», — считал испанский живописец Пабло Пикассо. Того же мнения придерживается и художник-иллюстратор Маргарита Тимохова, которая преподает «Дизайн книги» в Гимназии-колледже искусств г. Минска, сотрудничает с издательствами. В этот раз она выступила не в роли иллюстратора, а в роли куратора проекта.

Именно подопечные Маргариты Тимоховой из Гимназии-колледжа, ученики 7—10-х классов, приняли участие в конкурсе рисунков — потенциальных иллюстраций для детской книжки Геннадия Авласенко «Ветерок и госпожа Зима», третьей в серии. Выбор книги Тимохова объясняет так: «Первые два издания этой серии были оформлены профессиональными художниками, но в третьем издании было решено поэкспериментировать, и мы попросили пофантазировать детей».

В чем же новаторство, «вкусность» проекта? По словам Тимоховой, он помогает сформировать новый образ детской книги. Не исключено, что у проекта появится и продолжение. Как выяснилось, у издательства был и другой, похожий на этот вариант, — публиковались сказки, написанные детьми. Так почему бы не объединить два интересных проекта в один? Это стало бы ценным приобретением для детского книгоиздания.

Пока же ребята очень довольны своей работой и первыми гонорарами в виде книг — свидетельств их мастерства. Детей и сейчас можно назвать маленькими профессионалами: многие, чьи работы вошли в книгу, были знакомы с книжной гафикой и имели определенный опыт в создании иллюстраций. Примечательно, что внешность главного героя Ветерка у каждого получилась особенной, неповторимой. В этом и «соль» — персонаж изображен в нескольких вариантах, и читатель волен выбирать, как выглядит его Ветерок. Несмотря на «коллектив оформителей», книга получилась стилистически цельной. Это заслуга и художественного редактора Яны Ващенко, с помощью дизайнерских приемов выстроившей из иллюстраций, точно из набора звуков, гармоничную симфонию.

В любом виде творчества проверенное знание и нестандартность мышления в равной степени нужны друг другу. В таких проектах, когда дети творят под руководством профессионалов, происходит взаимное обучение. И плод такого симбиоза опытности и непосредственности прекрасен вдвойне.

Полина ПИТКЕВИЧ

Жизнь в искусстве

Тайнопись конструктивизма

Монументально-декоративное искусство удивительным образом фиксирует время. В начале 1980-х годов XX столетия мне посчастливилось стать свидетельницей создания художественного образа первой линии Минского метрополитена. А в начале XXI, летом 2012-го, на моих глазах рождались новые интерьеры бывшего здания Национальной библиотеки имени В. И. Ленина, знаменитой «Ленинки» (здесь теперь работает Совет Республики). Есть что сравнить. Есть о чем подумать.

Сегодня, когда первая линия метро становится все длиннее, когда мы давно привыкли к образно лаконичной второй линии, где участвовавшие в оформлении станций художники-монументалисты искали острое, почти дизайнерское решение, первый участок от «Московской» до «Института культуры» воспринимается почти как музейный экспонат.

Начало 1980-х. В оформлении станций участвовали белорусские и московские художники. Работали они практически автономно. Поэтому станция «Площадь Победы» образно почти совпала с «Октябрьской». На станции «Московской» флорентийскую мозаику — Кремль — выкладывали из мрамора, привезенного из всех уголков Советского Союза. А вот керамическую плитку для станции «Площадь Якуба Коласа» художники разрабатывали вместе с… археологами. Народные традиции хотели эффектно ввести и в образ станции «Институт культуры». Рушники на стенах по замыслу должны были включать в себя светильники из уникального рукотворного стекла. Дизайнерам чаще приходилось выполнять лишь дополнительные задачи (например, шрифт для визуальной информации). В общем, это было время познания и мира вокруг нас, и своих собственных традиций. Проще всего определить стиль оформления первого участка Минского метро как эклектика. И мне хочется зафиксировать уникальность, неповторимость, а значит, художественную ценность этого памятника предперестроечного времени. Открытые в 2012 году новые станции современны, на одной есть даже звездное небо. Но это уже наше время, время постмодернизма, или, скорее, посттрадиции. Теперь иной ритм, иное образное видение и иная организация процесса создания образов.



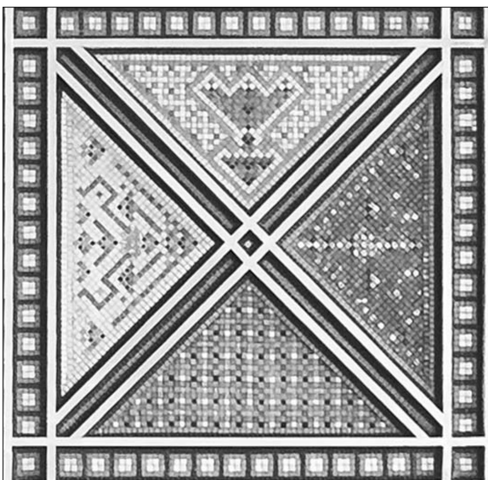
Имена тех, кто создавал первые станции Минского метро, уже вошли в историю искусства. Как вошло в историю искусства и имя архитектора Георгия Лаврова, по проекту которого при консультации Александра Веснина (одного из знаменитых братьев Весниных — классиков русского конструктивизма) в 1932 году было возведено в Минске здание Национальной библиотеки имени В. И. Ленина. То, как выглядит это здание, хорошо известно каждому белорусу — его фасад изображен на десятирублевой купюре. Кстати, на ней же изображен и элемент белорусского орнамента, который стал зерном будущего интерьерного образа.

Но хотелось бы зафиксировать для истории имена тех, кто меньше чем

за три летних месяца, работая с раннего утра и до позднего вечера, практически без выходных, перекусывая на ходу, создал в новых интерьерах старого здания уникальные мозаики и витражи, которые можно считать не только образной фиксацией нашего времени, но и ключом к пониманию и наших традиций, и… архитектуры конструктивизма, лаконичной и в то же время динамичной, надежной и в то же время легкой, простой, но при этом загадочной.

Авторы проекта — лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, выпускники Белорусской государственной академии искусств: Денис Чубуков (один из лучших учеников заведующего кафедрой монументально-декоративного искусства Владимира Зинкевича, под руководством которого создавал свой дипломный проект — мозаики для загородного дома под Москвой) и Юрий Певнев (он выпускник кафедры графики, дипломный проект — загадочные, почти мистические композиции, которые рождались под руководством Владимира Вишневского). Вместе с ними из мельчайших квадратиков итальянской смальты выкладывали мозаику, из разноцветных стеклышек создавали витражи Ольга Гринь, Павел Ксендзов, Алесь и Януш Богдановы, Андрей Пуцыкович, Татьяна Пасютина, Евгений Чистый. Как и авторы проекта, все они преподаватели, выпускники Гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика. Курировал проект Центр современного искусства, которым руководит Виктор Альшевский.

А теперь о самих мозаиках и витражах, так точно вписанных в обновленные, светлые интерьеры. Сегодня — это новое слово в современном монументально-декоративном искусстве. И в желтовато-лиловых по колориту, солнечных витражах, и в более сдержанных молочно-коричневатых с золотым отблеском мозаиках вы не найдете точного цитирования образцов народного искусства. Хотя ритмика, орнаментальные архетипы и даже в



некоторой степени колорит созвучны с изделиями белорусского ткачества, народной художественной резьбой, гончарными изделиями. Авторы посчитали возможным поддержать строгую лаконичную архитектуру конструктивно точным народным орнаментом. И, возможно, сами того не ожидая, выявили точки соприкосновения одного из самых строгих, урбанистических, холодных архитектурных стилей XX века и народной традиции. Использование самых разных архетипических, связанных с нашим подсознанием элементов, которые чаще не повторяются, а варьируются, не разрушая, а создавая симметрию, позволило не просто оживить, а сделать функционально эстетичными современные интерьеры. Три мозаичные композиции на трех этажах дополняют друг друга. В них можно увидеть и небесные солярные знаки, и знаки засеянной земли, и узоры, которые в народном искусстве ассоциируются с водой (фрагменты знаменитых постилок-«дымок»). Золотые проблески, определенный ритм некоторым напоминают и Слуцкие пояса. Думаю, все дело в мелких кусочках смальты, из которых с ювелирной точностью выложены узоры. Ведь здесь нельзя было ошибиться. Целостность композиций сохраняется именно благодаря точности исполнения. Мозаики придали хорошо известным интерьерам «Ленинки» особую торжественность, оставшись при этом по-домашнему теплыми и даже уютными.

В витражах, более богатых по колориту и динамике, угадывается эхо живописи 1920—1930-х годов. Странно звучит, но здесь элементы народного ткачества слегка подсвечены супрематизмом, что абсолютно логично в интерьерах архитектуры конструктивизма. И опять-таки, целостность сохранена благодаря продуманности проекта и точности исполнения (разработали Денис Чубуков, Юрий Певнев, исполнили Павел Ксендзов, Алесь и Януш Богдановы).

Наше время — время посттрадиции, когда историей, традицией стали и народное искусство, и конструктивизм 1920—1930-х годов, хочется, чтобы не только мы, но и наши потомки чувствовали, слышали звучание и простых, понятных, и загадочных абстрактных композиций, чтобы они понимали образную тайнопись начала XXI столетия. В мозаиках и витражах здания Совета Республики тоже есть и звездное небо, и наша земля, и наш с вами характер, наша судьба, зашифрованные в удивительно точных, столетиями выработанных и переосмысленных нашими современниками знаках.

Галина ЛАНЕВСКАЯ

В страстном стремлении спасти красотой мир: Александр Исачев

Судьба отмерила для его жизни без малого тридцать три года, но даже за это время художник сумел оставить такой яркий след, что его творчество по-прежнему в центре дискуссий. Известный белорусский документалист Анатолий Алай еще в 1988 году снял фильм об Александре Исачеве «Не плачьте обо мне...» — картину философскую, эмоциональную. На экран вылились споры: кто же такой этот Исачев — талант высокого уровня или доморощенный самоучка? Отголоски этих споров слышны и сегодня.

Александр Анатольевич Исачев всегда имел свой почерк не только в изобразительном искусстве, он выделялся знаниями по истории живописи, литературе. В его библиотеке были томики Гумилева и Белого, Блока и Ахматовой, Пастернака и Бродского, Набокова и Булгакова, мифы и эпос народов мира, поэзия Индии, Китая, Японии...

Его жена Наталья и многие друзья вспоминают: Исачев был человеком, обладавшим огромным потенциалом жизнеутверждающей энергии, которую умел передавать окружающим…

Помню свою встречу с художником на его единственной прижизненной выставке в Речице. Слегка растерянный, немного удивленный славой и вниманием… Сдерживающий в себе романтическую импульсивность… Старательно подбирающий слова, чтобы сделать свою живопись более доступной, понятной… Добродушный, улыбающийся, светлый…

Не уберешь из памяти и «срывы» Исачева, которые порой так любят выпячивать пишущие о нем и его творчестве. Но не они делали погоду в его жизни. Очень скоро художник возвращался к обычному рабочему ритму, к мольберту, как вспоминал один из его друзей, Александр Шкут.

Нет, не мучеником он был, а просто одержимым искусством человеком. За свою короткую жизнь успел немало — только маслом около 500 (!) работ и сотни графических листов, большинство из которых были вывезены за границу — в Швецию, Германию, Францию, Израиль, США...

Родился Александр Исачев в селе Озаричи Калинковичского района, что на Гомельщине. Семейная жизнь у родителей не сложилась, и мальчик долгое время воспитывался вне дома — сначала в Мозырской школе-интернате, а с пятого класса, когда ярко проявились его творческие способности, — в

Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству имени И. О. Ахремчика. Но в 9-й класс его не взяли: Саша выкрасил волосы хной — за это из школы-интерната его исключили.

Вернулся в Речицу и устроился в ремонтно-строительное управление. Днем — стройка, вечером — учеба в школе рабочей молодежи, ночь оставалась для любимой живописи…

В начале 1973 года он уезжает в Ленинград, устраивается на работу в зеленхоз, получает лимитную прописку. И попадает в среду неформальной творческой молодежи.

Семидесятые годы отмечены всплеском искусства андеграунда. Прошли первые выставки неофициальных художников, включая нашумевшую «бульдозерную» в Москве (1974).

Исачев окунается в атмосферу бурных обсуждений, споров, собраний. Это было время, когда он обретал личностное и художественное «я». Перепробовав едва ли не все возможные в то время авангардные «измы», Александр формировал свой стиль.

Считается, что его творчество условно можно разделить на три периода. «Время поисков»: 1973 год — первая половина 1975 года. Художник пробует себя в абстрактных монотипиях, сюрреалистической графике.

Но уже в 1975-м появляются работы, где сквозь элементы авангарда пробивается классическая манера письма. Успокаивается рельеф холста, мазок становится все более мягким и гладким, напряжение переходит в образ.

Второй период охватывает приблизительно вторую половину 1970-х, когда Исачев уже вернулся в Речицу. Считая своими учителями европейских мастеров, он разрабатывал преимущественно библейские ветхо — и новозаветные мотивы («Благовещенье», «Что есть истина?», «Распятие», «Снятие с креста», «Пьета»…) Он работал также в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, которые в большинстве своем также мифологизированы («Моисей», «Апостол Петр», «Ной», «После потопа», «Моя земля», «Лунный пейзаж»).

Александр работал в манере гладкого письма, самостоятельно разгадывая секреты старых мастеров, секреты нанесения на холст тончайших лессировочных слоев, используя их от 8 до 15. Каждый требует тщательной просушки от двух недель до полутора месяцев, поэтому работал над несколькими картинами одновременно: пока сохли одни, писал другие. Исачев занимался также акварелью, пастелью, графикой.

Третий период — 1980-е годы. Его увлекает дохристианская культура, мифология и символика Греции, Египта, Индии.

Это время наиболее значимое в процессе самообразования Александра Исачева. Получая заказы от церквей, он сделал много икон для Речицы, расписал Свято-Михайловский кафедральный собор в Мозыре — этим навесил на себя в эпоху насаждаемого атеизма ярлык «богомаза» и «антисоветчика»…

В 1981 году с его работами захотели познакомиться члены Гомельского отделения Союза художников БССР. Они посетили небольшую квартирную экспозицию его картин и, как вспоминает Наталья Исачева, вынесли резюме: «Работы эти выставлять нельзя из-за неподходящих тем». Виноваты тут оказались и «оголенные женские тела», и даже портреты (в основном на них были изображены не наши современники, а библейские персонажи). Конечно, эти темы были «не подходящие» для соцреализма.

В официальных выставках ему отказывали и пытались привлечь художника к ответственности за тунеядство. Он предлагал свои услуги в оформлении какого-либо объекта в Речице (бара, молодежного кафе), но получал отказ…

На одной из неформальных выставок еще в ленинградский период Александр встретился с коллекционером Георгием Михайловым, который устраивал выставки современного русского искусства в Германии и других странах Европы.

Вскоре за «коммерческое посредничество» и «незаконный промысел» Михайлов был приговорен к четырем



Икона.

годам лишения свободы с конфискацией имущества (в 1989 году Верховный суд РСФСР полностью реабилитировал Георгия Михайлова).

Когда он отбыл свой срок на Колыме, коллекционеру предложили покинуть Советский Союз. Условием отъезда он поставил возможность вывезти свою коллекцию. А поскольку авторы его собрания не являлись членами Союза художников СССР, то препятствий не возникло. Так картины Исачева и еще десятка неформальных художников оказались на Западе, их увидела европейская публика. Тогда-то, 1987 году, во время перестройки, Исачеву предложили сделать первую и единственную прижизненную выставку художника в ДК «Нефтяник». Она стала сенсацией. Стены дворца культуры никогда не видели столько народа — 20 тысяч! Посмотреть картины приезжали из Гомеля, Светлогорска, Минска…

А три дня спустя Исачев скончался от сердечного приступа возле мольберта в своей мастерской. По одной из версий: сказались годы изнурительного труда, унижений, непонимания.

Судьба Исачева во многом схожа с судьбами многих непризнанных художников. И все же, как пишет в своих воспоминаниях его вдова, «он прожил короткую, драматичную, но красивую и по-своему счастливую жизнь».

Десятки лучших картин Александра Исачева рассыпаны по частным коллекциям и украшают модные салоны Голландии, США, Франции, Англии, Швеции, ФРГ. Его знают во всем мире, о чем свидетельствуют многочисленные выставки в странах Европы, в Америке, даже Японии.

Сегодня настоящего исследования жизни и творчества Исачева все еще нет, хотя писали о нем много. Но все, что выходило на страницах печати, — описание отдельных фактов из жизни. При всей уникальности, самобытности его таланта Исачева нельзя рассматривать вне художественного контекста как современных ему, так и прошлых эпох.

Одной из любимейших тем Исачева являлась мифология. Его полотна известны своими многочисленными символами. В одной композиции он мог с помощью символов изобразить целую историю, придать новый смысл всем известному античному мифу. Обращаясь к мифам и легендам, к величественным творениям древних мыслителей, он искал разгадку вечных таинств бытия.

Изображая женщин с идеальным телом, прекрасным ликом, загадочным взглядом, художник ищет совершенный гармоничный образ в мадонне, пробуя соединить личность и чувственность в искусстве. В стремлении боготворить красоту, воспевать творческую и физическую мощь человека Исачев схож с мастерами эпохи Возрождения.

Этому стремлению соответствовала и техника гладкого письма мастеров Ренессанса, которую художник освоил самостоятельно. Именно гладкое письмо давало возможность изобразить человека прекрасным даже в страдании, даже если он преклонного возраста и его лицо покрыто морщинами. В произведениях Исачева не встретишь лиц ужасных. У него люди как боги, а боги — как люди в минуты проявления своих лучших душевных порывов.

В коммунистической идеологии считалось неэстетичным и неприемлемым изображать нагое тело. Исачев своим искусством напомнил, что женщина — источник жизни, а красивое тело — самое гармоничное творение природы. Женщина в его творчестве — носитель добра и мудрости, нечто одновременно земное и божественное, олицетворение непостижимой тайны, органично соединенной с великой Тайной Бытия: «Магия», «Аллегория искусства», «Изгнание из рая», «Пьета», «Персефона», «Лилит»...

Совмещая реальность и вымысел, библейские мотивы и мифы, прошлое и настоящее, творчество Исачева перекликается с творчеством российского мастера Константина Васильева. Некоторые видят сходство стилей Александра Исачева и одного из популярных современных российских художников Александра Шилова. У обоих художников общая техника живописи — гладкое письмо. Но используют они эту технику в разных целях.

Одно из лучших творений Исачева — композиция, которая названа им «Икона». Ни в одном из своих произведений он не передал столько боли и страданий, как в этой. Традиционная икона с ликом благообразного Иисуса Христа расколота на две части. Из раскола виднеется лицо измученного и истерзанного Христа. В терновом венце, идущий на распятие, Иисус в последнее мгновение своей жизни воплощает не столько физическую боль, сколько душевные муки: он взывает к людскому состраданию. Картина стала своеобразной авторской проповедью... Сильна своей образностью и другая работа речицкого живописца — «Молитва». Человек-пророк осмелился, восстал и выразил яркий и ярый протест против лживого приукрашивания действительности.

Мифология мировой культуры, библейские сюжеты были тем художественным материалом, из которого он ваял свою модель взаимодействия и борьбы зла и добра. Возможно, в его стремлении было много дилетантского. Но желание постичь, что есть истина и ложь, любовь и ненависть, красота и уродство, юность и старость, всегда озаряло его искусство.

В интервью директору картинной галереи «Традиция» (г. Светлогорск) Изяславу Котлярову владелец самой большой коллекции современного изобразительного искусства Георгий Михайлов из Санкт-Петербурга на вопрос «Что мешает признать Исачева одним из выдающихся художников?» ответил: «Его обвиняют в китче. Действительно, на многих картинах его есть то, что принято сейчас считать китчем. Но никто не может отнять у него то, что он — один из лучших рисовальщиков в мире. Если учесть к тому же, что Исачев — самоучка и многое открывал, «изобретая велосипед», то тем более достоин восхищения. Прочти он своевременно необходимые книги, ему не пришлось бы тратить годы на поиски. Но тем не менее, его одаренность и фантастическая, немыслимая работоспособность побеждали»…

Почему и сегодня так нравится творчество Александра Исачева людям, далеким от искусства? Александр Исачев создавал мир, в котором человек является мерой всего прекрасного на земле. Этот принцип утверждения Красоты присутствовал всюду: в портрете, натюрморте, в символически насыщенной, ассоциативно многозначной картине.

К чему бы ни обращался Александр Исачев, все отмечено его страстным стремлением облагородить человека, спасти красотой мир.

Олег АНАНЬЕВ



Содержание журнала «Нёман» за 2012 г.

ПОЭЗИЯ

Три моих поэта

ПРОЗА

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В «НЁМАНЕ»

«СЯБРЫНА»: БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ

К 130-ЛЕТИЮ ЯНКИ КУПАЛЫ

К 130-ЛЕТИЮ ЯКУБА КОЛАСА

К 100-ЛЕТИЮ МАКСИМА ТАНКА

НАСЛЕДИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ДОКУМЕНТЫ. ЗАПИСКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЭПОХА. СУДЬБЫ. ПАМЯТЬ

ВРЕМЯ. ЖИЗНЬ. ЛИТЕРАТУРА

ДОКУМЕНТЫ. ЗАПИСКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПАМЯТЬ

КУЛЬТУРНЫЙ МИР

VERBATIM

ЛИЧНОСТЬ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕЦЕНЗЕНТА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

P. S.: ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ

Имена

Рядом с великими

Жизнь в искусстве

Выставки

После публикации

Составила Е. МАЛЬЧЕВСКАЯ.



Авторы номера

СУЛЬЯНОВ Анатолий Константинович. Родился в 1927 г. в д. Аксиньино Московской области (Россия). Окончил Московскую спецшколу ВВС, Тамбовское и Армавирское авиационные училища, военно-политическую академию имени В. И. Ленина в Москве. Автор книг прозы «Расколотое небо», «Посеешь ветер...», «Хождение за седьмое небо», «Только одна ночь», «Голубые снега», «На критических углах» и др. Награжден орденом Красной Звезды (дважды), медалями, Почетной грамотой Президиума ВС БССР, Заслуженный работник культуры БССР. Живет в Минске.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич. Родился в 1948 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств и Академии поэзии (Москва). Лауреат нескольких международных литературных премий. Живет в Минске.

БУРКИН Олег Анатольевич. Родился в 1963 году. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Автор поэтических сборников «Встреча», «Свой путь земной пройдя до середины», книг прозы «Созвездие картошки», «В поход на чужую страну собирался король», «Экипаж «черного тюльпана», сценариев. Ветеран войны в Афганистане. Живет в Минске.

КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО (Гусаченко) Тамара Ивановна. Родилась в 1948 г. в д. Щепятино Брянской области (Россия). Окончила Московский автотранспортный техникум, филологический факультет Брянского государственного педагогического института и психологический факультет Минского государственного педагогического института. Автор пятнадцати книг. Член Правления Союза писателей Беларуси, член Правления Союза писателей Союзного Государства, председатель Витебского областного отделения СПБ. Лауреат Международной литературной премии имени Симеона Полоцкого и Всероссийской литературной Премии имени Ф. И. Тютчева 2009 года. Награждена медалью Франциска Скорины. Живет в Витебске.

АНДРЕЕВ Анатолий Николаевич. Родился в 1958 г. в Североуральске Свердловской области (Россия). Литературовед, культуролог, философ. Доктор филологических наук, профессор. Автор монографий «Целостный анализ литературного произведения», «Культурология», «Психика и сознание: два языка культуры» и др., а также романов, повестей, рассказов, пьес. Живет в Минске.

СКОРИНКИН Андрей Владимирович. Родился в 1962 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (Москва). Автор книг поэзии, вышедших в Москве и Минске: «Багряные сумерки», «Ночной певец», «Скорбный гость», «Альфа и Омега», «Потерянный рай» и др. Живет в Минске.

ЗАРЕЦКАЯ Юлия Францевна. Родилась в 1978 г. в д. Дуниловичи Поставского района Витебской области. Окончила Белорусский государственный педагогический институт им. М. Танка. Печаталась в журналах «Вожык», «Маладосць», газетах «Чырвоная змена», «ЛіМ», «Звязда», «Настаўніцкая газета», автор сборника сатирических и юмористических произведений «Шчаслівыя людзі». Главный редактор журнала «Вожык». Живет в Минске.

ДАВИДОВИЧ Сергей Федорович. Родился в 1942 г. в д. Карпиловка Логойского района Минской области. Окончил Минскую Высшую школу МВД. Поэт и художник-живописец. Автор сборников стихов «Спасьцігнуў я тайну», «Люстэрка лёсу», поэтически-прозаических книг «Нясу свой крыж», «Горкая кропля», более 30 поэм. Живет в Минске.